Сергей Соловьев (род. в 1959, Киев) — поэт, художник, путешественник. Автор 20 книг поэзии, прозы и эссеистики, среди которых: «Аморт» (Зебра Е, АСТ, 2005), «Медитации у Ганги» (ЭКСМО, 2008), «В стороне» (НЛО, 2010), «Адамов мост» (Русский Гулливер, 2013), «Ее имена» (НЛО, 2016). Лауреат «Русской премии», финалист премии Андрея Белого и студенческого Букера. Живет в Мюнхене.

Сергей Соловьев

ЧЕЛОВЕК И ДРУГОЕ

книга странствий

Содержание

ЗАПИСИ

Человек и другое. Опыты переходов

Индия, 2006-09

Индия, 2015-16

Индия, 2016-17

Индия, 2017-18

Между жизнью и записью

ЭССЕ

Парщиков, Драгомощенко, Жданов

Лёня Федоров. От Введенского до Книги Бытия

Шесть украинских художников, Или Дерево, веревка, Гоголь

Кафка. Егерь Гракх

А может, и ему ответ неведом

Семь ночей тейяма

Ахимса

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

«Не всё так умопостижимо»

«Мир стоит по горло в небытии»

«Цена свободы — изгнанье…»

«Мы себе не равны никогда»

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАЗРОЗНЕННОГО

Джойс, Нора

Индийский домик

ЗАПИСИ

Человек и другое. Опыты переходов

Гераклит говорит Витгенштейну в ответ на его «всё, что может быть сказано, может быть сказано ясно»: не говорить и не утаивать, а знаменовать.

А индус-водитель на гималайском серпантине, уводя полмашины в пропасть, оборачивается ко мне через плечо: одна нога должна быть всегда на весу. В мысли, в действии, в жизни. И, возвращая дорогу под колеса, добавляет: и в смерти. И в любви? — спрашиваю. И в Боге? — Да, говорит, и в счастье. И, сплевывая кровавый бетель в окно, закладывает следующий вираж.

То, о чем мне единственно хотелось бы говорить по-настоящему, то есть молчать, удерживает обе ноги на весу и вряд ли может быть сказано ясно, но и «знаменовать» тут звучит довольно обязывающе. И нелепо. Да и кто я, чтоб становиться в эту позу.

Потому я начну по краям, с вот такой, например, реплики.

Я давно пытаюсь додумать одну мысль, и не могу, она размазывает меня по внутреннему лабиринту. К тому ж она из тех, которые не обсуждают с людьми, опирающимися на культуру (религию и пр. социальные практики), она ими естественно отторгаема. А по другую сторону — мир живых изначальных энергий, природы, не книжной, а реальной, с которой очень немногие из людей имеют дело, вступая в действительный опыт взаимосвязи. И эти, последние, как правило, молчат. А первые говорят. Гении. Порой не выходившие за пределы своей улицы и вряд ли способные развести костер, например, так, чтобы он дышал, чтобы меж деревом, рукой, воздухом и огнем жил внимательный

разговор энергий, а не одностороннее нерадивое вероломство. И вот я думаю, как же такой человек, с точки зрения мира — инвалид, вмурованный в гетто своих «гуманистических» очертаний, говорит о «другом», не имея никакого опыта, кроме книжного и умозрительного, об этом «другом», создает гениальные произведения? Действительно создает. В которых есть эта живая настоящая энергия, ее космос. Или нет? При почти полном разрыве с миром этих энергий. Настолько, что любой муравей за голову бы схватился, глядя, как такой человек входит в воду, трогает землю, дышит...

Нет у меня ответа на это. И потом, кто эти люди, определяющие, есть ли там эта энергия? И откуда они судят, из какой местности восприятия, опыта? И есть ли такие среди них, кто способен быть и там, и там, по обе стороны? Это же почти невозможно — оно ведь на разрыв в человеке, когда в полноте того и другого, а не в компромиссе.

Речь ведь не о мирном сожительстве кошки с собакой, не «городе» и «деревне», не о замысленном побеге, не об уединении. Как догадался Тютчев: «не то, что мните вы, природа».

В предельном же и разверстом виде эти миры — культуры и природы — не могут сосуществовать в одновременном и равноправном режиме, разная у них гравитация, оптика, пластика, навыки поведения, вообще всё. Один другому тут должен уступать, но не целиком, а особым образом, и здесь-то, в этих перегруппировывающихся потоках энергий начинается самое трудное и малопредсказуемое. Притом что каждый из этих миров требует отданности «до полной гибели», иначе разговор теряет глубину.

В хадисе 5847 сказано, что на том свете художественные творения будут взвешены, и те из них, которые окажутся мертворожденными или чья энергия уступит энергии живого вещества, будут низвергнуты вместе с их создателями.

Сурово. И актуально, похоже. Но если всерьез (понятно, что этот экзамен не выдержит ни одно, ни один), думаю, в смягченном, щадящем к нашим возможностям виде, это единственно настоящий критерий — отдаленное равнение на «живое вещество». При понимании, на какой буквально чудовищной скорости превращений оно существует и чем оплачено в каждой своей точке. Этой непреложной готовностью ответить жизнью за каждую мельчайшую единицу, будь то слово, жест, звук, свет. Вот этого, кажется, как-то поубавилось в искусстве (и жизни) последнего времени. По умолчанию. Не симптоматично ли, что в новой поэзии, например, как-то продвинулись, заняв активные позиции, прилагательные? Не из сильных позиций речи. Особенно в сочетании с непрожитыми существительными.

Ладно, отойдем в сторону, чтоб вернуться. Или, как сказал, один мудрец: повременим, чтобы скорее кончить.

Какие жизненные сюжеты возможны для Одиссея после возвращения на Итаку? Два тривиальных. Славно стариться в кругу семьи и отправиться в новое путешествие, тавтологичное, с большой вероятностью уступающее первому, втягиваемое в поле гравитации прошлого. И третий: разрыв с семьей, уединенье на отдаленном острове, слепота, слепые письма единственному адресату и собеседнику — странствию. Ему и сквозь него — ей, Пенелопе, которую он ткет и распускает, как странствие. Одиссей, ослепший, на берегу, ставший Гомером, и потому возвращающийся Одиссеем.

Чуть утрируя, я бы сказал, что литература и путешествие — вещи несовместные. Что настоящее путешествие — катастрофа. Но — светлая, если повезет. Что опыт это

неизреченный, что свое «я» вместе с даром речи нужно оставлять у порога путешествия, иначе ты просто перевозишь по миру чемоданы себя с набитым словами ртом. Что отправляешься в путешествие никогда не «зачем» и «почему». О том, что никакие концы с концами не сходятся. О Мелвилле, у которого вначале путешествие, потом литература, и о Рембо — у которого наоборот. И о Гончарове, который совместил две крайние точки: покоя — в Обломове, и кругосветки — в «Палладе». О Генри Миллере, сказавшем, что вернется на родину, лишь когда дух его отлетит. О том, что в путешествие не отправляются, с ним рождаются — немногие, и еще реже — им становятся. И о том, что из настоящих путешествий не возвращаются.

И вот здесь я бы вернулся к «другому». К той легкости, с которой вослед новым французским философам об этом говорят. Как о чем-то находящемся рядом. Куда можно перейти, как в соседнюю комнату. И это давно уже стало нормой продвинутости в творческих практиках. Письменных в частности. Особенно на пару с отчуждением от (лирического) я, эго, и вообще интереса к собственной био как полям усталым, исчерпанным. Сильный ход. С одной поправкой. Если всё это всерьез, если переход этот проходит под знаком сметения твоего «я», всего, кем ты себя знал, мнил, помнил. И помимо чуткости, опыта, расположенности двигаться в этом направлении и предельного риска, это еще и колоссальный ежедневный труд. И выживших на этом пути — единицы. Иначе — демагогия, профанация, в лучшем случае — игра.

Неизъяснимый труд разотождествления, крайне одинокий на пути к родству. Или это дается как благодать. Но об этом мне трудно судить. С первым же, на каких-то начальных шагах, да, мне кажется, я знаком. Но приходит это с осенью опыта, вряд ли раньше.

Я странствовал с детства. (Как говорил Пржевальский: путешественником не становятся, им надо родиться. И он же: у путешествия нет памяти.) Перекинув за спину связанные сандалии и уходя из детского сада куда глаза глядели. И потом в юности — по тайге, по пустыне, по Заполярью, один. И потом — переплывая море на детской надувной лодке, на которую установил стальную мачту с веселым парусом, унесенным первым же порывом штормового ветра, и затем в течение нескольких дней находясь то под, то над волнами. И все это было чудесно, но в немалой мере во всем этом было свойственное возрасту самоутверждение. Опыт разутверждения приходит потом. На границах «я», на границах сред.

Я помню одно из самых больших своих поражений на этом пути. Вторая из трех частей романа «Адамов мост» называется «Чандра» — по имени тигрицы, от которой и ведется повествование; происходящее дано ее глазами. К началу работы над этой повестью я знал, что задача невыполнима. В принципе невыполнима. Нет и не было в литературе перехода в это «другое». Все, что мы считаем лучшим на этом пути, — лишь подступы, остающиеся в пределах антропоморфного взгляда, и в этом смысле почти никакого отношения к миру животных и природы не имеющее. Но мне самонадеянно казалось, что весь мой опыт, и особенно последних лет, проведенных в джунглях, дает мне шансы на эту попытку. Реальные встречи с тиграми — вплотную, когда он ревет в лицо так, что ты чувствуешь всю морозную ветку своего хребта, где ему ничего не стоит лапой смахнуть с тебя жизнь, и в этом положении вы находитесь около часа… Пять лет изучения, вхождения в эту шкуру, не говоря о чувстве леса и его энергий к тому времени, казалось… Полное поражение. Не выйти из человека. В слове — не выйти.

Есть у индусов такая формула всего живого в мироздании, его основной принцип: Тат твам Аси. Ты есть То. То есть ты — не ты, а вон та ветка дерева, но и она — не она, а вон то облако, но и оно… и так до бесконечности, пока в этой круговой поруке вселенского родства не вернет тебе тебя, но уже как всю вселенную: Атман — Брахман. И есть майя, иллюзия мира, как говорят индусы: головная боль без головы.

Тот индус, балансировавший над пропастью, сплевывая в нее кровавый бетель, говорил: «я», «народ», родина» и тому подобное — как голые провода под током, и человек висит на них, вцепившись побелевшими пальцами, трясет его, синеет, как герой. Сплевывает и смеется. Нет пальцев, нет проводов, нет «я». И, помолчав, посерьезнев: есть. Но чем мягче и подвижней его очертания, тем лучше. Для всех. Для переходов. Там твам Аси. И ахимса. А человек он кто? Ману. Сын Солнца, брат смерти.

И я думаю об этих очертаниях «я» в разных культурах, на Западе и Востоке. И вспоминаю, как тем же индусам мусульмане насильно впихивали в рот куски говядины, и те безропотно тем самым переходили в ислам. И это длилось веками. А потом пришли христиане и за теплую вещичку и башмаки обращали Бхагавана в Джона. Где индуизм, где язык, где культура, где нация, где народ? Где-то там — за и под. А потом, восемь веков спустя, страна встает — молода, нерастрачена. И понятия не имеет, что такое депрессия, например. Нет такого, вообще. Ляжет индус посреди дороги и спит. И машины, непрестанно сигналя, его объезжают, и коровы его обходят. Спит с улыбкой, а во сне не обманешь.

Я понимаю, что не все так просто и безоблачно. Но и это ведь никуда не денешь.

И вот я думаю об утопическом, конечно, но кто знает. Сейчас ведь что-то очень важное происходит с человеком и сдвигом всей антропосферы. И если в результате этого хоть отчасти смягчатся очертания его «я», эго, то, может, и легче, лучше будет, как говорил тот индус, для всех. И дело не в религиях, индуизм ведь тоже не религия, а, скорее, мироощущение. Я понимаю, что сейчас об этом говорить рано, особенно на фоне последних событий, ИГИЛа и пр., но, даст бог, этим мир не кончится и впереди еще не один поворот.

Скандхи, говорят, обычно движутся ста восемью способами, образуя устойчивые очертания. Но при переходе из одной формы в другую возникают завихрения и разрывы, образующие переходные формы. Между человеком, например, нюхающим цветок, и самим цветком. Или между голосом и слухом. Или когда тело кладут в огонь и душа начинает блуждать, переходя с перрона на перрон. И поезд придет, когда на роду написано. Как явленье природы, как дождь, перелет журавлей, как девочка, смывающая у колонки первую кровь.

Убеждения, они хороши, конечно. Как предохранители. И горят, как предохранители. Как и любая система. Как все твердое, говорящее: «я». Не выходит из строя лишь невидимое, не сплоченное в очертанья. Передоверяющее себя другому.

Хайдеггер говорил, что мы должны избыть до конца эпоху техники (в широком смысле — как технэ), и лишь тогда, может быть, выйти к просвету бытия. А зачем ее избывать? Завершить гештальт? Может быть. Но хочется думать, что это не единственный путь. Слишком уж он широкий. И фаталистический. Кроме того, есть и частные пути, личные. Как и индия у каждого своя — у тех, у кого она есть. Не страна. И вообще это может не быть связано с географией.

Моя индия (и Индия) возникла, думаю, задолго до того, как я в ней оказался географически. И весь мой дальнейший опыт в ней был в очень малой степени связан с тем, ради чего обычно туда отправляются. Это не ашрамы, не всяческие «лестницы просветления», не культура и «достопримечательности», не города и уж тем более не Гоа. Это опыт джунглей, особая тантра, если уж говорить на языке практик. Хотя тут никакой практики, кроме собственной жизни, которую ты целиком кладешь на этот путь, и лишь тогда лес, может быть, со временем, начинает отвечать тебе той же мерой открытости.

Я помню, как где-то к исходу первых месяцев в джунглях начал чувствовать что называется кожей энергетическую карту леса — где просвет, где затемнение, опасность. Понемногу, постепенно. И эту неизъяснимую тревожную радость, в чем-то даже нечеловеческую, связи с «другим», когда лес тебя начинает признавать и незаметно держит, как на плаву, на ладони. И меньше всего, о чем ты думаешь, — о письме. Это перестает быть существенным. Придет потом, если придет. Ты весь здесь, сейчас, в этих, как говорил Лейбниц, «незаметных переходах» из одного в другое, в круговороте энергий живого вещества. И не дышишь в затылок будущего. Спокойно зная, что, входя в лес на рассвете, шансов вернуться у тебя — 50 на 50. Но иначе шансов войти в это по-настоящему нет совсем.

Что-то, кажется, неловко пафосное проступило в последних строчках. А уж этого точно не хотелось бы. Поэтому пусть теперь будут вот эти несколько картинок-рассказов. А я попрощаюсь. И когда вы будете это читать, наверное, уже буду там — в Индии. С очень взрослой, как лишь у детей, надеждой. И непредсказуемой дорогой.

ИНДИЯ, 2006-2009

На перроне

Лежат вповалку, сны листают. Поезд придет, когда на роду написано. Как явленье природы, как дождь, перелет журавлей, как девочка, смывающая у колонки первую кровь.

Скандхи, говорят, обычно движутся ста восьмью способами, образуя устойчивые очертания. Но при переходе из одной формы в другую возникают завихрения и разрывы, образующие переходные формы. Между человеком, например, нюхающим цветок, и самим цветком. Или между голосом моим и твоим слухом. Или когда тело кладут в огонь и душа начинает блуждать, переходя с перрона на перрон, пока не придет ее поезд.

Арундати

Несколько хижин, а крайняя к лесу — его, Мохаммед-хана, погонщика слона, он сидит на пороге. Ему семьдесят, и Арундати, слонихе, ровно семьдесят, так и живут, с детства не расставаясь. Он на пороге сидит, дремлет, а она напротив него стоит, раскачивается, перебирает хоботом ветви у ног. И когда он роняет голову, она кидает ветку к его ногам, он вздрагивает, открывая глаза, кричит ей: «грха, грха!..», и еще вдогон этот горячий щебень речи. А она смеется своей тихой руиной рта. Был у нее муж, из диких, приходил из джунглей, когда была молода. Умер. И жена умерла — у Мохаммед-хана.

Около двух пополудни, они спускаются к Ганге, он садится на камень у воды, тот же камень, что и двадцать, и пятьдесят лет назад, а она входит в реку и валится на бок, и ее несет потоком, так, что только хобот виден над бурунами. Две женщины, две великих реки входят друг в друга, становясь единым.

А потом, на берегу, обнимаю ее хобот, и она переносит меня через голову и сажает на спину, голого, в такой же чистой грязи и пыли, как и она, и мы плывем над выжженной травой, и чувство такое, что роднее ее, точней, того, что с тобой происходит сейчас, и нет ничего на свете.

Сидит и смотрит в этот проем, где она жила. Простая оплошность могучей, но пожилой жизни — и нет ее. Великой слонихи Арундати. Множественные переломы, осколочные. Врачи говорили — нет шансов, лучше бы усыпить. Мучительно угасала, в медленной тлеющей агонии. До семидесяти живут, пишут в энциклопедиях. Когда как-то сказал это Мохаммед-хану, он долго смеялся и вдруг уснул, смеясь.

Каменный круг, залитый цементом, метров десять в диаметре. А в центре этой мандалы — отверстие, сквозь которое прорастет баньян. От нее — к небу. Сидим с Мохаммед-ханом на могиле ее, молчим.

Господи, думаю, если ты есть, дай ей дом, там. Что тебе стоит — немного леса, реку, камень, а на нем старика. Дай им видеть друг друга, хоть раз на дню. Это ж правда не бог весть какое чудо, да?

Да, вот здесь. Год назад, в эти дни, стояла, почти незаметна в зарослях, снизывала листву с дерева. Повернула голову, смотрит, узнала. Подошел, щекой прижался, шепчу, глажу, а она хоботом водит по мне, слушает. Подняла с земли ветку, в угол рта положила, как травинку, и в лицо глядит, чуть кивая, мол, тише, сынок, я знаю… И колечки хоботом вяжет над моей головой, как узелки на память, вяжет и расплетает.

Адамов мост

Двойка, несуществующая. И дороги не было. Обвели взглядом. Валежник хижин, лодки меж ними, врыты заживо. Так она начиналась, эта коса. Видно, мир не подпускает ближе, держит в этой черте оседлости — получувств, полужизни. Я помню смерть каракатицы, брошенной рыбаками. Переливчатый студень, врубелевская царевна, она лежала в песке, глядела в нас своим полузасыпанным глазом, смерть перебегала в ней, как из комнаты в комнату, передергиваясь на ходу. Гасла, переливаясь и вспыхивая, как Иерусалим, как Небесный град. А глаз ее все смотрел, заволакиваясь.

Это было началом косы, этот взгляд с песком, этот глухарь жизни, которого мы несли, прикрывая майкой от солнечного удара. Вот об этом я, понимаешь? О том, к чему человека не подпускают. Ведут стороной, по краю, лицом к стене, на которой мир — живой, нарисован. И как-то вдруг, ни за что, по какому-то недосмотру, ты стоишь на косе, и нет у тебя ни сил, ни опыта с этим быть. Слова как мусорок в кармане, перебираешь их. Это до слов, до того, как их начали смешивать — краски, чувства, слова. До опыта, и еще не просохли ни воля, ни время.

Как же ты здесь оказался, идешь, следы на песке оставляешь, будто ты есть. Можно подняться на дюну, будут видны оба моря по сторонам — разной воды, разных времен. Это будет потом, когда день отпустит тебя, отойдет за стекло затемненное, откуда тебя видят, а ты — нет.

Дюна с руками вдаль — к концу света. Руины с песком во рту, сидят, лежат на боку. А по ночам бродят, роняют камни. Кто жил в них, живет? Нерожденные дети? Дети и обветшалые боги. В воду вошел. Глубь, тростники света. Ни рыб, ни медуз. Рано. Еще не созданы. Парус скользит. Лодка времен Ригведы. Три бревна, грубо отесанных, связанных бечевой. Край косы уже виден. Пена, волн табуны, сабли. А дальше что? Островки, капельные, необитаемые, Адамов мост. А дальше? Ничего там нет. Что может быть за краем Индии? Ничего. Голем рассыпавшийся, Адам.

Набело, думал, все они набело созданы — звери, деревья, коса, только мы здесь черновики. Не новость. Как любая мысль, чувство, стоит им шевельнуться. Время созерцания кончилось, говорит, свернуто. Будто мы знали его. Незаконнорожденные.

Есть такая запись, древняя, у индейцев. Начинается хорошо: и сел человек поодаль... Никто, нерожденный, нищий — сел поодаль. И каждая тварь, проходя, давала ему часть себя. Кто зренье, кто слух, как милостыню подают. Теперь он имеет всё, теперь он больше нас, сказали они, глядя. Нет, ответили сверху, с ветки, теперь он меньше, чем был, и будет все меньше. Потому что мало ему, что бы ни было в нем, неутолимо мало, вот и имя его — голод.

Потому и ходим мы в этих рубахах, так собою взволнованы. С миру по нитке. Битов говорит: «Летят три пичужки через три пустые избушки. Ну кому я это объясню?» О языке. Только сейчас мы пришли к порогу полного непониманья мира, в котором живем, точней — жили. Тысячи лет спустя нашего самозванства. А там уже никого. Летят три пичужки… Что мы знаем о них, о животных, растениях? Ничего. Собаку Павлова. Документальные кадры: крокодил схватил антилопу, маленькую, еще подростка. Волочит в реку. И вдруг бегемот — бежит, таранит воду, отогнал крокодила, стал на колени, дышит в лицо ей, щекой трется, а она, бездыханная, глядит на него влажным остановившимся глазом. И крокодил лежит у воды, замер, смотрит на эту сцену. А бегемот все стоит, то к небу взгляд, то на нее. Лир над Корделией. Зарезали мою девочку…

Что мы знаем о них? Если дерево или птица не могут сложить табуретку или компьютер, значит, ниже нас по развитию? С той же логикой — если мы не можем воскресать из смерти, как зерна, или отращивать новые ноги вместо отсеченных, как саламандры, или менять пол органично, как рыбы, или владеть световой речью, как глубоководные существа, или перестраивать свой молекулярный уровень, переговариваясь на больших расстояниях, как акации, — то что? Наша техника в большинстве случаев — плагиат. Сальери у Моцарта. А этот бред, которым нас пичкают еще со школы, — инстинкты.

Каким инстинктом влекома пустынная эфа, ползущая десятки километров, в районную больницу, чтобы свернуться на груди умершего там мальчика, которого лишь мельком видела, свернуться и уснуть навсегда? Или та косатка, выхватила из стада детеныша тюленя, и бросала его в небо вдали от берега, и ловила, — хищник жертву, а потом вернулась и носом подоткнула его под мать, невредимого. Или те морские львы, чей инстинкт — жить в стаде, ушли вдвоем, он и она, в маленькую скальную бухту, сильные и молодые — на весь свой век, до старости. Лотман где-то писал, что с точки зренья животных мы — существа непредсказуемые, то есть безумные. Это еще мягкий взгляд.

День с тигром

Вероятно, мы последнее поколение, которое видит их в природе. На воле их осталось около двух тысяч и, похоже, им уже не уцелеть. Изобилие снимков в сети создает иллюзию, что тигры чуть ли не на каждом шагу. На деле же, увидеть тигра — редкое событие. Даже егеря в тигриных заповедниках, ежедневно патрулирующие лес, видят их, в лучшем случае, раз-два в году.

За время наших хождений в джунгли мы видели тигра четыре раза. Что само по себе, как изумлялись индусы, невероятно. Это не считая тех случаев, когда не видели, но находились буквально в нескольких шагах. Но одна встреча была особой.

Вернулись мы с Зоей из лесу на рассвете, пережидаем дневной зной, когда звери уходят вглубь — на свои сиесты. И тут я говорю: «Слушай, а где мой нож? Кажется, мы оставили его там, у реки, где присели передохнуть. Сходим, найдем?» И вот идем мы по тропе, лес тихий, нежные краски, бабье лето (январь у них), разговариваем вполголоса о чем-то милом таком, мол, куда эти все имена чудесные делись — бобик, трезор, пиф, джойка… И вдруг вижу — впереди, из-за поворота тропы выходит тигр. И это так неожиданно, впервые и среди бела дня, смотрю и глазам не верю, подношу к ним бинокль (хотя расстоянье между нами в несколько десятков метров). «Тигр», — шепчу. А на тропе там, впереди — прогиб такой, низина, и он в ней плавно так исчезает, весь. И никого, тишь. А бинокль все еще у глаз. Привиделось? И тут он выходит из этой ямы — совсем уже близко — и медленно, как бы нехотя поднимает голову, замер, смотрит. И сквозь бинокль эти глаза его — мутные желтые, как лампады, будто прижаты вплотную к моим глазам. Ему до нас — два-три прыжка. Стоим, смотрим. Он, видно, шел, не чуял нас (мы с подветренной), шел, опустив тяжелую голову до земли, думал о чем-то… Не яркий, как обычно мы его представляем. Блеклый такой ковер, дышит, ребра ходят… И тут — без поворота — просто стоял и нет — скользнул в заросли.

Идем медленно, прислушиваясь, чуть дыша. Останавливаемся у того места, где он скользнул в заросли. А они тут настолько густые, что руку сунешь, и ладони не видно. «Вот, — говорю, — кажется, здесь…» И в ту же секунду, в полуметре от вытянутой руки — я не знаю, как назвать этот звук — рык? взрев? — нет, но будто ты вспорот этим звуком — весь, от пят до волос. Даже не страх, нет его, страха — вымороженная тишина внутри, и пустота. «Назад, — шепчу. И ловлю ее руку: — не спиной!» Медленно пятимся, чуть касаясь земли. И вот уже отошли — примерно к тому месту, откуда его увидели.

Выдохнули. Ну, вроде бы живы… И в ту же секунду — взрев, и за ним еще, и еще — рядом, в шаге от нас, из зарослей. И снова пятимся, долго, пока не дошли до края леса. Вон он: вышел вдали на тропу, стоит, смотрит на нас, отвернулся, исчез.

Значит, скользил в зарослях, в шаге от нас, бесшумно, — ни ветка не шевельнулась, ни лист под лапой. И потом этот рык… В себя приходим. Знаешь, говорю, кажется, это еще не конец, что-то должно еще произойти…

И вот мы поднялись на холм. Ты здесь, говорю, посиди в засаде, а я перейду чуть дальше. Перешел, обустроился, смотрю — два оленя выходят на луг, самец и самка, она впереди, а он что-то неладное чувствует, замирает. И идут они как раз в ту сторону, куда скрылся тигр. И исчезают из виду. Пытаюсь спуститься ниже по склону, но там бурелом. И вдруг слышу — душераздирающий крик (оленя?), и тут же (будто в нем, в этом крике, внутри него) — рык. И стихло. Там — внизу, в буреломе, куда спуститься хотел. Сижу, гадаю… И тут — сзади, за спиной, какой-то шорох, приближается… Идет, не видит меня, в руке камень, голова запрокинута, слезы в глазах. Напролом идет, сквозь ветви, не отводя их рукой. Эй, шепчу, я здесь, и прижимаю палец к губам. Стоит с этим камнем, смотрит на меня, глазам не верит.

Что ж, говорю (это потом уже, когда вернулись к ночи), в рукопашную ты с ним хотела вступить? Выдрать меня или то, что осталось, из его лап? Не знаю, говорит, я в ту минуту не думала… этот крик был оттуда, куда ты ушел.

Вскоре мы оказались на юге Индии, и по пути я неожиданно попал на закрытую встречу с Далай ламой, очень странную, где мы около часа безмолвно смотрели с ним глаза в глаза, сорвав какую-то важную встречу его с монахами, которые шли на нее в Бодхи Гайю, спускаясь с Гималаев. А накануне вечером я подумал: а вот окажись завтра возможность с ним встретиться, поговорить… О чем? Может, спросить, попросить… Нет, ничего не нужно. Разве что, вот так молча побыть. Как и случилось. И хотя взгляд этот до сих пор остается для меня загадкой, тогда, после встречи с тигром, все это воспринялось мной, как стакан воды после спирта.

Год спустя мы вернулись в этот же заповедник. Вот тропа, вот то место, где мы столкнулись с ним… Казалось, из жизни это уже ничто не вынет. Вынет. Память вынула. Чем? Словами. Что осталось? Ряженые воспоминанья. И чувство такое, что главное происходит не здесь, а где-то высоко над тобой, где никого нет, но кто-то вглядывается в тебя и пишет.

Ночь со слонами

Бытует расхожее (наше) представление, что встреча со слоном, мол, не так страшна, как, скажем, с тигром. Любой индус скажет: нет ничего опасней встречи со слоном. Особенно, одиноким, в период гона, когда у него взгляд заволочен от слез, и весь он на нерве. Или встреча со стадом, где самки с детенышами. В отличие от столкновений с другими

животными, вариантов спастись, если слон начинает тебя преследовать, — нет. И еще — о расхожих ошибках, типа «гремит, как слон в посудной лавке». Они движутся в густых зарослях бесшумней бабочки, и могут стоять в нескольких шагах от тебя в этих зарослях — незамеченные. Атака молниеносна: 60 км в час — с места. И втаптывают. Или берут хоботом, придавливают ногой к земле и рвут, как ветку.

Столкновений со слонами у нас было несколько. Я расскажу об одном. Заповедник Раджаджи, верховье Ганги, холмы, лес, один из притоков реки. Мы ходим дважды — до рассвета и на закате. Вылазки нелегальные, прячемся в зарослях, заслышав патрульную машину егерей, но это бывает нечасто. Песок у реки весь испещрен следами леопардов, тигров, оленей. Кучи свежего слоновьего помета. К тому времени опыта ночевок в джунглях у нас еще не было. Мы высмотрели на другом берегу реки небольшую пещерку, прорытую в песчаном обрыве. Кто-то сказал нам, что там жил отшельник, но давно его не видать. И вот в один из дней мы решились переправиться через реку и там заночевать. Переправа через этот бурный поток, волочивший по дну камни, заняла времени больше, чем ожидали. Перебрались, когда начало темнеть. Идем вдоль берега: справа река, слева высокий обрыв, между ними узкая полоска кромки. Луна взошла. Вдруг видим: впереди, за рекой какие-то тени, у самой воды. Приглядываемся: стадо слонов, большое, уже входят в реку. Если, перейдя ее, они повернут в нашу сторону (а только в нашу и повернут — это слоновья тропа, нахоженная ими веками, и мы это знаем, а они редко меняют свою тропу), то жизни у нас осталось минут на пять-семь. И деться некуда, и не разминуться. И проскочить вперед — с рюкзаками, во тьме, по завалам камней — не успеем. Дальше все происходит безотчетно, опережая разум, во всяком случае, мой. Сбрасываю рюкзак, говорю Зое: разводи костер, быстро! И бегу вперед, к ним, становлюсь напротив их переправы, а они уже вошли в реку — слонихи с детенышами, а самец стоит на том берегу у самой кромки, и луна выглянула, освещает его, огромного, с бивнями до воды. Расстояние между нами — метров пятьдесят. И тут я, неожиданно для себя, начинаю кричать, то есть выкрикивать какие-то фонетические глоссы, какую-то тарабарщину, типа — как там у Афанасия Никитина: олло худо, олло акь, олло ты, олло кармиелло, худосеньсень… Мол, я, имярек, человек, существо, небожитель, с этим вот голосом, жизнью, здесь, уж такой как есть… И он вдруг подымает хобот в мою сторону, как бы считывая меня, сканируя, и начинает трубить и бить по воде им. Я кричу — пауза — он трубит, чередуемся: я, он… И стихло, луна скрылась. Оглянулся: там, вдали огонек — вспыхнет, гаснет... Ну вот и все, думаю, вот они, рядом, сейчас обовьют хоботом, порвут, как ветку, и дальше пойдут — на стихнувший огонек. Мы ж для них в этой тьме, как на ладони. И вдруг чувствую — отпускает. Это напряжение воздуха, сковавшее меня, как бы спадает, отпускает. Луна выглянула, осветив реку: никого. Значит, он, отец, остановил стадо на полпути, оставил нам жизнь, и они повернули вверх по течению. Возвращаюсь к Зое, подхожу: в ссадинах вся, царапинах, темные следы от слез, утертых, размазанных. Обнял ее, стоим, прижавшись друг к другу. Шепчет в плечо: ...трава и камни... не из чего разжечь, и зажигалку выронила… И дрожит. И так от нее светло на сердце, что и сам дрожу. Развел костер, сидим, смотрим в него, тихо так, и реки не слышно. Огнем и словом, — говорит, — спаслись.

Аборигены

За долгие месяцы наших с Зойкой странствий по индийской глубинке и джунглям это был не первый опыт встречи с аборигенами.

Но вначале — о том, как мы там оказались. Наш индийский друг Джаянт, ткнув пальцем в карту, сказал: «Вот здесь даже из вагона не выходите, однажды я проезжал эту станцию, хотел на перрон выйти, чуть размяться, так меня ружьями назад затолкали… И вообще, в этот штат Андра-прадеш я бы вам не советовал ехать».

Сев в поезд, через сутки мы вышли на той самой станции и, поселившись в каком-то трущобном отеле (в соседнем номере — двухметровый длиннобородый сикх в черно-красном оперении и с саблей на боку), направились искать управление лесного хозяйства. В отличие от прежних поездок, когда мы проникали «куда нельзя» втихую, через заборы (заповедники и пр.), на этот раз я запасся некоторыми бумагами (от ЮНЕСКО и др.) и весело блефовал с чиновниками, — в основном это срабатывало.

Принял нас глава департамента, мы долго и увлеченно водили с ним указками по карте края, рассказывая байки друг другу, пока он не ткнул в какую-то незримую точку на ней: «Вот здесь позавчера деревенские жители поймали и повесили на дереве самку леопарда». За что, спрашиваю. «За то, что она тренировала своего детеныша на стаде коз, выпасаемых в ближайшем лесу. Каждый день, как на уроки его водила».

К вечеру мы уже были в той деревушке. Встречала нас по звонку от этого шефа целая бригада лесников (об этих обэриутах леса и о том, как они возили нас в джунгли показывать зверей — отдельный рассказ. Похоже, в лесу они были впервые, и двое суток готовились по учебникам к этому «выходу в свет», как к экзамену). Поселились мы в отдельной избушке на территории их лесничества.

В первый же вечер, когда мы с Зойкой чаевничали на веранде, из подполья выглянула змея ростом с Эдипа и такой же слепоты. Она медленно уползала, поводя головой из стороны в сторону с тихим шипеньем: «твою мать!..» Я шел рядом, пытаясь притормозить ее, палкой перегораживая путь. Она поднимала голову и смотрела в меня невидящим взглядом. Сбежались лесники и, не подходя близко, полосовали лучами фонариков меня, сидящего на корточках рядом с ней, приподнявшей голову и глядящей мне в лицо отсутствующими глазами. «Пиджера! Пиджера!», — кричали лесники. Кто это? — спрашивал я. — Ядовита? «Да, — кричали наперебой, — нет, да-нет, очень!» Я подумал, что вот это они бы и кричали, окажись в раю и полосуя фонариками то древо со змием… Так мы и коротали дни, служанкой у нас была Бхагилакшми, а опекуном — старый цыган Рамана. На английском в округе не говорил никто. Ночью Рамана повел нас на какую-то каменоломню, в подземный храм на особую пуджу, огненную. Хранителем огня был живущий там, в этой одинокой дыре, уходящей в землю, полуголый и весь заросший, как медвежонок, садху. Зойка была в то время на третьем месяце, и Рамана сказал (то есть жестами показал), что надо бы поддержать будущее.

На следующий день лесники свозили нас к полудикому племени койя, обитавшему в лесу. Там навстречу нам вышли две сестрички, девяностолетние, в незабудочных пеньюарах. На обратном пути мы видели сидящую у дороги (во все стороны горизонта — ни души) женщину с двухнедельным ребенком: она полоскала его в ведре с холодной водой и, похоже, оба были счастливы.

Въезжая в деревушку, лесники вдруг остановили посреди нее джип, вышли и, вынув из карманов рулетки, начали обмеры, цель и последовательность которых становилась все

более непостижимой: кузов, колеса, тень от колес, дорогу по диагонали, быка, просунувшего голову в кабину, запутывая друг друга этими мерными лентами. Жители деревни огибали их, не обращая внимания. Длился этот перформанс около двух часов под раскаленным солнцем, затем Хармс, Введенский, Олейников, Друскин и Заболоцкий молча сели в машину и доехали до лесничества оставшиеся сто метров.

Ночью я вышел на крыльцо от странного шума откуда-то сверху: с неба во тьме валились какие-то белые жидкие веревки, будто кто-то срезал их там наверху, в непрогляди, над кроной огромного дерева над нашей избушкой. Наутро я понял, что это было: дерево за ночь все поседело, и вокруг него в небе вились рукокрылые женщины, длинноногие, в легких сорочках, и вскрикивая, запрокинув голову и тормозя крыльями на лету, будто моля: «нет!.. нет!..», валились в гнезда в густой кроне.

А разбудил меня, постучав в дверь, мальчик с худеньким ранцем и попросил автограф, протянув мне школьный дневник.

А днем раньше зашел старик и сказал, что он тоже писатель, и поманил рукой — показать свои книги. Я зашел с ним в его конторку, заполненную до потолка пыльными амбарными книгами учета лесного хозяйства. "Вот это все, — сказал, он, обводя взглядом, — я написал за последние 30 лет". И опустил голову со смесью гордости и смирения.
И в общем-то по индийским меркам он прав: любой, обученный грамоте, то есть способный писать, — писатель.

Но что-то я все отвлекаюсь по пути, никак не дойдя до этого индийского шабаша, а попросту — пятничного схода различных близживущих племен с ритуальным умертвлением домашних животных и разгульными пикниками у костров.

Ну вот, ранним пятничным утром, улизнув от наших опекунов, мы и отправились туда на шестиместном драндулете, в котором мы оказались 17-м и 18-м пассажиром, не считая рикши, висящем где сбоку от руля, за пределами драндулета. Подъехали. Вышли…
Как об этом сказать? Вот есть звуковая волна, да? Сильная звуковая волна, которая тебя отбрасывает. А тут — зрительная. И не то чтоб отбрасывала, ослепляла, а с равной силой — и отбрасывала, и втягивала. Трепетанье зрения. Будто зрачок взорван этим разгулом ожившей живописи. Взрыв, а потом уже мир, трепет. И вихляющий след взгляда:

…и текут к жертвеннику со всех сторон: белые быки, запятнанные алыми отпечатками детских ладоней, корабли телег с мельничными колесами, в которых раскачиваются поющие женщины в кольчугах бус на голое, кольца, серьги в ушах, носу, шеи в обручах, фески бисерные на затылках бритых, а в руках петухи, куры, бьют крыльями, а за колесницами — жилистые, будто выкорчеванные из земли, мужчины, приплясывают, бьют в барабаны, дуют в трубы, черных козлов ведут за собой на веревках, те упираются, красную пыль бороздят коленями, а взвинченные обезьяны, с веток свесившись, скалятся, смотрят, как те наматывают круги у святилища, и шаман заходится, красное и зеленое ввысь взметая, кричит рваное, в пыль валится, перекатывается к затону, к жертвеннику, над которым солнце стоит — в пуху, перьях, а они выплясывают в этой бурой пыли, безголовые, бьют по земле крыльями, перекувыркиваются с этого света на тот и обратно, мертвые через живых, и затон, в котором их оголяют, ал и мутен уже, и они, подоткнув юбки, стоят там, полоща, ощипывая и вспевая вдруг этим мокрым гортанным взрыдом, а чуть в стороне веревки натянуты между двух деревьев, на них головы петушиные, лапки висят, будто нотный ряд, а в подлеске — костры, дымы, чаны уже кипят, дети к ним руки тянут, а на жертвеннике черный козел распялен в двенадцать рук, голова задрана, и тесак

над хрипящей шеей, только руки, двенадцать их, терракотовых, на иссиня-черном, судорожном, кровь взметнулась, и голова со стеклянным взглядом — отсеченная — стоит на доске, на нас смотрит.

Только потом понемногу зрение начало приходить в себя. Зойка отошла в сторону, присела, дурно ей (и ему, в животе ее) от этой крови, пуха, перьев, жары, запаха жалкой животной смерти и одури этой сплоченной жизни, наяривающей круги.
И вдруг — кто-то кладет на плечо мне руку. Оборачиваюсь. Телевиденье. (Они, оказалось, искали нас по наводке того департамента). Здравствуйте, говорят, давайте вон к тем деревьям отойдем, там поспокойней. Зачем же, говорю, отходить? Ладно, включают камеру.

И тут меня, что называется, понесло: пух, перья, костры, весь в отблесках, Рамаяну пою с голоса, окружен толпой, глазеют, кур и детей к груди прижав…

А несколько дней спустя, в Какинаде, только с поезда, раннее утро, зашли в булочную, а продавец так изумленно смотрит нас, складывает у лица ладони: «Свами, — говорит, — свами… Только что видел вас по первому каналу. Прекрасная речь, божественная! Я такого об Индии в жизни не слышал». Да, думаю, я тоже, особенно на фоне той куромахии за спиной.

А потом, недели через две, перевалив через горы, мы оказались в глубинке Ориссы, где обитает племя бодо, наиболее аутентичное и, как сказали нам, небезопасное — живут в горах, вдали от людей, к себе не подпускают. Зашли мы в городке Корапут в местный этномузей, а во флигиле сидят архивариусы, пишут про это бодо, которое за горой, сидят, пишут, сплевывая кровавым «паном» в открытое окно. А вы-то их видели, спрашиваю. Нет, говорят, что Вы, никогда! — смертельно опасно.

Добирались мы поначалу автобусом, потом каким-то лесовозом, потом пешком. Первых бодо — несколько женщин — увидели сидящими у тропы. Как-то объяснились на пальцах, сфотографировали, не успели отойти, как вдруг оказались окруженными их мутными обкуренными мужичками, вышедшими из лесу. Деньги требуют и, ухмыляясь, водят ножом у лица. Несколько напряженных минут. Уладили, энергетически, без слов и денег.

... Возвращались лесной тропой, уже смеркалось. Девочка лет пяти с каким-то фарфоровым мертвенно-взрослым лицом выглянула из-за дерева. Или слегка набеленным? И опять — из-за другого дерева. Как же она переместилась? И смотрит таким странным взглядом… как маленькая упавшая с неба судьба. Чуть впереди, и ждет.

Джаганнат

Я очень взволнован, любушка. Я нашел своего бога. Он был у меня в детстве. А потом, года в три, я, видно, как-то отвлекся. Ну и он, наверное. А теперь — вот, я узнал его. Такое счастье!

Где ж я нашел его? В Ориссе (той, что в шашки букв играет с Россией), в Индии, посреди волошинских голубых холмов. Храм Джаганнат (одна из ранних ветвей индуизма), на горе стоит, пуст. Голова на пороге, а тело в тени, лежит, в детский бубен постукивает. А во дворе боги стоят. Много их, и все они вместе — один. Как о них скажешь? Чем? Или

слова, или бог. И с чего ему жизнь отдавать за нас, а не муравья или куст сирени? Цацы такие? А вот в Джаганнате — и муравей, и мы, и куст сирени. И взвинченная радость. Но — в напряженной тишине, зловещей. Там шаровые молнии в нем ходят, как церемониймейстеры, в пустынных залах, и свет густой клубится, там, под маской. А с виду — кукла, пугало, пришелец, цыганским золотом расшит. Плюмажи, бисер. Стоит, таращит очи, и нож улыбки прячет, но так, чтобы ты видел, где лежит. А сам сияет, весел и любим. Мол, я не я и песня не моя.

Кто ж они? Сны Параджанова, снящиеся Кустурице, снящемуся Кецалькоатлю? — И тут есть Ындейская земля… олло худо, олло акь, олло ты, олло кармиелло, танъгресень, худосеньсень... Как ты сказал — самоварные бабы небытия? А который из них твой? Тот — из нежно-зеленой глины, завернутый в простыню, как Катулл в бане, губы цветочком, а глаза распаренные? Глянь — еле сдерживаются от смеха, а надуты, как смерть. А голова все лежит на пороге, поглядывая на нас, бубном обмахиваясь.

Трусики свои ты вывесила сушить в гостинице, а наутро мы съехали и забыли о них. Любимые, одни у тебя такие. Может, бог с ними?

Далай лама

Странствуя по Индии, мы старались, по возможности, огибать города и всяческие места с большим скопленьем людей, предпочитая малопосещаемые заповедники и аутентичную глубинку. На две трети мы выуживали информацию из Интернета, карт, разговоров с лесниками, случайными попутчиками и т.п., а на треть двигались по наитью. И вот оказались мы на западном берегу, в заброшенной рыбацкой деревушке, решив там несколько дней передохнуть, поплавать. Деревушка была мусульманской, в стороне от дорог, иностранцев там отродясь не видывали. На гостинице, вернее, на занесенных песком и заросших лианами ее развалинах, красовалась обмелевшая надпись: «Благодать божья». На пороге лежал мальчик, который на наши вопросы лишь мотнул головой: мол, заходите… и снова прикрыл глаза. В этих бесхозных развалинах, кроме нас, жил директор бродячего цирка, похожий на хорошо прокопченного усатого силача Поддубного. Весь день он наматывал круги по деревне и ее округе на своем цирковом джипе, обклеенном афишами, и орал в рупор о предстоящем представлении. В это же время по деревне водили храмового слона, готовясь к особому празднику, сродни «дню благодарения». Слон этот обходил все дворы и в каждом, согласно ритуалу, крестьяне нашептывали ему в ухо свои горести и печали, которые он, медиум, по идее, передавал наверх. Так они и кружили по деревне — слон и Поддубный на джипе, а мы шлялись вдоль берега, а к вечеру, разобрав на дрова очередную полуистлевшую в песке лодку, разводили костер рядом с развалинами Благодати и жарили рыбу на кокосовом масле.

В один из дней нас, что называется, повело — наитьем: собрав рюкзаки, мы двинулись какими-то окольными дорогами с запада на восток Индии, а куда конкретно — бог весть. Где-то через сутки пути мы оказались единственными пассажирами в весьма странном автобусе, который стоял на пустыре, в стороне от деревенской автостанции, и вдруг рванул с места с оглушающим ревом, и в течение всего дня несся по осевой и встречной на скорости сверхзвукового истребителя. Вывалились из него мы уже во тьме, непонятно где, а на следующий день оказались в небольшом малопосещаемом заповеднике

Анамалаи, где поселились в кроне высокого дерева — в ветхой избушке с прогнившей лестницей… Ну так я не дойду до Ламы, надо бы все это пролистать.

В общем, потом нас «повело» дальше и, наконец, мы приехали в Патну (Паталипутру), один из древнейших городов мира, стоящий на реке Сон и рожденный, по преданию, из магии. Не знаю, как сейчас, но в начале 2007-го туристов в Патне было не густо, во всяком случае, мы не видели ни одного. И в отели без особого разрешения департамента не селили, да и с ним, видимо, тоже. Договорились в каком-то закоулке, втихую, дав сверху. Съездили в пригород в храм сикхов, помедитировали с ними и пообедали. На обратном пути рикша спрашивает: «В Бодх-Гайю?» К стыду своему мы понятия не имели тогда, что это всем известное место неподалеку от Патны, где Будда получил Просветление, сидя под деревом. Ну бывают такие пробелы (и не такие тоже).
Нельзя сказать, что мы воспылали желаньем съездить туда, но в округе никаких заповедников не было и мы сели в вечернюю электричку. Рикша привез нас с вокзала на какой-то постоялый двор на краю безжизненного поселка. Хозяин с лампадой в руке, проводив нас в номер и уже уходя, обернулся: «Он уже здесь». Кто? — переглядываемся. «Далай-лама. Четырнадцатый. Разве вы не к нему?» Да-да, говорю, конечно. «Завтра в девять утра церемония (произносит длинное сочетание букв), если у вас нет пригласительных, то в час дня — открытая встреча под деревом Будды. Спокойной ночи».

Вышли поужинать. Темень, ни души вокруг. Вдали — ступы в призрачной иллюминации, как Рождество на планете Плюк. Единственная харчевня еще теплится у дороги, уже закрывается. Двое сидят за уличным столиком, подсаживаемся к ним. Миловидная француженка и пожилой тибетский монах. Она собиралась в Монголию (сесть, говорит, на лошадь и — вдаль, в даль, горизонт за горизонтом…), остановилась в Индии на пару недель, прошло три года, как она здесь. А монах живет в скальном монастыре на высоте 3500, ветер гудит в оконный проем вымороженной келии, как в горлышко бутылки. Трудно, говорит, спим одетыми, одежда и во сне снашивается — месяц, и нет ее. Да и разве это одежда? Смотрит на мои кроссовки. Немецкие, да? Другое дело, качественные! Я, говорит, четыре пары сносил, пока шел сюда на эту встречу завтрашнюю, три месяца шел. И не я один, завтра увидите…

Вернулись в номер. Знаешь, говорю, я на минуту представил себе невероятное: завтра, то есть уже сегодня, у меня каким-то образом происходит встреча с Ламой. С глазу на глаз. И вот я вслушиваюсь внутри себя, и не слышу — ни его голоса, ни своего. Тишь. Вот он, вот я, и какой-то коридор внимания. И всё. Нет у меня их — ни вопросов, ни просьб, ни желаний. И тогда я подумал: а если не с ним, а несколько повыше, там. Прислушался: нет, и там их нет у меня. Понимаешь? Что же тут непонятного, говорит Зойка, ты посмотри на себя. И улыбается.

Вышли наутро: неузнаваемо всё. Со всех сторон тысячи паломников текут к площади. И этот поток подхватил нас, не выбраться, и вынес к воротам, уже запертым, и тройному ряду охраны перед ними. И тут я, не понимая, зачем, говорю: ты подожди меня здесь, я скоро. И, проталкиваясь сквозь толпу, исчезаю в каких-то опустевших переулках. Навстречу монах, кивает мне, мол, чтоб шел за ним. Петляем, входим в какой-то дом, вынимает из стола пригласительный, на одного, говорит, впиши свое имя, и уходит. Возвращаюсь, даю Зойке, впиши, говорю, и иди. Нет, улыбается, это твоя история, а моя — здесь.

Вошел. Человек триста сидят рядами перед сценой, монахи, особо приглашенные. Церемония в связи с передачей какой-то сакральной реликвии, лама Цейлона привез ее. К сцене не подойти — охрана сплошной линией. Пересек зал, стал у стены, слева от сцены. Ламы входят, впереди Далай, под желтым зонтиком, сложил, взошли на сцену, расселись. Далай кивает, приветствует всех, обводя зал слева направо с этим мудрым черепаховым выражением лица, доходит до меня и останавливается, продолжая кивать, улыбаясь. Я отвечаю ему кивком и улыбкой, а он все продолжает не сводить с меня взгляда. То есть понятно, что кивает он не мне, а кому-то рядом со мной. Смотрю: никого рядом нет. И так длится десять секунд, двадцать, минуты, десять, двадцать…

Уже давно идет церемония, ламы поочередно встают, подходят к нему, склоняются, он не поворачивает к ним головы, и вообще сидит вполоборота к залу, продолжая смотреть мне в глаза, кивать и улыбаться. Ламы сменяют друг друга на трибуне, произносят речи, но зал давно уже лишь вполглаза следит за этим, а полтора глаза обращены к нам, к этой линии взгляда между нами.

Да, первые минут десять я чувствовал некий ток по этой линии, а потом стал испытывать некоторую неловкость от происходящего и, хотя понимал, что это уже совершенно излишне, все же вынул ручку и на пригласительном хотел было черкнуть ему несколько слов, но споткнулся на первом. Как обратиться? Ваше… Выпало из памяти. В общем, пишу: «Дорогой друг…» И несколько слов о себе, о моем проекте арт-ашрама в Ришикеше, и предложение, если он не против, увидеться, поговорить. Нелепость, конечно, все уже произошло, говорю я себе, но все же несу ему эту записку. Охрана расступается, я даю ему в руки, он поверх записки продолжает улыбаться и кивать мне, глядя в глаза. Возвращаюсь. Из-за кулисы выходит его секретарь, склоняется ухом, лама нашептывает ему, продолжая кивать мне из-за его головы. Секретарь исчезает, и спускается с другой стороны сцены с коробкой, подходит ко мне, произносит длинную речь, шепотом, зал прислушивается, взгляды обращены к нам, на трибуне, кажется, уже последний лама что-то неуверенно договаривает, поглядывая на нас. Его святейшество, шепчет помощник, просил передать свою благодарность, что Вы здесь, что он рад Вашему творческому пути и желает… Ну в общем, много еще нашептывал в этом духе. И коробку эту с молитвенными сладостями вручает в подарок. И приглашает к дереву Будды к полудню, а потом, если его, Далая, не увезут, может, и поговорим, шепчет помощник. А Далай кивает и улыбается: да-да, мол, всё так.

Второй час уж пошел. Наконец, закончили. Вышел. Зоя ждет меня за воротами. Ну как церемония? — спрашивает. Похоже, говорю, мы с ним ее сорвали. С кем, смеется, с Далай Ламой? Да, говорю, личная встреча, личнее не бывает. Ни слова не произнесли. Конфетку хочешь? В золоте, серебре.

Белый карандаш

В лесу еще темень, предутренний туман тянется меж деревьями. Идут в нашу сторону. Пятнистые. В легких бежевых униформах. Читалы, маленькие олени. Листву разучивают, а впереди — классный руководитель, дерево на голове.

А какой карандаш в детстве был самым чудесным? Да, белый. Белым по белому. А еще вата на елке, маленькие такие щипки, по бедности. Что-то в таком духе предшествовало творенью этих читалов в бежевых фланелевых сорочках с белыми ноликами,

нарисованными детской нетвердой рукой. Похоже, левша он был, Боженька, и не старше пяти.

Ходят по лесу, как на уроке природоведения, щиплют воображенье. А мы сидим в засаде — небольшой яме, задрапированной ветками, ждем самбаров — больших умбристых оленей. Каждое утро они переплывают реку и пасутся в этом лесу, а на закате возвращаются на свой остров.

Вот они, вышли, пересекают тропу, а двое — он и она — чуть отстали и медленно поворачивают головы в нашу сторону. Подходят, остановились в нескольких шагах, смотрят. У нее такое лицо красивое, столько в нем нежности и свеченья… Может быть, это Шива со своей возлюбленной? Тоньше солнечной пыли ее лицо. Она ведь сожгла себя, Сати. Стоят, смотрят. В этой утренней сепии они похожи на старинный дагерротип из семейного альбома, на миф о людском счастье.

Ей не терпится подойти ближе, разглядеть, что это там в зарослях. Подошла, пригнула голову, вытянула шею, прямо в глаза смотрит. Затаили дыханье, стараясь не моргать. А он стоит чуть позади, нервничает, вдруг вскрикнул — и нет их, только куст подрагивает...

Солнце восходит, иду вдоль излучины, раздвинул ветки: самка самбара лежит, обглоданная до кости. Пытаюсь сфотографировать. Зачем? То куст мешает, то, если ближе, не входит в кадр. Чуть разворачиваю к себе ее череп, теперь грудная клетка не в том ракурсе, передвигаю...

Да, жила она на острове, может, сестра той, которую мы видели полчаса назад. Сестра или дочь. Лет двенадцать-пятнадцать ей было, по останкам судя. Мужчины на нее поглядывали, когда на рассвете она из реки выбредала, золото брызг отряхивая. А потом стояла в лесу, ветки перебирала, веды, упанишады… Слабенькая была, странненькая в семье. Бродила по лесу, чуть кивая, всегда одна, в стороне. Станет в зарослях, почти не видна, под ноги смотрит, игра света. А солнце вяжет листву над ней, на тонких спицах, вяжет и распускает. Может, она заблудилась немного, стемнело, все уже перешли на остров, а она все еще здесь, к ручью спускается, думает, по ручью вниз, а там уже и река… Или рвал он ее на глазах у семьи, у всего народа, кинувшегося врассыпную? Врассыпную, кроме одного, который встал как вкопанный и глядел, как тот повис у нее на горле и гнул к земле, а потом, когда она стихла, рвал из нее куски горячие. Все было кончено в ней, только глаз, казалась, еще смотрел в небо, подергиваясь. Глаз и губы еще подергивались, когда тот рвал из нее куски, урча над пахом.

А теперь рука, левая, эта, моя, лезет туда, роется в ее смерти, кадр выстраивает, как икебану. Влажная земля, прелые листья. Белый карандаш… Тот, на котором вся ее жизнь держалась.

Ворота в рай

Вход в мокшу (в отличие от нирваны, чуть светлей и теплей) находится, как известно, в Рамешвараме, городе столь же священном для индусов, как и Варанаси. Расположен он на острове в Манарском заливе, в сорока километрах от Шри Ланки. Ныне это, скорей, бойкий пгт вокруг взметенного ввысь пирамидального храма с водяным чистилищем в его сумрачном чреве. Тьмы паломников, сдав обувь в гардероб, тянутся цветной скрученной

нитью сквозь ушко входа и выпрастываются на выходе преображенными, мокрыми и счастливыми. Внутри храма с его вертолетным пространством, боковыми галереями и закоулками расположено 22 колодца (с разным вкусом воды), к которым выстраивается очередь. На бордюре выплясывает водяной, лет под девяносто, со снежной бородой до пупа и в стрингах. В руках у него шест с ведром, который он сует в колодец и вытаскивает, перехватывая, будто танцует «яблочко», и окатывает в порядке очереди следующего новобранца — веером от живота или сверху вниз. Окатившиеся этой благостью, отходят во тьму и, растягивая тканевые ширмы, переодеваются.

В одном из тихих закоулков храма я увидел сидящего на полу человека, очень похожего на Рогожина из «Идиота». Зыркнув на меня, он снова погрузился в книгу, лежавшую у него на коленях — детскую, для раскрасок, — перекладывая страницы ржавым кухонным ножом.

Что же я делал там в те несколько дней перед тем, о чем будет речь впереди? Из главного, что осталось не в памяти, а в сердце: спасал ослов, терзал пальму и покупал заброшенный дом на пустынном берегу.

Хотя ослов в Рамешвараме и не больше, чем паломников, но и не меньше, чем коров, например. Отношение к ним, в отличие от последних, пренебрежительное, торговцы лупят их палками, отгоняя от лотков. Вообще откуда ослы взялись там в таком количестве, и почему только мужского полу — остается вопросом. А где их женщины? Ждут на родине, вяжут и распускают? А эти ходят, слоняются, пожевывают своими теплыми горькими губами, столбенея у витрин. И почему-то много среди них стреноженных и спаренных друг с другом. Так и передвигаются, бедолаги, щека к щеке, подергиваясь, пытаясь синхронно шагнуть связанными ногами. И глаза печальные и отрешенные, фаюмские. А ровно в семь тридцать вечера они сходятся к одной харчевне, где ежедневно хозяин выносит им после закрытия тазы с оставшейся едой. И вот за эти полчаса до выноса площадь перед харчевней заполняется ослами — сотни голов! Ждут, переминаются, возбужденье растет, проявляясь не только прядающими ушами, дрожью тел и глоссолалией переклички, но и растущим ослиным достоинством, которое, удлиняясь и каменея, наконец, упирается в землю, слегка приподнимая их, как на домкрате. А впереди, на крыльце, полководец, вглядывается сквозь стеклянную дверь. А потом они вновь разбредаются по округе, стоят во тьме по одному или по двое, задумчивы и прекрасны, как нестеровские отроки. И вот решил я устроить «Ночь спасенья ослов». Не всех, только парных узников. Накупили мы с Зойкой сладких булок, взял я свой швейцарский перочинный и вышли в ночь. Резали путы, награждали булкой и двигались дальше в поисках следующей пары. А те все стояли, глядя себе под ноги, переживая случившиеся. Вернулись под утро, уснули счастливые, а днем вышли, смотрим: все они снова в путах, щека к щеке.

А пальма росла во внутреннем дворе-колодце того отеля, где мы снимали номер на третьем этаже. И одна из нижних ветвей этой древней могучей пальмы, верхушку которой раскачивал ветер, все время елозила по нашему окну, издавая какой-то нечеловечий стон, жалобу, и скребла по окну, и стучала в него. Мы терпели, как могли, но уснуть было невозможно, и я открыл окно т ухватил ее за эту лапу, пытаясь подтащить ближе, держа в другой руке нож, тот самый, которым спасал ослов, но в ней, этой пальме, была такая силища, что она не только не поддавалась, но вытягивала меня из окна, будто чувствуя этот нож в руке, и так мы препирались, перетягивая друг друга, пока я, наконец, не изловчился отрезать ей эту кисть, которой она скребла по стеклу. А потом до утра она

тихо елозила этой культей и прикладывала ее то так, то эдак к окну… Ни сна, ни слов. Ножик, швейцарский.

А потом, у залива, где я присел, разговаривая с одним маленьким осликом, меня вдруг тронул за плечо некто, сказав: «Дом не нужен?» И мы поехали с ним на его мотороллере посмотреть. Пустынный берег и такая же пустынная морская даль. Сели с ним на песок, между лодкой и просыхающей сетью, чертим, рисуем с ним дом, сад, складываем, умножаем, получается пять тысяч долларов за все про все. И я представляю себе этот дом с башенкой, винтовой лестницей, подзорной трубой — туда, в морскую даль, и баркас на причале, и тропинку к дому, и свет в окне, и — дерево посадить, и книгу писать, и сына родить… У ворот рая. Стер, встал, простились.

На следующий день мы отправились к Адамовому мосту. Это цепочка необитаемых островков между Рамешварамом и Шри Ланкой. Иди к ним нужно несколько километров по узкой песчаной косе, на острие которой в час заката схлестываются воды двух морей, как в сабельной пенно-кровавой битве. А дальше, за этим схлестом, в метрах ста — белеет первый из этой цепочки островков. Согласно Рамаяне, здесь был мост, построенный войском обезьян Ханумана для того, чтобы Рама смог пройти по нему и вызволить из плена свою возлюбленную Ситу, заточенную демоном Раваной на Шри Ланке. А согласно другому источнику, это путь Адама, шедшего в обратном направлении — от Шри Ланки, где был рай, на землю. То есть, выходит, смотря с какой стороны глядеть: с одной — рай, с другой — сад демона. Недавние снимки НАСА и радиоуглеродный анализ каменных плит на дне залива вроде бы не отрицают искусственного происхождения этого «моста», датируя его приблизительно тем же "рамаянным" периодом.

И вот идем мы по этой косе, у самой кромки воды, идем в виде некоего троеточия: где-то вдали позади меня Зойка, а впереди — на таком же расстоянии — маленькая фигура индуса в развевающейся на ветру красной шали. И время от времени, то я, то Зойка входим в воду, окунуться, а индус подымается на дюну и присаживается у каких-то полузанесенных песком руин, затепливает свечи, идет дальше. Но вот я наверстываю расстояние меж нами и вижу, что у него нет правой руки. И снова он отдаляется, и так мы идем, трое, то ближе, то дальше друг от друга, каждый в своем мире.

Белая, как до сотворения мира, коса. Бездонная синева над ней. Иду, думаю, разговариваю — с тобой, с собой. Помнишь смерть каракатицы, брошенной рыбаками? Переливчатый студень, врубелевская царевна, она лежала в песке, смерть перебегала в ней, как из комнаты в комнату, передергиваясь на ходу. Гасла, переливаясь и вспыхивая, как Иерусалим, как Небесный град. А глаз ее все смотрел, заволакиваясь. Видно, мир не подпускает ближе, держит в этой черте оседлости — получувств, полужизни. Вот об этом я, понимаешь? О том, к чему человека не подпускают. Ведут стороной, по краю, лицом к стене, на которой мир — живой, нарисован. И как-то вдруг, ни за что, по какому-то недосмотру, ты стоишь на косе, и нет у тебя ни сил, ни опыта с этим быть. Это до слов, до того, как их начали смешивать — краски, чувства, слова. До опыта, и еще не просохли ни воля, ни время. Как же ты здесь оказался, идешь, следы на песке оставляешь, будто ты есть. Край косы впереди. Пена, волн табуны. А дальше? Ничего. Что может быть за краем Индии? Ничего. Голем рассыпавшийся, Адам.

И вот мы доходим до конца косы и видим, как этот однорукий индус плывет, захлебываясь и исчезая в пене схлестывающихся волн. Выбрался, бежит по островку разболтано, будто падает и упасть не может, машет этой культей вверх, в небо — кому? Вон он, уже плывет назад, а пролив ревет, все ходуном ходит, только рука из бурунов

вскидывается, смерклось, и нет его. Вглядываемся, ходим вдоль берега: нет нигде. Вот и всё.

Сели на песок, молчим. Пора возвращаться. Идем вдоль кромки и вдруг видим: сидит у воды, во тьме, и строит песочный замок, а волна всякий раз смывает эту башенку, и снова строит. Подошли ближе: не замок, лингам возводит, священный, который Рама здесь возводил. Обернулся с чуть виноватой улыбкой, поджав культю, как крыло.

Пальма, ослики, дом... Край света, ворота в рай.

Гуджаратская львица

В глазах ее были моча и пепел, конец книги царств. Если б они смотрели с болью, эти глаза, с тоской, гневом, ненавистью... Нет, даже бесчувствия не было в них. Бесприютная шкура елозит по ребрам. Но и под ними — чуждое все, чужое. Исподлобья глядит, желтыми заволоченными. Кажется, даже мухи пятятся. Смрад. Нет, хуже. Жизнь, ты сказала. Жизнь с заплывшим лицом и заволоченным взглядом. Не наша и не ее, — жизнь, сама. Вот что.

Солнце гаснет, а мы все стоим, и она смотрит на нас этим тлеющим трупным, землю скребет под собой, в горсть сжимает и отпускает. И уходит, как на костылях. Обернулась: ни санитаров уже, ни души в мире.

Залив

Какой-то птичий заповедник на краю Индии, у океана — забыл и название, и как занесло нас туда забыл... Помню, шли по степи вдоль берега, и винторогие олени в плавком воздухе (за 50 жара) плыли над землей, двоясь и троясь в медленных брачных фуэте, а за ними — вдали — розовый прибой, как мираж, проступивший колонией пеликанов

Стопа Рамы

Нашел в архиве и не могу вспомнить. Где этот священный баньян в огненном кольце, и что за карусельные ящички вокруг? Для подношений?

Может, это было там, в Андра-прадеш, когда отправились на джипе с обэриутами, переодетыми в индийских лесников — неизвестно куда и зачем? И они то и дело глушили мотор, выходя из машины, и измеряли рулеткой ее, потом тень от нее, потом что-то незримое в стороне, может, воздух... Покачивали головами — всеми десятью, не считая наших, и ехали дальше. А когда дорога кончилась, шли впереди машины, прокладывая путь и разбрасывая камни, деревья, все выше в горы. Где жила одинокая, ныне убитая мать, которая каждое утро водила свое дитя вниз, к деревне, на уроки природоведения. Крестьяне поймали ее и повесили вниз головой на дереве. Самка леопарда. Тренировала отрока на крестьянских козочках. А мы все шли — к могучему тихому водопаду с каким-

то билибинским светом за кулисой зарослей. Там, на самом краю рушащейся воды, была "Стопа Рамы". И "лесники" пробирались к ней, балансируя над пропастью, и легли в эту каменную ванну и, как пальцы незримого Рамы, шевелились в ней, молодея.

Может, там — на обратном пути?

Вошел-вышел

Вишнуитский храм, где-то на задворках, в глубинке, горит, и никого вокруг. Вошел, а внутри полумрак, очаг тлеет и повсюду — на полу, в нишах, проходах, завалинках — свалки богов, людей и животных, с оторванными головами, руками, ногами. И тишь.

Вышел, а поодаль, во тьме, под деревом, человек сидит с амбарной книгой, пишет. Год рождения? — спрашивает. Число, время и т.п. Сказал. Он склонился над книгой, пишет. Я постоял, ушел, еще побродил и снова вошел в этот храм, сижу там и вдруг слышу: барабаны, трубы, струнные... — разухабисто так, как у Бреговича, и доносится эта музыка откуда-то извне, за стенами храма, но будто его развихривает, как в центрифуге... Вышел.

Идут вокруг храма — четверо, в затылок, полуголые, с дудками и барабанами, приплясывая, викидывая коленца, как бродячие циркачи, смолкли, юркнули в храм и через несколько минут выходят оттуда — молча, деловито, в цивильных костюмах, с портфелями, скрылись во тьме.

Тварь

Есть одно божье создание, у которого полная непереносимость нас — как вида. Вот и в цирке их нет. Тигры на тумбах сидят, сквозь горящие кольца прыгают. А леопардов нет. Хоть с грудного воспитывай, не поддаются. Говорят, суфии их приручали, ходили с ними. Давно это было. И еще неизвестно, кто с кем ходил. Кто кого первым вводил в транс. Борхес пишет, что на их шкурах — письмена Бога. Красиво. Но какого? Уж не нашего. Он еще будет взвешивать, затаившись в ветвях, вниз глядя — пропустить тебя или прыгнуть. А почему колеблется? Страх? Нет. Хоть всей деревней иди на него с ружьями и мотыгами. Нет страха. Ничего нет, кроме холодной ярости. И презренья, как на флаге у Лермонтова, к огнестрельному оружью. У меня надолго осталась отметина на переносице от его лапы. Спасла камера, удар пришелся по объективу. Я и не заметил, как и откуда он прыгнул. Доля секунды, лицо в крови, и он исчезающий. Мол, не снимать здесь, тварь!

Музыка

Сюжетов всего четыре, говорит Борхес, не бывший в Индии. Черная корова с белым воротом сидит в асане посреди дороги, копытца на груди скрестила и смотрит поверх голов вдаль. Не сюжет важен, говорят индусы, а музыка нулей.

Наги

Встреч было несколько. Расскажу об одной, может, не самой яркой, но почему-то именно она всплывает в памяти первой. Оказались мы в каком-то заброшенном краю, на востоке Индии. И решили наведаться в один полу зоопарк, полу заповедник. Уже хотя бы из абсурдности его местоположения — вдали от всего на свете, ни для кого. Вошли. Ни души, и спросить не у кого. И никаких ограждений у зверей нет, только естественные преграды, да и те — якобы. Где-то на исходе нескольких часов блужданий там, пытаюсь вспомнить — где же на карте были змеи отмечены? Кажется, здесь. Озираемся. Никаких помещений. Поляна. Несколько рытвин. Подходим к одной из них. Кобра, написано на табличке. Где? Яма, метров десять в диаметре и глубиной полтора. Дно ровное, трава, песок. А посреди — деревце, невысокое. Если стать у края, крона его на уровне глаз и чуть дальше, чем вытянутая рука. Ни стекла, ни изгороди, просто яма с деревцем. Обходим ее, вглядываемся. Вот они. У ствола, под корнем. Две, переплетенные, неподвижные, едва различимы. Индийские кобры. Хочу сфотографировать. Сел на корточки на краю, ищу ракурс.

Идет по тропе, худенький, в брезентовой робе, на плече грабли. Приблизился, что-то говорит на телугу. Руками развожу, не понимаю, показываю, что хочу снимок сделать. Спрыгивает вниз, сует грабли под дерево, зацепил, тащит. Слава богу, хоть деревянные грабли, не металл. Это потом доходит. А тут стою в оторопи. Выпрастываются из зубьев, вскидываются, вскипают. В шаге от его ног. А он оборачивается ко мне, машет рукой, мол, спрыгивай, хороший снимок. Нет-нет, отмахиваюсь. А он все спиной к ним, давай-давай, и как бы щелкает камерой у лица. И тут, я уж не знаю, как, зачем, спускаю ноги в эту яму. А они взвились — одна напротив другой, и стоят, в капюшонах, вибрируя, как под током, не сводят друг с друга глаз. И та, что чуть покрупней, резкими бросками жалит ее, меньшую. Нет, воздух жалит — в миллиметре от ее кожи. Холод в глазах, рот скошен, ядом давится. Служитель все еще спиной к ним, в шаге. Ну что? — на камеру кивает. Обернулся, ткнул в них грабли, отбросил их друг от друга. Выбрался из ямы, отряхнулся, ушел.

В себя прихожу. Одна — все еще там, внизу, в той же стойке, лицом к стволу дерева. Как к стене. А второй нет. Вглядываюсь в крону, в каждую ветку. Нигде нет. Смотрю на ту, у ствола-стены. Стоит. Лицом в стену. Взглядом в нее, в упор. Мел на капюшоне, полустертый, как на школьной доске. И никого за спиной. Сад, окна, птицы поют… Вот она! На расстоянии руки, в листве, заплелась вокруг ветки и смотрит на меня оттуда. Два холодных немигающих глаза.

И вспомнился рассказ нашего свами о кобре: вползла в дом ночью и ужалила роженицу, на девятом месяце, спящую, в лицо. Здесь (прогуливаемся с ним по Ришикешу), вон в том доме. А факир, знахарь, говорит: только в госпиталь не везите, нельзя ей вводить сыворотку, я все сам сделаю, я знаю, что и как. Не поверили ему, муж повез. А этот знахарь ему цветок дает, на мальву похож, и себе такой же сорвал, это наша, говорит, с тобой связь будет. Как телефон. Когда я буду говорить здесь в этот цветок, ты там, в больнице, свой цветок к уху поднесешь и будешь слышать меня. И вот лежит она в реанимации, в коме, а муж в коридоре сидит с этим цветком у уха. А факир здесь, за двадцать километров, стоит, окруженный людьми, и вдруг глянул на этот цветок в руке и говорит: всё, ввели сыворотку, скончалась. И вот проблема, оживляется свами, как хоронить ребенка — вместе или отдельно? То есть как, говорю, отдельно — вырезать его из ее живота, что ли? Помолчал, улыбнулся: нет, конечно. Это же смерть от укуса кобры, а она священна. Как и невинность. Это здесь лучший удел. Таких не кремируют, а опускают в реку, как святых.

И напоследок — в новостной ленте индийской прочел на днях: «Храмовая королевская кобра бросилась на кормившего ее священнослужителя и тут же в судорогах, плюясь кровью у его ног, умерла. Змею отвезли к ветеринару, который не обнаружил в ней каких-либо физических отклонений».

Об осликах, индийских

Девять осликов, каштановых, на перекрестке. Сосчитал. Ближний — жалобный, чуть покосившийся набок, вздыхает, воздух пощипывает. Второй — облезлый, пыльный, стоит, как чуланчик, прислушивается, прижав голову к ребрам: что там? А вдруг инструмент? Третий — под трансформаторной будкой стоит, точнее, не будкой, а разлапистой башней, оплетенной проводами в искрящих обмотках. Стоит под ней, думает. Видно, не первую жизнь. Переминается и опять замирает: почему — он? И почему — здесь. Судьба? Взгляд упирается в воздух, как в стену. У четвертого — полторы головы, стреножен с пятым. Движется вскоком, чуть под углом к себе, как сломанный, деревянный, выпавший из карусели. Шестой булку стащил, бежит, палка его догоняет по воздуху, и на углу еще добавляют ему по ребрам палкой. Стал под деревом, лбом к стволу, с булкой в зубах, подрагивает. Двое подходят к нему, смотрят на булку, то так поведут ухом, то этак. Уши — как бурсаки на дороге. Ушли. Один замер на полпути, в лужу смотрит. Губы — теплой корочкой и горчат в углах. Оголяет зубы, разглядывает. Глаз обижен, косит. Что он видит? Закон божий? Он не то чтоб застрял на лестнице видов, но как-то стал ее поперек, как запруда печали. То к небу подымет глаза, то потупит. Будто он скроен из разных тел, судеб, полузабытых, уже ненужных. А девятый где? Сижу, чешу его за ухом. Прислушивается, сардоник.

Вычеркнутое

Роман "Адамов мост" я писал семь лет, в итоге выброшенным из него было примерно 300-400 страниц. Только что рылся в черновиках (по другому поводу) и наткнулся на такую, напр., веселую зарисовку — об индийских автобусах.

«Надо бы описать их автобусы. Они похожи на наши пятидесятых годов прошлого века, но при этом свободны от каких бы то ни было технических предрассудков, а в деле — и от физических законов. Эти вольные, как птицы, чудища собираются на автостанциях, которые одновременно и рынок, и харчевня, и постоялый двор, упражняясь друг перед другом, если смотреть на них спереди, в отъявленности гримас — от злодейски ощеренных до одутловато-недоумочных. Разинутые скособоченные рты радиаторов, лобовые буркалы, обвешанные иллюминацией, гирлянды цветов, свисающие с крыши, и вся эта физиономия с порой дорисованным, а то и достроенным носом потряхивается, стреляя глазами по сторонам.

Осмотрим тело, этот гомерический боди-арт голого Шивы на четвереньках колес. Краски, режущие глаз, как стекло. Писано с вопиющей радостью лесом детских нетвердых рук. Ни окон, ни дверей нет, изначально. Но проемы и пазы для них предусмотрены, изначально. Мотор в железном коробе вздымается рядом с шофером. В короб воткнут огромный посох, шофер идет, автобус едет. Третья рука шофера лежит на зеркальце обратного вида, то выдвигая, то задвигая его, — зазор при обгоне и со встречными — не больше одного

сантиметра и не сбавляя скорости. Сантиметр — не преувеличение, чаще меньше. Так что обшивка вся в мурашках, как эпителий руки от синтетики. И никаких аварий, полная невозмутимость, белая рубаха, осанка, голова учителя рисования перед классной доской: рисует мир, строит перспективу. Четвертая рука — на клаксоне. Это такой подвесной сад из оголенных проводов, клейм, трубочек, клизм и зажимов, похожий на помесь самогонного аппарата, азбуки Морзе и капельницы.

Сигналят они непрерывно, и совершенно не в тех целях, которые мы полагаем. Просто поют — всей дорогой, на все голоса, от избытка — и чувств, и пути, и жизни, которая, как в детстве, вся впереди. У каждого — свой голос, своя мелодия. И все это вместе, сливаясь в закладывающую уши симфонию — в тысячу шёнбергов, — движется в три этажа друг на друге и во все стороны одновременно, пританцовывая на колесах, копытах и пятках, как игрушечный рай, как цыганское счастье.

Выбрать автобус в нужном тебе направлении — нет никаких шансов. Надписи на них — на местных языках. Кроме этого — номер рейса. 973-К, например. Но и не факт, что он говорит о направлении. Да и языков — около двухсот пятидесяти. Не считая тех, на которых кричат кондукторы. Эти погонщики автобусов, наяривая круги — каждый вокруг своего, — устраивают такую глоссолалию, пытаясь перекричать друг друга, что, во-первых, нет никакой возможности разобрать этот фонетический фейерверк, во-вторых, ты вдруг ловишь себя на том, что имя твоего городка сметено в твоей памяти этой вакханалией звуков, и, в-третьих, что тебе это уже и не важно. Они идут цепью, как загонщики рыбы. Они перестраиваются на ходу, кроя этот людской улей на бурные языки. Они влазят на крыши автобусов и оттуда перемалывают воздух над головами, кроша его в щебень — голосом. Смуглые, поджарые, звонкие, в горчично-зеленоватых штанах и рубахах, они стоят на крышах в закатных лучах, как дагерротипы. Они поют имя города — из сорока семи букв, тридцать пять из которых — согласные. У каждого — свой город, но и путь к нему — все имена мира, все деревушки звуков. Эта личная духотворящая мантра взвивается от живота и, взвинтившись во рту до огня, выдувается. Они ловят уже не на смысл, а на звук, эти ибисы-тоты с птичьими головами. И каждый выводит автобус, плывущий за ним, как на нити незримой, с торжища. Чем полнее улов, тем суровее клюв. И свисток как окурок во рту.

Если вы действительно хотите уехать в нужном вам направлении, ищите диспетчера. Он сидит на стуле под пыльным тряпичным деревом. Перед ним стол, на нем амбарные книги. Подходят шоферы, пишут, в соавторстве с ним. Но главное — узнать, не какой автобус довезет вас до вашего назначения, а на каком из автобусов вы поедете. А это в зависимости от того, когда вы хотите прибыть — через час или завтра. Таких вариантов — как карт в колоде. Диспетчер, не слушая вас, внимательно глядит вам в лицо, встает, обводит взглядом запруженную автобусами площадь и протягивает руку с указательным в сторону разворачивающегося, отъезжающего, уже уехавшего. И снова склоняется над книгой».

Или вот, например, в другом месте. «Шел третий час дороги. И вдруг заблистало, хлынуло. Нет, не гроза. Счастье. Оно бродило еще с тех пор, как начало светать. Бродило, скапливалось, исподволь поднывало, кроясь, потрескивая, перемигиваясь легкими сполохами: в той недогрызенной груше, оставленной на столе в номере, в зеркале — в уголке твоих губ с черенком зубной щетки, исцелованным мною, измазанным пастой, в ладонях твоих, колесующих воздух и замирающих в изнеможенье, в этом шлепанце улицы не по размеру, все время спадавшем с ноги, в той девочке в белом — до слепоты —

сарафане, спящей чуть ли не вниз головой, на ступеньках крыльца, запрокинувши руки за голову с этой блаженной, чуть съехавшей набок, улыбкой, корова подходит и лижет ее кулачок, та что-то бормочет во сне, улыбаясь, телеги плывут, пыль ее заволакивает, и сквозь пыль этот тоненький запах жасмина — от нее… И потом — с этой рвущейся занавеской в руке и тобою, притихшей — всей жизнью и всеми словами... И, за руки взявшись, летели, как дети во сне над землею, измурзаны счастьем, дрожа и смеясь, и целуясь, как в детстве, — и хлынуло, и заблистало… Вот!.. вот!.. видишь! — будто впервые видели этот мир, обжигаясь взглядом… Но ведь это и было — впервые. А потом как-то тихо все начало отступать, по домам разбредаться, занимать, виновато озираясь, свои углы».

О Саи Бабе и казахе-утопленнике

Свами письмо прислал. Помню ли я того казаха, спрашивает. Когда шли вдоль реки, о чем-то важном говорили — о смысле, о цели, об этом оксюмороне: «смысл жизни», диктофон в руке. А этот казах вдруг возник, как из воздуха, пыльного такого, шаткого, мутного воздуха, речь услышал русскую и увязался. Обволакивал, протискивался, оттирал на поворотах, путался под ногами. И говорил, говорил без умолку, вдруг похохатывая и озираясь какими-то жалкими безресничными глазами. Да, и смутно, и отчетливо. Может такое быть? И смутно — ни черт, ни деталей, — и отчетливо — как живое пятно. И это чувство — брезгливой жалости, ироничного состраданья и неприязни — к себе с этим чувством. А он лез на голову, облапывал нас своей юродивой исповедью, измазанной эзотерической патокой, то пригибаясь, кудахтая, всхлипывая, то вдруг грозно вспевая и, оборвав, вкрадчиво шелестя. Три года жил у Саи Бабы. Был нужен, любим, верил, все потерял, семью, родину, друзей, работу, дом продал, деньги отдал ашраму. Один теперь, никому не нужен, нищий, без паспорта, без языка, без Учителя. И тут же вспевает мантру, палец к небу, учит, как жить, глаза вспыхивают и гаснут, слезятся, заходится в причитаньях, все в бедной головушке перепуталось. И несть им числа, таким, как он, рассеянным по этой стране, приехавшим за просветлением. И ни помочь ему, ни отогнать, синь небесная, тишь, колокольцы реки... Будто дверь приоткрытая меж тем и этим. Что ему скажешь, отмалчиваемся, через край уже. Свами, наверно, меня испытывает: как отвечу, как разрулю. Нет, думаю, ты свами, не я, и дом это твой. А он все вьется вокруг, бодает воздух, горнолыжником был, там, на родине, бороденка, как тряпка рваная, к подбородку приклеенная, и глаза рыскающие, безресничные, чуть приомороженные, под ледком. И в руках будто палки лыжные, бубнит, наматывает круги, вдруг встанет, раскинет руки, не пройти: жить учит, поет, приплясывает. Допек. Свами ему: всё, что ты говоришь, это не ты, а Саи Баба, а ты где, где твоя жизнь, нет ее здесь, ни тебя, ни жизни твоей нет здесь… Что-то в таком духе, только пожестче сказал ему, прояснил. Тот по инерции еще подергался, затихая, и исчез. Да, помним, конечно, о чем-то важном мы говорили. Солнце садилось, река тускнела, как бы с лица спадала. В том месте, он пишет, у излучины, за мостом, три дня спустя этот казах покончил с собой, утопил себя в Ганге. А если б не встретил нас, была бы другая судьба? У него и теперь у нас. Там, говорит, все написано. Там, в не-мире, который на расстоянье руки. Читают тебя по губам и пишут.

Лангуры

Более других распространены в Индии два вида обезьян — макаки и лангуры. Соотношение между ними примерно как между Швондером и Преображенским. Первые оккупируют города, «уплотняют» население, захватывают здание Верховного Суда, например, вторые — сидят на манговых деревьях в монастырских садах и задумчиво, чуть отведя голову, принимают подношения от людей. Есть и другие виды — гиббоны, ревуны и пр. (недавно в джунглях был обнаружен и совершенно новый вид обезьян), но поговорим о лангурах.

Их две разновидности — обычные и золотые, которых почти на земле уже не осталось. Рост обычного, если распрямится — нам по грудь. Живут большой семьей, но не толпятся, у каждого свой приватный мир. Есть вожак, но отношения либеральные. На рассвете и закате лангуры рассаживаются на ветвях и, прикрыв глаза, медитируют на солнце. Каждый при этом сам по себе, не замечая присутствия других, «другого». Шубка у них из пышного пепла, отсветы серебра, и меховые шапочки, как у детей послевоенных годов, с пуговкой под подбородком. И лицо черное, будто сожженное, с влажной марлей поверх, в облипку, и губы, чуть прикусившие эту, почти незримую, марлю. Глаза карие, с плавающим свечным огоньком. И длинные пальцы пианистов, в тоненьких черных перчатках.

Историй у меня с ними было множество. Но вот одна. Шел я как-то под Ришикешем по серпантину. На деревьях паслась семья лангуров из полудиких, живших между поселком и джунглями. У меня в рюкзачке бананы, вынул один, присел, жду. Подходит вожак, сел напротив, вплотную, смотрит в глаза, не боится, поскольку вожак и на него вся семья смотрит с деревьев. Протягивает руку к банану, а я крепко его держу, медлю, говорю: подожди секунду, один снимок, и возьмешь. Нервничает, обернулся на своих, и вдруг хвать меня за барки, ощерен, в глаза смотрит. А я ему: а ну убери руки, не позорь джунгли! И даю ему этот банан. А он берет, не глядя, и этим бананом меня по голове — бац. Не впился в руку, а мог бы, и не схватил банан и удрал, а вот так — треснул по голове, отбросил его в сторону и сидит, в лицо смотрит, как на дрянь последнюю. И как-то я, опешив, забыв на миг, кто передо мной, едва не размахнулся, чтобы отвесить ему. Вызов! Но спохватился. А он встал и, не оборачиваясь, пошел к своим.

А золотые лангуры неописуемы. Расписные охристые шлафроки, пушистые бакенбарды и лицо, в улыбках света напоминающее то Андерсена, то Пушкина. Когда б не хвост — длинный, искрящийся, как зимняя солнечная дорога.

Букса

Как удивительно. Мы оказались в этом никому не известном, не значащемся нигде, почти несуществующем заповеднике, как всегда, по умышленной случайности. Заповедник находился в каком-то недостижимом для расхожего транспорта краю на севере Бенгалии в подбрюшье Бутана. Где-то я выудил в петитных примечаниях к индийским справочникам телефон директора. Который оказался живущим на противоположном конце Индии и, похоже, в глаза не видел своего заповедника. Тем не менее, в течение недели я исправно звонил ему и мы обсуждали… из этого мог бы сложиться роман, если б слова были хоть как-то узнаваемы — и друг другом, и нами. Наконец, отчаявшись договориться, мы поехали наудачу. Заповедник назывался… Букса. На окраине деревушки стоял пустой

полусгнивший дом с голыми пролетами обвалившихся лестниц. Там, наверху, жил приезжий орнитолог, индиец. Когда и как он сюда попал, он уже, похоже, не помнил. Помнил — зачем: писать диссертацию о стервятниках. Мы попили с ним чаю, поговорили о стервятниках, и он отвел нас к Тара Тапе — местному зверобою и следопыту, который сдавал второй этаж своего окруженного оранжереей дома несуществующим приезжим. Там мы и поселились на несколько странных дней. Заглянули в лесничество: черная кривая изба, за которой сидели у костра егеря, годы, молча, глядя в огонь мутными глазами. С рассветом, как обычно, мы уходили в джунгли — в нашу привычную самоволку. Но джунгли ли это были? Такого леса мы еще видели, точней, не чувствовали. Высоковольтный гул — от всего: от травы, деревьев, просветов, которых становилось все меньше. Зловеще, по нарастающей. Даже солнце, казалось, старалось не смотреть в его сторону. Следы зверей, только следы, тихие, такие же зловещие, и ни шороха. А потом возвращались к Тара Тапе, который лежал в засаде в своей оранжерее, изображая (для нас) великого охотника, и вскакивал с огромным тесаком (кхукри), и разил невидимых тигров. И пока мы готовили еду в саду, все ходил кругами и стрелял в небо из охотничьей рогатки, гордясь своей принадлежностью к племени Горкха.

Много чего об этих днях я мог бы вспомнить. В «Адамовом мосте» есть маленькая главка о Буксе и Тара Тапе. И вот, годы спустя, я читаю в случайной индийской газете об этом несуществующем на земле месте, мало того — о несуществующем персонаже Тара Тапе, а в заметке идет речь о несуществующих, но замеченных в Буксе тиграх.

Еще

У этого местечка в Северной Бенгалии, которое я высмотрел на карте под лупой, было странное имя: Букса. Так же назывался и маленький заповедник при деревушке. Именно такие заброшенные места с отсутствующей в справочниках информацией я и отыскивал, путешествуя по Индии. После долгих разысканий я набрел на телефон вроде бы директора заповедника. Звонил из уличной лавки на другом конце Индии. Якобы директор слушал меня с большим интересом. Возможно, в Буксе он вообще никогда не был. У самого заповедника никаких контактов не было. Поехали наобум, добирались долго, чем ближе, тем меньше информации, под самым носом у Буксы о ней вообще никто не слыхал. Вместо лесничества на краю деревни — прогнивший трехэтажный деревянный терем с висящими в воздухе лестничными пролетами в полумраке. И чьи-то шаги наверху. Он оказался приезжим индусом, поселившимся здесь около года назад и пишущим диссертацию о стервятниках. Попили чаёк. Отвел нас к Таратапе — единственному, кто говорил по-английски, держал комнаты для гостей и был потомственным охотником из племени горкха, которым принадлежали когда-то все эти земли. Там в его орхидейном саду во флигеле мы и поселились, а Таратапа, пока мы готовили на огне, показывал нам в режиме гомерически серьезной пантомимы как он охотится на тигра с полуметровым тесаком, а потом хотел сторговать нам один из полусотни этих непальских кхукри из своей коллекции.

Потом мы нашли егерей. Они сидели с черными лицами у развала костра за такой же черной избой. Сидели, видно, не первый год. На наши попытки что-то выяснить о заповеднике они поначалу не отвечали, а потом головней начертили на земле крест.
В заповедник мы все равно пошли… Но об этих страстях я уже писал в «Адамовом мосте». А тут я просто нашел этот снимок и загляделся. Это такой сторожевой домик на

дереве у края крестьянского поля, куда наведываются слоны из джунглей. И тогда сторож зажигает факелы и петарды, и крестьяне бегут на помощь отгонять слонов.
Но вспомнил я об этом из-за другого. Еще годы потом я грезил: вот переехать в Индию, построить такой (получше, конечно) домик на дереве на краю джунглей, и жить — маленькой настоящей семьей, растить сына…

Свами Амрит

Вот так сидели мы день за днем у Ганги и говорили, говорили — о тиграх и кобрах, о чакрах Индии, о тантре, семи ступенях, о голоде художника и баньяне жизни, об огне, воде, мужском семени и женской крови, о времени созерцания, об иранском принце, о четках времени, о донорах индустрии, о тестостероне, исламе, разрухе национальных парампар, о женщинах на невидимом поле, о собаках и смерти, о мясе и молоке несчастья, о шизофрении правды, о диктатуре сутенера, о соли и хлебе, о храме Марса, о хрониках Акаши, об отношении к судьбе, о возвращении домой — в Индию... И река уносила все эти речи, растворяя в чудесном дне над собой, поселке по берегам, и за излучиной — в людским пепле…

Атлас

Вестник, влетевший к нам в домик в лесничестве, в Ассаме, в зоне войны племен и пропавших без вести — воздуха, леса, дорог и людей.
Мотылек этот размером в распахнутые ладони и называется Атлас. Он присел на потолок и гекконы устроили на него охоту, пришлось спасать. Вынес его в ночь, а он вцепился в ладонь и не улетает. Так и ходил с ним, пока не поднес к стволу дерева и он перебрался на другую ладонь — шершавую, и припал к ней. Но чувство было таким, будто я припал, а он в дом вернулся.

Махакала

Шел пятый месяц беременности, мы с Зоей продолжали наши безоглядные странствия по джунглям Индии, и занесло нас уж совсем за край света — какие-то равнинные выселки пространства в Северной Бенгалии, в подбрюшье ледников Сиккима и Бутана. Жили мы в доме у чайного плантатора по имени Кальян, по плантациям разгуливали по ночам леопарды, а в широкой пойме пересохшей реки прямо за домом шли ученья танковой дивизии, огибавшей женщин стиравших на том же поле белье. Надо сказать, в Индии, а в Бенгалии особенно, культ Матери, даже прикосновение к беременной — благость. Кальян уговорил нас на особую уникальную пуджу (ритуальную молитву) на рождение ребенка. Уникальность ее была в том, что проводить ее должен был агхори (адепты одной из радикальных ветвей тантризма, работающие с энергиями смерти) в одном маргинальном храме-колодце хрен знает в какой дали от дома. Нам это было странно, поскольку мы знали, что агхори — одиночки и практикуют только для себя, никаких храмов и прихожан. (Тема, конечно, отдельная, — мы их видели — и на ледниках Гималаев, и у

погребальных костров в Варанаси; то, что они творят, в человечьей голове не укладывается). Так вот, в один из дней он повез нас на своем джипе к этому агхори, которого знал (по прошлой жизни — и его, и своей). Ехали весь день — вначале по дорогам, потом без. Храм находился в небольшой деревушке, обычный, но этот агхори повел нас на его задворки, там был как бы врытый в землю купол, сквозь который мы спустились внутрь. Голые стены, свет сверху. Человек этот совершенно не был похож на агхори, от тех за версту идет высоковольтная волна. Не говоря уж о внешних атрибутах: обычно они в черном, фиолетовый тюрбан, на шее — ожерелье из человечьих и псиных костей. И нередко — пес рядом, черный (проводник Махакалы, коридора смерти). Ничего из этого у нашего не было, просто индийский дядька, с виду. С помощником и девочкой, расположившимися у него за спиной. Начал он с Ом намах Шивае — древнейшей великой мантры (ты — не ты, а все мироздание — рушащееся и рождающееся).

Теперь об этом 3-минутном ролике, который я снял. Во-первых, снимать там, и особенно во время происходящего, было нельзя и нелепо. Во-вторых, снимал я, кажется, второй раз в жизни. И на этот раз вслепую: фотокамера была у меня в левой руке, чуть ли не заведенной за спину, чтобы этот агхори не видел (по крайней мере, чтоб не бросалось в глаза). Чем — в смысле фильмом — горд, особенно, его завершением.

Что сказать в целом? Даже на меня, достаточно иронично относящегося к подобным вещам, это произвело сильное впечатление. Все шло по нарастающей, он входил в раж, в экстатику. Зойку, да и меня, прошибало. Я смотрел на черную статуэтку пса справа от Шивы и думал: дай тебе бог здоровья, барбос, а ей, Зойке — счастья, а мне… — речь. И спохватываясь, уже уходя: дай забыть это слово «дай».

Панманголин — хоть имя дико…

Это было к вечеру, после моей очень странной встречи с Далай ламой, когда мы смотрели с ним неотрывно глаза в глаза, по сути сорвав важную встречу его с монахами, которые шли на нее месяцами спускаясь с Гималаев в Бодхи Гайю, где мы с Зойкой оказались совсем случайно. И вот после этой неизъяснимой встречи (я писал здесь о ней), мы отправились в Патну, через Бихар — не то чтобы закрытый для туристов, но крайне неблагополучный для пребывания. К ночи мы оказались в Раджгире, дальше транспорта до утра не было. Место это, расположенное среди заросших холмов, известно тем, что Будда там, сидя на одном из них, что-то судьбоносное "изобрел" — вроде своего Колеса. (Нам ведь не "будда" там был нужен и важен в Индии, а джунгли, наши джунгли). Но в той тьме мы не могли разглядеть даже поселка, не то что Сидящего на холме. Ни домов, ни света, ни людей. Кроме жалко моросящего фонаря под козырьком единственной придорожной харчевни. Пока мы ели неприхотливые остатки чего-то малосъедобного, к нам подсел человек, возникший ниоткуда, и стал выкладывать из огромного облезлого чемодана 1-ый, 2, 3... век нашей и не нашей эры — всё, что он накопал на этих холмах в округе, предлагая нам купить что понравится — по $1. И всё это было как-то... не с нами что ли: и эти мистические фигурки, которые он выставлял на стол, и те фигурки, которые мы ели с пальмовых тарелок, и этот человек, и тот подвал, в который нас отвели ночевать — единственное, как казалось, место в округе для ночлега; оно было без окон, все стены и пол и потолок в крови — от каких-то даже не насекомых — смертников, камикадзе, наполнявших их тоненьким воем у тусклого ночника.

Мы решили пройтись прогуляться. "Только не в ту сторону", — сказал нам хозяин пустынной харчевни. Именно туда мы, конечно, и пошли. И вот, где-то пол километра спустя... Как бы это описать? Лестница во тьме, а по краям ее — черная вода, окаймленная бордюром — примерно 10х10 метров, и справа и слева от ступеней лестницы располагались эти «чаши» воды. И весь этот подвесной инфернальный сад восходил террасами, каскадом — во тьму неба: поднялся на полсотни ступеней — следующие чаши по сторонам. Но тьма не сплошная, а перемигивающаяся светом — то ли факелы вверху вдали, то ли подвижные фонари. И вот мы вдруг видим силуэт человека, стоящего на краю чаши — он высоко вверху, и — даже не прыгает, а как статуя валится вниз — метров 10 летит из верхней чаши в нижнюю — всплеск, и тишь. Разбился, утоп. И спустя несколько минут — уже стоит вновь на краю — и валится, летит в следующую. Смотрим не дыша, подняв головы, а он приближается, но не разглядеть. И тут голос из тьмы (не его, чей-то, издали, негромко, но внятно — в тишине): ОН ПАДАЕТ ИЗ СЕБЯ (на англ.).

А потом была ночь в той подвальной пыточной камере. И такое чувство опустошенности, пропащности (не страх, не тоска) — до каждой поджилочки. Молча. Только взглядом по стенам скользили, до утра. И с рассветом решили поскорей уносить ноги. И откуда ни возьмись появилась бричка с понурой лошаденкой, и мы отправились на станцию. А мир перелистнул страницу — и день был светлый, и округа сияла и манила, и домишки ладные прорастали во взгляде, и на повороте дороги мы увидели указатель с наивным изображением, похожим на эту картинку — ПАНГОЛИНЫ: там, говорил указатель, в маленьком заповеднике на холмах. И всё существо наше потянулось туда, остаться здесь... но бричка катила к станции, а там уже стоял маленький поезд о трех вагонах... И это был, наверное, единственный случай, когда мы не послушались интуиции, хотя и прислушались. И до сих пор прислушиваюсь, оглядываясь на тот поворот...

Стадо

Еще один случай, когда чудом остались целы. В джунгли мы Зойкой обычно ходили дважды в день — перед рассветом и на закате. На закате нужно было успевать вернуться до темноты, иначе обычные шансы фифти-фифти для таких вылазок сильно смещались не в нашу пользу. Но в то же время эта сумеречная пограничная черта была большим искушением: лес пробуждался, переходил в ночную фазу, поле встреч возрастало, но и риск тоже. И вот мы бывало тянули до последнего с возвращением, успевая вынырнуть из леса в последний момент, уже во тьме. В тот день мы еще были у реки, где-то в двух километрах от выхода из леса, начало смеркаться, мы повернули домой. Тропа возвращения — одна, никак иначе не выйти: справа — река, слева непролазные джунгли. И тут — впереди, из-за поворота появляется стадо слонов — где-то пять-семь. Может, и больше, если растянулись, темно уже, не разглядеть. С детенышами. Одного мы видим точно. Они примерно в трех-пяти минутах их ходьбы от нас. Скорость примерно нашей легкой трусцы. Для решения — несколько секунд, да и тех, похоже, уже нет. Вариантов — два: либо кинуться напролом в ночные дебри — сколько хватит сил отбежать, и там затаиться, ждать, либо быстро уходить по этой же тропе — в сторону противоположную от дома. Куда ведет эта тропа мы на тот момент не знали. То есть, может, и на всю ночь этот путь. И как далеко будет идти стадо по этой тропе — тоже. У нас — ни фонаря, ни... вообще ничего. Выбираем второй. Тропа через какое-то время начинает петлять. Что у нас за спиной мы не видим. Луны нет, тьма абсолютная. Слоны идут так тихо, особенно по

тропе, что будь они и в паре шагов от нас, мы бы не услышали. То что в подобных обстоятельствах они, наткнувшись на людей, спокойно прошли бы мимо... ну, скажем, один шанс из ста. Которого в общем-то нет, это так — для воображения. Около часа мы двигались такой полу трусцой с поминутной оглядкой за спину. Лес — по сравнению с дневным — просто ходуном ходил от проснувшейся жизни: шелест, хруст, перемещения, один раз через тропу метнулась тень — кажется, леопарда. Про кабанов и мелочь — и говорить нечего. А потом такое чувство — уже знакомое нам, что начало отпускать — там, со спины (со временем в джунглях это приходит — чувство леса, сродни энергетической ориентации). А потом просвет показался впереди. Вышли на автомобильную дорогу, уже за пределами заповедника.

Поселок ни для кого

Как же мы здесь оказались? Случай. Взял за руку и привел. Правда, мы и не упирались. Янам, потом Какинада, потом Ришиконда, а дальше что? Смотрим в карту — а ничего там, тонкая линия вдоль побережья, а куда ведет? Очень меленько. Можешь прочесть? Да, Бимунипатнам.

Стоим под деревом у дороги, голосуем. Машин мало. Скользнул взглядом по стволу дерева: ящик на нем висит. Похож на почтовый. А на нем написано: для пожертвований. А ниже: презервативы, которые вы решили пожертвовать, опускайте вот сюда. И, пожалуйста, заполните следующие параграфы. И ниже — расчерчена таблица: имя, количество штук, дата, подпись. Нет, ты неправильно прочла. Наоборот: это какие-то миссионеры жертвуют, а пользователи заполняют анкету. Такое вот лукоморье. Поднимаем взгляд выше, а там лицо человека в бороде и цветах, Рави Шанкар, написано. 7 января, 21.00, холм № 9.

Борхес в «Синих тиграх» пишет: мы полагаем, что индусы избыточны. Особенно это «мы полагаем» в устах Борхеса, да? Как у Кафки: мы, китайцы, строители Великой стены… Правда, уже через несколько строк Борхес забывает об индусах, а потом и о тиграх, и погружается в математические изыскания. Мы тоже полагаем, что это дерево было избыточным.

И тут как раз автобус тормознул и подобрал нас. Вовремя. А то бог его знает, что там еще могло быть, на этом дереве, повыше.

Прибыли. Ума не приложу, как описать это место. Куда прикладывать? Одна улица, она же единственная. От нее закоулки виляют — вниз к океану, вверх на холм. Длина улицы — минут десять медленным шагом. Начинается она, по идее, продолжением дороги, которая ведет к этому месту. Идея есть, а дороги нет. Любой мало-мальски оперившийся шторм из нее вьет веревки. Не говоря уж об осенних изуверах, не оставляющих от нее и нитки, — чистый эйдос. Других дорог нет, если не считать ту асфальтированную тропу, которая шарахается влево в самом конце улицы. А шарахается она, потому что перед ней вспененный залив с узкой горловиной, через которую перекатываются волны. Дорога прядает влево, но с этим испугом уже ей не справиться. Да и куда ей себя длить? Залив размывает перспективу.

Станем в центре этой десятиминутной улицы. Над нами муниципальная башня, на ней часы. Для одной стороны улицы на них четверть седьмого, для другой — полтретьего. Так

и живут — в двух временах. Ни то, ни другое реальному не соответствует. Те, у кого четверть седьмого, — портные, аптекари и парикмахеры. Дома двухэтажные: на втором живут, на первом лавка, без фасадной стены, просто проем, где сидит, например, портной и строчит на местном зингере. Где ж эти люди, кому они шьют, если портных — треть населения? А по ту сторону времени — продуктовые лавки, харчевни. А базар — в межвременье, под башней.

Взойдем на холм и посмотрим сверху. Белокаменная Ницца. Где же эти дома, улицы, раскинувшиеся вдоль побережья и взбегающие по холмам? Необъяснимо.

Ладно, попробуем к океану выйти. Попробуем, потому что эта прямолинейная улочка ничем его присутствие не выдает. Идет себе параллельно ему, из никуда в ниоткуда, и, кажется, понятия не имеет, что он рядом. Свернули и оказались в районе неприкасаемых, пробираться нужно едва ли не сквозь хижины. Вышли.

Вышколенная европейская набережная. Ни души, ни соринки. Фонарь, под ним скамейка, индеец сидит, перья в голове, смотрит на волны, лошадь привязана к дереву. Гуси переходят дорогу, не сходя с места. Кусты, заросли. Люди, полуголые, бегут — кто с камнем, кто с копьем, кто тетиву натягивает. Лужа в лилиях. Хижина, женщина на пороге, чешет волосы, олень напротив, смотрит на нее, чуть набок склонив голову. Аист над ними — взлетел с дерева, но не летит.

Назад, на набережную. Лодка посреди дороги, в ней человек двадцать, гребут веслами по асфальту, привстали, вперед глядят: что-то там невероятное впереди, — рты распахнуты, кричат, видимо. А из волн по молу Ганди идет, черный как смоль, сияет. Точнее, не сам идет, а его ведут на веревке — мальчик, такой же черный. На берегу человек в костюме, очках, белый, газету читает. А перед ним, в луже, — русалка, держит в руках русаленка. Как тот — газету. За деревом — Шива со всем своим пантеоном живых и мертвых, а чуть поодаль — животные, замерли, от тигра до муравья.

Дальше. Конкистадор на коне, тоже из океана. Меч в руке вскинутой. Сломан, один огрызок, на нем ворона сидит, вспорхнула. Рыба на берегу, мифическая, величиной с дом, рот разинула: входи, Иона. Дальше. Поляна, дети в траве и на дереве. Тропинка, поворот, кусты раздвинули: Христос, овечки… Назад, ручей, пригорок: битва. Греки, Елена, троянский конь…

Сели на берегу, молчим, неподвижны, как те фигуры. С нескольких шагов и не отличишь. Кто ж сотворил эту несусветную фантасмагорию? Местный Пиросмани? Таможенник Руссо? И — не главное, конечно, но все же — для кого? Ведь никого вокруг. Лишь паруса вдали скользят в дымке.

Идем по набережной. Старик на парапете, сидит на корточках, ладонями голову обхватил, седые волосы взметены ветром, сигара во рту. Отлично сделано, как живой. Прошли мимо, обернулся: нет его. Вон он, по песку идет.

Вот если бы в ту нору, куда Алиса упала, перед тем упало ВДНХ. Так примерно, да? И еще что-то. Типа вон тех огненных пирамид или громадных буев… Что это за странные терракотовые конусы в конце набережной, за оградой?

Подошли. Кладбище. Пирамидальные надгробья от земли до неба. Запрокинули головы, читаем эпитафии. Целая глава, готическим, старонемецким. Нет, датчане. Здесь покоится дитя моря — последняя строчка. 1675 год. И ниже — череп и кости. Да-да, говорит из-за

спины старик, тот, с сигарой, да-да, это пиратское кладбище. А тут, ведет нас между могил, англичане лежат, а здесь швед, хороший камень, дорогой…

Каждое утро этот старик открывает ворота и на закате их запирает. Вход бесплатный. Посетителей нет. Целыми днями год за годом он бродит от гробницы к гробнице, протрет камень, перечитает надпись, посидит рядом, выйдет на берег, пересчитает волны, вернется, глянет на солнце, пора обедать. Вроде в море их хоронили, пиратов, да? А тут такие мавзолеи величественные. Даже у Тамерлана поскромнее, я видел, в Самарканде. И где — на краю земли, на пустыннейшем из берегов. Датчане. Времена Шекспира. Доест, раскурит сигару, смотрит, как рыбаки на щепках с домотканым парусом возвращаются из небытия.

Сворачиваем в переулок. Бескрайний баньян растет, под ним муравей сидит, книгу читает. Близорукий, в больших очках, почти носом водит по ней. Утром шли — в той же позе сидел. У колонки девушки набирают воду, в очередь, во рту щетки зубные. Пифия местная, идет-поет, на голове корзина, из нее рыбий хвост свесился. Нищий квартал, — рис на костре готовят, огромный чан, на всю округу, пересыпают его из одного в другой, паром всех заволакивает: там рука, здесь голова, не от этих рук, развеялась пелена — под тобой дети сидят, как под елкой. Океан за хижиной, как чернец, — бос и черен, колуном машет, улыбку прячет.

Йогин

Брошенка — какое слово щемящее! Так и осталось неясным, что там случилось в джунглях, — обычно, слоны детей не бросают. Егеря подобрали его в лесу, двухмесячного. Я почему-то так и вижу его — сидит на поляне (именно сидит, с разведенными ногами и опущенной головой) и трогает своим тоненьким, еще непослушным хоботом одуванчик у ног.

Поселили его в деревне, в простенке, напротив хижины погонщика, живущего на краю леса у входа в заповедник. В соседнем простенке жила великая слониха Арундати, изредка возившая в лес случайных туристов — одна-две ходки в месяц. А остальное время они так и проводили вдали от людей: 70-летний погонщик, сидящий на пороге своей ветхой лачуги, и напротив него — Арундати, его ровесница, с которой он не расставался с детства, и теперь этот двухмесячный сирота, которого назвали Йогин.

Познакомился я с ним недели две спустя, как он появился в деревне. Он бегал по кругу в своем загоне на еще нетвердых ножках, сам себя забавляя этой рысцой, и вдруг останавливался, глядя на этот описанный круг, на свои следы, изумленно и трогательно покачивая головой, как маленький пифагор. Я подошел, он протянул ко мне хобот и приставил к груди, будто слушая сердце, а потом обнял и притянул к себе, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. Так мы и стояли, очень долго, казалось, и дышали, и смотрели в глаза. А потом он вздохнул и побежал, подняв хобот «чайничком», показывая, что он умеет.

Я тогда был не один, а со своей австрийской спутницей. Она тоже подошла к нему, и он водил хоботом вдоль ее очертаний, не касаясь. И замирал. Как мальчик, чуть заигравшийся с женщиной и вдруг притихший у тайной черты.

А потом его повели купать на лужайку, поливали из шланга. И он умирал от счастья, ноги его не держали. Я тоже взял шланг, а он выхватил его у меня и стал поливать — и меня, и себя, и все вокруг, и запутался в нем и повалился, дрыгая ногами, попукивая и заливаясь от смеха.

А потом я пошел в магазин и купил ему ведерко молока и банку ананасового варенья. Молоко он быстро выпил, а банку схватил, поднял высоко над головой и побежал по лужайке по кругу. Бежит, смеется и банку над собой вертит. А потом я на хлеб намазывал ему это варенье, и он ел и все время норовил мне помогать намазывать, и мы оба уже были перемазаны этим вареньем, я ему даю, он берет, ко рту подносит, а потом передумывает и мне протягивает, прямо в рот тычет, я говорю, что уже съел, что теперь его очередь, а он головой мотает, и глаза блестят озорные.

Потом я уехал, а когда на через год вернулся, он узнал меня издали и побежал навстречу. И так длилось годы — я уезжал, приезжал, он рос, ему уже было около пяти лет, когда от несчастного случая погибла Арундати. Погонщик похоронил ее, посадил баньян на ее могиле, жизнь его опустела. Йогина передали другому хозяину, с каменным лицом (из тех камней, о которые ножи точат). Теперь Йогин стоял, отгороженный от людей, в цепях, на другом конце деревни, пришел того первого гона (мужской течки), когда они становятся взвинчены и неуправляемы, взгляд заволоченный, мутный.

Я подошел к нему уже в темноте. Йогин, Йогин! — зову. Видно, он не узнал меня, да и кого узнать мог, сам уже едва узнаваем. Отшатнулся, взметнув цепи, как на качелях, и лбом в грудь двинул. Я отлетел на несколько метров, но устоял на ногах. Йоги! Присел, зову его: Йоги! А он смотрит, слезы текут, узнал, и головой мотает: нет, нет...

Мариони

Этот крохотный заповедник, который никто никогда не посещает, находится на границе Асама и Нагаленда (того самого, где, по слухам, то ли людей едят, то ли овсянку). Эти семь небольших, не совсем индийских штатов еще называют «земля семи сестер». «Сестры» хорошо вооружены и серьги сверкают по всему телу — и у живых и у павших. Поскольку это своего рода этнический котел, где локальная племенная партизанщина не стихает ни на день.

Занесло нас туда, как обычно, по наитью. Плюс наводка Айболита Казиранги (крупнейший заповедник в Ассаме). Поселились мы в одинокой избе на краю джунглей, предъявив в местном лесничестве важные бумаги (ЮНЕСКО и пр.), которыми я запасся в Москве. Прочесть их лесники не могли, но печать и качество бумаги впечатление произвели.

Сами лесники жили в полукилометре от нас и поначалу пытались опекать, сопровождая в лес с ружьями наперевес и следопытской театральщиной, распугивающей всю округу. От них мы избавлялись, уходя в джунгли еще затемно, до рассвета. Сложнее было с приставленным к нам поваром, который гремел кастрюлями и поминутно пытался объясниться с нами на пальцах по поводам — от кулинарных до метафизических (что нередко было единым). Наконец, мы избавились и от него.

Но радость наша была недолгой. В военной части, узнав о нашем существовании, решили выделить нам ночную охрану: каждый вечер подъезжал джип с пятью головорезами в

камуфляже, они бесшумно проникали в маленькую соседнюю с нами голую комнату и неподвижно стояли там вдоль стен в темноте, а наутро грелись на поляне у костра, поджидая свой джип. За несколько дней они не произнесли ни слова, в том числе и в ответ на наши не бог весть какие приветливые «здрасте». Наконец, нам удалось отбояриться и от них, позвонив часть и наплетя какой-то грозно доверительной ахинеи.

И вот мы остались одни в этом крохотном, богом забытом заповеднике. Основные жители его — серебренобровые индийские гиббоны, эти длиннорукие певчие летуны. А кроме них, из крупных — леопарды, несколько слонов, носорогов, и гигантские белки. Лес лиственный (сал, тик), труднопроходимый (плющ, лианы, топи). Ближайший поселок — в пятнадцати километрах, до дороги нужно идти по джунглям. В поселке мы покупали у рыбаков свежую рыбу Ру (или Рух), они торгуют, сидя на корточках, разложив рыбу на земле, по вечерам — с керосинками. Рикши после захода солнца ехать по этой пустынной лесной дороге в сторону Нагаленда отказываются. Полдороги мы идем с рыбой по джунглям, потом костер, сонные лори в отблесках, припавшие к стволам деревьев, как детки к стоеросовым мамкам, тишь, перемежаемая фонетической возней ночных джунглей, угли, рыба, картошка, пир, сладкий, чумазый и непробудный сон. А перед рассветом нас уже нет.

Кружим по лесу с запрокинутыми головами, прислушиваясь, ища хулоков — исчезающих серебреннобровых гиббонов. Вот они, летят по небу, чуть касаясь верхушек деревьев, перехватывая их руками-ногами. Собственно, лишь руки-ноги их и летят, а тело — маленькое, как рюкзачок, едва поспевает за ними.

И-йе-хууу, и-йе-хууу, — летят, перехватывая незримые ветви, и деревья отшатываются за их спинами. Бегут, будто раны голосом задувают или лампочки вывинчивают на лету. Руки бегут, и за ними едва поспевают легкие котомки тел. Стихли, сидят на ветвях, как затемнения на рентгеноснимке. Он, она, трое детей, маленький лес в оцеплении людей, деревень — вот и весь их мир, чтоб кружить по нему, как на пуантах взвинченных. И вдруг стихать, прижавшись щекой к стволу, глаза прикрыты.

Черная бурка и брови серебряные — мужчина. А женщина — в светло-охристой шубке, лицо в гриме, как в театре Кабуки. Тушь, белила, немного охры. Горьковатая скобочка рта. И глаза — прикипевшие изнутри к этой маске. То ли черной мадонны, то ли белого мима, будто касание мирам иным.

И-йеху, и-йеху — поют они на лету, а мы бежим под их взволнованным неземным гомоном, запрокинув головы. И вдруг тишь. Просека, насыпь, узкоколейка. Сидят на ветвях, глядят на ту сторону, а там — как в зеркале — они же сидят на верхушках, смотрят. Одна семья, расколотая этой железнодорожной насыпью навсегда. Не перейти им ее. Потому что они, хулоки, эти ласточки человекообразные, не могут ходить по земле.

И я вспомнил того Айболита Казиранги, девочку он выхаживал, с ее младенчества. Та упала, тронув в лесу провода под током. Кома. Три года провел с ней. Теперь клеть построил, просторную, высоко в небе эту клеть повесил, на дереве. Подымает еду ей лебедкой. Ждет, когда из-за гор придут гиббоны, единственная в этом краю семья. Мальчик там есть, в этой семье, свободный, ищет пару. Каждое утро приходит к ней, трогают через прутья друг друга, пальцы соединяют, смотрят в глаза, молча. А в тот день, когда доктор нас взял с собой, этот седобровый мальчик сидел в стороне, на дальней ветке, а она меж прутьев глядела ему в спину. Он что-то к груди прижимал ладонями,

алое, как уголек, и, чуть обиженно вытягивая губы, кидал на нее краткие взгляды через плечо. Цветок это был в ладонях. Цветок мандара.

И-йе-хууу, и-йе-хууу...

Гувахати

Зойка тогда была то ли где-то в начале, то ли в конце четвертого месяца беременности. И вообще мы тогда не очень понимали, когда же это зачатье случилось, и подначивали друг друга непорочным. Позади было пол Индии, джунгли, заповедники, она держалась молодцом, закусывая приступы тошноты яблоками — там, где удавалось их добыть. И вот мы оказываемся в жутком городке Гувахати на границе Бенгалии и Ассама, в гостиницы там без особого разрешения не селят, ни туристов, ни даже индусов там не встретишь. Потоки грязи текут по улицам, схлестываясь, волоча людей и автобусы. Мы добираемся на остров Умананда, который посреди Брахмапутры, там маленький монастырь, в саду его нашли себе приют последние золотые лангуры. А на обратном пути к вокзалу (вдруг солнце выглянуло, преобразило всё) спонтанно решаем наконец разведать — кто ж все-таки там в животе у нее, у нас. Кружим по улочкам, и вот — вывеска на доме на курьей ноге. Входим, спуск во тьму, судя по обстановке — доктор, если он и есть там, то скорее всего с кухонным ножом и градусником, вряд ли что-то большее можно ожидать. Перед нами в очереди — девочка, школьница, с удивительным тихим осенним лицом. Потом нас ведут по каким-то голым катакомбным коридорам, тишь, ни души. Доктора зовут Хазарика, мужчина, лет сорока. Входим в кабинет: европейский хай-тек. Зойка на кушетке, мы с Хазарикой у монитора. Он тычет в монитор и подскакивает на стуле: танцует, видишь, вот ноги, вот голова, вот лицо — смеется, он смеется, видишь?! И мы с ним обнимаемся и тоже смеемся, похлопывая друг друга. А Зойка смотрит на нас с кушетки с умилением, как на полных идиотов. Мальчик, четыре месяца. Потом, уже в Крыму, врачи с завистью и изумленьем разглядывали эту ламинированную детальную карту теста с цветными снимками.

Индия с младенцем

Пять лет назад отправились мы с Зойкой и нашим двухмесячным младенцем в Индию. Билеты у нас были только в одну сторону, виза — годовая с возможным продлением. Приехали мы Ришикеш, поскольку знала нас там уже каждая корова. Где-то с месяц мы переметывались от жилья к жилью, выбирая. Потом осточертело и «гульнули на все», тем более, что средств к существованию на горизонтах не предвиделось, и сняли роскошь во дворце, утопающем в садах над Гангой. Мраморные полы, тишь, садовник, служанка, интернет, европейская мебель, служба доставки из магазина на тук-туке. Все это, конечно, чудесно, но без джунглей, безоглядных дорог и нашей веселой цыганщины мы подкисали. Особенно я, Зойке хватало радостей и забот, мне тоже, и все ж. А малыш расцветал. Но где? — в гуще поселка, в карусели коров, обезьян и всего на свете, а как только возвращался в наш дворец махараджей — закатывал истерики, вскидывая обиженный палец в сторону окна: туда, туда!..

И однажды мы не сдержались и все же пошли в джунгли. На несколько дней сняв номер в той маленькой лесной гостинице, где останавливались в прежние годы. Понятное дело, что не в глубь леса, а только с краю — так, потоптаться, поглядеть, повспоминать…

Вон там, в полукилометре отсюда, мы в прошлом году столкнулись с тигром — средь бела дня, вплотную, на расстоянии полушага… Вон там, но отсюда не видно, мы влезли поутру, еще затемно, на высоковольтную башню, перед тем до смешного замеряя безопасное расстояние — не достанет ли нас хоботом слон. А вон там мы с ними столкнулись — с целым стадом, они шли прямо на нас, отрезав нам путь назад, а уже темнело, цена жизни была в районе полуминуты… А там… Но только одно перечисление всего, что произошло с нами в этом лесу, хватило б на месяцы.

И — переглянувшись, мы все ж решили чуть углубиться в лес, еще совсем светло было, ну, может, не до затоки, но до поворота тропы, там на лугу, если тихонько подойти, можно увидеть маленьких пятнистых оленей (читалы), а повезет — и больших умбристых самбаров. В общем, шаг за шагом — и все в дарах и счастье: и олени, и орлы, и свежий помет слонов, и птицы райские и все на свете. Присели на нашей просеке, Зоя грудью кормит, и вдруг видим: выходит — ослепительный, невероятный, из первых дней творенья, цвета бутылочного стекла темно-синего, огромный, до неба — нильгау, абсолютная иллюзия мифического единорога, когда он поворачивается в профиль. Замерли, не дыша, а Лёнька сосет и глазом на него косит. А тот медленно, едва касаясь земли, проплыл над просекой, и к реке, за куст. Подхватили Лёньку и за ним, на цыпочках. А нет его! Нигде нет, но и исчезнуть ему здесь некуда.

Присели, Лёнька травку рвет, есть пытается, а мы смотрим в одну точку — чуть правей его головы, там на песке след — размером его голову. Острые края, может быть полчаса назад он был здесь — тигр. Может, и сейчас здесь, за вот этим кустом за спиной. А уже темнеет, и стремительно темнеет, как это всегда в джунглях — как занавеску задергивают. И луна в облаках. Но вон уже огни моста, а за ним наш постоялый двор. Но мы еще в лесу, почти на выходе из него. Кабанчик, вернее тень его, перебежала просеку. Идем. И вдруг — слева, из зарослей, метрах в десяти от нас — раскатистый тигриный рык. Те немногие, кто знает, что это за звук, поймут. Замерли. Стоим лицом к лицу, Лёнька в рюкзачке между нами. И тут — второй, ответный рык — справа, с луга. А мы стоим как раз между ними. И тут Лёнька начинает хныкать, я прикрываю ему рот, Зойка чуть укачивает его, секунды идут, как годы. Ну вот и всё, думаю. И показываю ей глазами: идем, потихонечку, идем… Выдохнули у моста.

Неописуемое

Пришло письмо от вождя племени бодо — Бхубана Даса. Племя это обитает в Земле Семи Сестер, на границе Индии и королевства Бутан. Бхубан пишет мне:

дорогой брат, мы наконец продвинулись по намеченному тобой плану и добились от властей постановки вопроса о придании нашему лесу статуса заповедника. На совете племени мы решили назвать его «Зоя» — в честь твоей спутницы. Поскольку вы были первыми иностранцами в нашем краю. А еще мы сейчас открываем школу для наших детей, которую так же назвали «Зоя». Приезжайте как можно скорее, немедленно. Вы настоятельно необходимы для открытия и других важных действий. Все наше население помнит вас и горячо ждет. Та плантация роз, которую мы посадили после вашего отъезда

и назвали «Зоя», за эти пять лет разрослась и благоухает на всю долину. С любовью, ваш брат и сестра — Бхубан и Абани.

Что сказать об этом? Все это чистая правда. В то время, двигаясь по наитью от заповедника к заповеднику, мы оказались в этом затерянном краю, где, как узнали мы, еще можно встретить в природе последних на земле золотых лангуров (один из исчезающих видов обезьян), вот их-то мы и искали. А жили в заброшенном лесничестве, вокруг которого на сотни километров долгие годы не стихала гражданская война — почти незримая — только на дорогах и в деревнях вывешивались простыни со списками убитых. По одну сторону от нас где-то в часе ходьбы находился блокпост, по другую — земли короля Шилорая (неск. столетий назад король исчез, но жители деревушки до сих пор перестилают его постель, проветривают светелку, меняют цветы на столе и ждут его возвращения). А за деревушкой — плантация «дойных» деревьев, они стоят перебинтованные, а на ветвях сидят золотые лангуры. Вот туда мы и наведывались. И не только туда, исследовали округу, ее хмурые непроходимые холмы. Управляющий лесничеством, которого звали Брахма (в индуизме — творец вселенной), жил в городе, а к нам приезжал раз в неделю. И вот однажды он появился с Бхубаном и двумя его племенными телохранителями. Слух о нас дошел до них, и они позвали нас к себе погостить, показать лес. Так мы оказались у них, на горной границе с Бутаном. Полночи мы просидели у костра со старейшинами племени. Переводил Бхубан, единственный из них, относительно владевший английским. Выезд в лес наметили на пять утра. Двумя джипами (отказаться от второго — с женщинами и полевой кухней, которая должна была нас ждать в долине по выходу из леса, — не удалось), мы выехали в полдень.
Описывать этот умопомрачительный перформанс объезда всех дворов деревни со сбором провианта, утвари и женщин — отдельный рассказ.

Наконец мы вошли в лес — четверо отборных племенных чингачгуков, вождь и мы. Лес, видно, не из богатых фауной, да еще и в полдень — был совсем тих и пуст. Что с каждой минутой все более напрягало вождя, понукавшего следопытов. Для племени это было делом чести, если не жизни, — предъявить нам изобилие диких животных в их краю, а значит, можно надеяться, что в будущем здесь откроется заповедник и большие перспективы. Но нет зверей. Как ни рыщут чингачгуки — нет их. Лежка медведя — да, была, заросла. Следы слонов у болотца — да, топтались когда-то. Вождь нервничает, мы переходим с шага на рысь, и как-то незаметно обороты все увеличиваются, и вот мы уже несемся сломя голову, проламываясь сквозь джунгли: впереди — два брата-следопыта — секут заросли полуметровыми тесаками, прокладывая путь, за ними — я, их пятки летят мне в лицо, за мной — вождь, за ним Зоя, замыкают два зверобоя. Час, два, три этого безумного гона сквозь лес, по холмам, по болотам, дебрям. Куда? Поначалу я думал — к слонам, чей отдаленный трубный рев вроде бы слышали эти лесные братья (жуткие лица у них — будто из обугленного камня, и только глаза в этом камне живые). Но нет слонов, лишь пятки этих двух киборгов летят в лицо. Мне бы остановиться, прекратить это безумие, да и Зоя — она же на третьем месяце! Но где она? Не обернуться, нет головы на мне, просто амок какой-то, транс, в котором мы мчимся сквозь лес — в не зачем, в никуда. Пять часов этого чеса. Просвет, обрыв, рухнули на обрыве, в себя приходим. Долина, дымок, полевая кухня. Пришли. А женщины нам: тигр тут был, видели? Вон туда ушел. Это было последней каплей для племенных: сели на землю, ни есть, ни говорить не могут, глаза отводят.

Ну, правда, потом, после трапезы, когда пошли по следу тигра, видели мы и золотых лангуров, и птиц-носорогов… Так что к вечеру настроение наладилось и по возвращении мы расселись у костра и сочиняли письмо министру, а Зою увели в дом маленькие — до груди ей — женщины, и вывели переодетую — в ослепительной дохане: она стояла смущенная и счастливая под их голубиное воркованье — как Эйфелева башня в огнях. А неделю спустя, к нам в лесничество прибыл микроавтобус полный даров, собранных племенем. Чего там только не было — от кувшина сметаны, этой индийской невидали, собранной всем миром по чайной ложке — до многометровой ткани, сотканной муравьями (из которой потом я пошил себе рубаху). И уже вернувшись в Москву, мы получили письмо от Бхубана — о плантации роз — тех самых, куст которых нам так понравился у его дома, и он отправился в Дели — специально за семенами, а теперь все радуются, глядя на эту плантацию «Зоя», цветущую по сторонам дороги в деревню.

Гауры

В поединке с тигром силы их примерно равны, потому, как правило, тигр вступает в бой с ним лишь в отчаянном положении.

Столкнулись мы с ними дважды. И оба раза в Анамалаи — небольшом, практически непосещаемом (особенно иностранцами) из-за своей удаленности заповеднике на севере Тамилада.

Поселились мы в небе, в хлипкой избушке, раскачивавшейся среди верхушек деревьев на своей длинной рассохшейся лестничной ноге. И ночью мангуст (мы все гадали — не крыса ли) рылся в нашем рюкзаке, грыз банку с «бхудрой» — ананасовым вареньем, листал паспорта…

А потом мы перебрались в домик на земле, и нас повел в джунгли проводник по имени «бэби». Так и значилось в путевом листе: «Бэби». Им оказался нерослый дядька с закопченным лицом ребенка и тесаком за поясом.

Мы знали по опыту, что ходить в джунгли с проводником и надеяться на реальную встречу с дикими животными — пустое дело. Даже увидев их — пустое: реальность не терпит посредников.

Потому на следующий день мы улизнули в джунгли сами, затемно, до рассвета. Я помню тот запах — змеиный — от всего, он преследовал нас повсюду. Змеями пахла трава, воздух, деревья, ладони, простыни, на которых мы спали… А змей не было.

Это был могучий сумрачный лес на холмах, местами непроходимый — ни для ног, ни для лучей, с ярусами лиан, мхами и гигантскими валунами. Где-то вдали с верхушек деревьев доносились надрывные крики черных обезьян-ревунов — казалось, висящих на этих воплях. А потом, на закате, мы вышли из дебрей на длинную, чуть накрененную поляну с косым светом заходящего солнца, и вдруг — прямо перед нами — ее пересекли… нет, перелетали, не касаясь земли, как в замедленной съемке, эти многотонные создания в белых носочках, на костяных пуантах. Проплыли в воздухе, как по команде повернув к нам головы, затмевая свет, и скрылись.

Тут и стемнело. Возвращаясь, мы заблудились. А потом сидели в какой-то низине, в горящей танцующей тьме — в облаке светляков. А искали кого в том лесу, чем мы

бредили, помнишь? Да, Багирой, она там, по слухам, была. Черная кошка в черном лесу. И слоны, и медведи, и соты дикого меда, висящие на верхушках деревьев, как гамаки…

А потом, когда уже начало светать, мы вернулись, но на подходе к нашему домику, где всегда дежурило это пятнистое оленье стадо… Замерли. Самка гаура, цвета этой же предрассветной тьмы, приближалась заросшему каменному бассейну с остатками дождевой воды. Она приближалась к нему, а за ней на ломких ногах едва поспевал детеныш — нескольких дней от роду. Она опустила голову в бассейн, но вода была далеко, а детеныш потерял равновесье и ухнул туда. Тонул и выпрыгивал, и скользил по бордюру шеей, а мать, тычась в него, пыталась ему помочь, но рук нет, и получалось — сталкивала его назад, вниз. А мы стояли шагах в двадцати, за кустами, и я было рванулся к ним, но ты меня удержала, помнишь?

А потом подъехали егеря на джипе, и не знали, что делать. И она не знала. А он все бился в этой палой листве темной воды, выскакивал, скользил головой по бордюру и падал. А когда егеря пытались выйти из джипа, она кидалась к ним и поддевала рогами бампер, вскидывая машину вместе людьми, как спичечный коробок. И это длилось так долго, что стало совсем светло, и вдруг он выскочил — стоит, дрожит на подкашивающихся ногах, и они уходят, как и пришли: она впереди, чуть обернувшись, глядя, как егеря, высыпав из машины, бегут по лугу, ликуя, кидая вверх ружья, обнимаясь, падая в траву, и солнце восходит. Помнишь?

Ты-то всё помнишь, только нет тебя.

Лес

Странная вещь, непонятная вещь... Оглядываясь на свою жизнь, прочти прожитую, я вспоминаю как лучшее в ней не детство, которое было счастливым, не женщин, не книги, не дружбу, не города и события, не детей, не родителей и не творчество... а джунгли Индии. Вот и весь смысл, затмевающий все, что было в моей жизни и говорящий: вот для чего ты пришел в этот мир.

Для чего же? Чтобы в сумме несколько месяцев бродить по лесу? Быть с животными, видеть их, чувствовать и ради этого рисковать жизнью? И дело совсем не в адреналине — у меня более чем хватало этих ситуаций и без леса. А в том, что нет и не может быть другого входа в этот лес, ставший тем чувством жизни, той его полноты и подлинности, которую не давало ничто другое.

И вот я уже несколько лет, отсиживаясь... даже не в людях (а где?), думаю: куда ж себя деть после этого чувства? Некуда. А вернуться в то, что было, вряд ли возможно. И не потому что "в ту же реку...". А потому, что дальше, кажется, просто некуда. Некуда быть ближе к слонам, когда стоял на пути их стада и остался жив, некуда ближе чем ревущий в лицо тигр или прыжок леопарда с отметиной оставшейся на моей переносице от его лапы. И еще десятки случаев, когда жизнь балансировала на грани. Куда дальше и сколько можно испытывать терпенье этих ангелов-хранителей, если они есть?

Но тогда я был со спутницей, той единственной, с кем все это делилось до недостижимых пределов родства и счастья. И я был рядом с ней тем бесстрашным и светлым мальчишкой, с которым ничто не могло случиться, и лес нас берег — за чуткость, за смелую радость...

Нет нас теперь. Все эти годы нет. И я думаю, отсиживаясь в этом небытии — вернись я туда один... Лес за версту это чует: кто ты и что с тобой. Нет, не страх смерти меня останавливает. А то, что так и будем стоять, уже все отдав друг другу, на расстоянии стоять, в немоте, вчуже.

Старуха Симург

Маленькая железнодорожная станция в горах, на перевале. Пустынный перрон, внизу, в долине, текут облака. Один поезд в сутки, проходящий, стоит пару минут. И эта старуха каждое утро идет встречать его. Из неоткуда, в не зачем. Очки с телескопической диоптрией то и дело падают, она склоняется до земли, пытаясь поднять их, опираясь на палку, глядя на них почти слепыми глазами. А потом садится на асфальт перрона и водит у лица открытой вверх ладонью. Думают, нищенка, дают милостыню. Она кивает, улыбаясь. Кому, чему? Не людям, кажется.

Снилось, что я лечу, лечу… и эта вселенная, где лечу световые годы, — ее лицо. И там, в самом начале мира, лежит — я и слова не подберу — не уязвимость, не открытость… Такая незащищенность, какая, должно быть, не знакома ни одной из форм жизни. Там начало. А иначе ничто на свете не могло лечь в его основу. Силы бы не хватило, крепости. А потом уже эта улыбка — облетающая, тополиная.

ИНДИЯ, 2015-16

С Новым годом

У меня пока нет ни опыта слов, ни опыта джунглей сказать о происходившем со мной неделю назад на севере Индии, в заповеднике Раджаджи. Остается верить в невероятное: звери перестали видеть во мне человека. Сейчас я в 2000 км к югу в заповеднике Бор, в домике главного егеря края Сурии Кумара Трипати, то есть сыночка воскресного солнышка, который дал мне в департаменте ключ и секретную карту. А в джунгли вчера я ходил с егерем по имени Fate (Рок, Судьба). А завтра иду со школьным учителем-змееловом-орнитологом, поймавшим в деревне 3000 змей. Сейчас взошла луна, где-то рядом ходит тигрица, вскрикивают олени. На кухне под столом у меня ружье и запас еды на несколько дней. За домом присматривает немой Арун, исчезающий на ночь. С Новым годом!

Переход

То, что произошло сегодня, думаю, с живыми не случалось. Вероятно, и с мертвыми тоже. Я был между двух тигров — вплотную. Уцелел я, наверно, благодаря безумию — пойдя

прямо на них, «в лоб». А вчера я видел единорога — или того, кого мнило под этим Средневековье. Вот так закончился год и начался.

Единорог

Сидел на дереве — низкорослом, с окошками в листве — посреди луга у озера. К закату вокруг меня было уже около сотни оленей — самбары, пятнистые и голубые нильгау — те, ради которых я готов сидеть все свои жизни. Я жду, когда подойдет самец — этот мифический, мерцающий доисторическими временами великан — на близкое расстояние. Будь у меня вторая жизнь, я бы ее посвятил этим неизъяснимым созданиям, стал бы их Геродотом, и если бы со временем боженька благословил, они бы немного заговорили через меня и написалась бы книга, настоящая, не для нас.

Дары

Свою ночь рожденья провел в джунглях — в домике, который обустроил на дереве (о детские мечты!), и звери до рассвета меня поздравляли, счастье!

А вчера случилось невозможное — лучший из немыслимых даров (ты больше, чем просят, даешь): я видел то, что мало кому доводилось, и сфотографировал то, что, возможно, еще никто не снимал, — битву двух нильгау, двух неизъяснимой красоты исполинов райского сада. Я читал об этих ритуальных битвах. Мол, становятся на колени и мерно «чокаются» лбами». Тут же было совсем другое — битва едва ли не насмерть, молниеносная, переходящая в битву на коленях, когда один вздымал над собой могучую тайну другого, в котором трепетал Создатель. И пыль клубилась солнечная. А третий, молодой, стоял рядом, под деревом, смотрел. А потом тот, побежденный, побрел к озеру, пройдя в двух шагах от меня, обернулся с удивлением и поплыл на ту сторону, остужая пыл и печаль.

Имена

За эту неделю произошло астрономическое количество событий — ни сил, ни возможности описать сейчас. После того как я надрал задницу одному из министров лесного хозяйства и он пытался отвечать мне тем же с отчаянной грациозностью, я все же добился своего и проник в самое сердце огромного и таинственного заповедника Мельгат, куда попадали считанные. Потом была не менее странная многокилометровая и безлюдная крепость за облаками в том же заповеднике, построенная неизвестно кем и когда и лишь перестроенная в XV веке. С символичным именем Нарнала, где на дне озера лежит философский камень. Были огромные первобытные бизоны в джунглях, потом в заповеднике Нагзира ночное бдение на сторожевой вышке над лунным озером в ожидании леопарда, были неожиданные встречи в краю Гондия, где постреливают. Теперь я в маленькой деревушке Брахмапури, в округе которой 27 тигров и 65 леопардов, сбежавших из заповедника Тадоба и вот уже несколько лет живущих здесь, таская коров и людей. Деревушка, где их осело больше всего, называется Кали. Нарочно не придумаешь. А заместителя главного егеря зовут Гита. А сам егерь — Гашиш (без первой буквы).

Т-11

Сижу сейчас на громадной сказочной веранде фантасмагорического туркомплекса, который мне подарили на неделю или на сколько захочу. Невероятный замес ашрама, Болливуда, Диснейленда и черт знает чего. И ни души, гряда холмов, джунгли, двое слуг у озера под деревом. У меня два люкс-номера в разных маленьких замках. А главное — построил его доктор философии профессор Джесвал, реальный дворец которого — на подъезде к деревне. И вот сижу я на веранде под статуей Гаруды и думаю о здешней тигрице Т-11, которая несколько дней назад съела человека. Случилось это как раз напротив лесной фотокамеры слежения. Я видел снимки. Съела и сидела потом над останками четыре часа недвижно, как в трансе от происшедшего. Голова человека лежала отдельно, объеденная, лицом вверх. Это первый случай с этой тигрицей. Что в ней происходило? Четыре часа, тишь, бабочки...

Ибис-Тот

Красноголовый ибис (или Индийский черный ибис), Pseudibis papillosa. Что сказать об этих египетских птицах Тота? Или, по преданию, той птице, которая после потопа вывела Ноя к Евфрату? Вот любопытное, но малоизвестное. В брачный сезон они объединяются в несколько пар и вьют гнезда, как правило, на священных баньянах или пипалах, никогда не совокупляясь на земле. В этот брачный период их серые клювы и ноги розовеют.

Я умираю

Я сильно умираю. От счастья. В тот день я подобрался довольно близко к лугу, где паслись сотни оленей — самбары, пятнистые, нильгау и др. И просто почти открыто сидел, привалившись к коряге. Сидел, смотрел. А потом увидел ее. Эту маму с ребенком (самбары) я наблюдал уже не первый день. Они очень выделялись из общего ряда, если он вообще существует. Все время держались в стороне от других и проходили сквозь и между ними, будто не замечая, оставаясь в каком-то медитативном далеке от всего. И даже когда на лугу возникала тревога и все звери уносились с луга, эти двое словно не слышали, продолжая свою внутреннюю жизнь. Даже самцы нильгау, покидавшие луг последними, глядели на них издалека через плечо — то на них, то в ту сторону, откуда возникла тревога.

И вот эта мама с ребенком задумчиво так и неспешно приближается, подходит вплотную ко мне и заглядывает в лицо. Стоит и смотрит. И я сижу смотрю на нее снизу вверх, стараясь не моргать. А ребенок чуть позади нее, просто ждет — мама занята. Не отшатывается, не вскрикивает, не бьет копытом о землю, передавая сигнал соплеменникам. Смотрит почти на расстоянии дыхания и медленно отходит. Малыш за ней. Они переходят в тень под дерево — шагах в десяти от меня, и там начинается то, что я снимал в течение часа. Ребенок стоит и глядит на озеро в дымке, а она что-то нежно нашептывает ему на ухо, то прильнет щекой (как на иконах Умиления), то кладет ему голову на шею, и они стоят, прикрыв глаза, чуть подрагивая, века идут.

Возвращаясь уже в темноте, думал: был бы я Адамом, не давал бы имен. Потому и рай, что невербален. Да и какие имена он мог давать исходя из словаря, в котором нет опыта утрат, а стало быть, жизни. Словаря детского лепета. Но это уже о другом.

Школа, медицина

Несколько слов о «грязной», «нищей» и «несчастной» Индии.

Маленький продувной домик с одним классом на 10 детей. Это все детское население деревушки в 15 домов, стоящих на вершине горы, куда не ходит никакой транспорт и только текут облака сквозь отсутствующие окна. При этом образование — высшая ценность, а профессия учителя — у вершины иерархии. Так заведено тысячелетиями. От Упанишад, от понятия «свами» и ученика, брахмачарьи. Потому зарплата учителей в Индии — одна из самых высоких. В глухой деревушке учитель начальной школы получает 45 000 рупий. При том что чай, например, — 5 рупий, обед — 50—100, билет через всю Индию на поезде — 1000. То есть при всем желании такие деньги потратить просто невозможно, разве что развешивать на деревьях. Они и развешивают — на деревьях будущего, вкладывая в детей, образование и т.д. А в той школе на 10 детей — два учителя. Два! И государство выделяет им дополнительные гранты. И начальное образование для всех бесплатное.

Я был во многих школах там — и сейчас, и раньше, и выступал там, говорил с детьми и учителями, но об этом потом. А сейчас пару слов о медицине. Есть бесплатная — для всех, и есть платная. Первая ничем не хуже, на себе испытывал. Что касается цен на вторую. В частной клинике с европейским оборудованием и зеркальной чистотой, без очередей и бумажных волокит — для любого пациента (хоть ты марсианин) прием у специалиста — 100 рупий (чуть больше одного евро). И не просто прием и диагностика, а еще и оказание помощи, перевязка, например. Прием не в клинике, а у частного врача — 50 рупий. Дальше. В аптеках вам продают не упаковку, а ровно столько (таблеток, например), сколько вам нужно. Если одну таблетку, то аптекарь и отрежет ножницами одну. ВСЕ медикаменты можно брать без рецептов. И перечень этих чудес можно продолжать еще долго.

Засим откланиваюсь и доброго всем здоровья и трансформаций!

Вепрь

Он буквально ткнулся своим пятаком в «пятак» объектива моей камеры. А поскольку, выскочив из зарослей, он не ожидал этого столкновения, а я сидел на корточках, прижав к лицу камеру, еще издалека завидев его с большим его семейством, которое он потом оставил у подъема на эту заросшую тропу, чтобы разведать — все ли спокойно наверху... В общем, ткнулся и стоял, закипая, меряясь пятаками, не зная, вступать ли в поединок с этим крупным хряком напротив себя или ретироваться. А я все никак не мог его сфотографировать, поскольку физиономия его не вмещалась в кадр, а «отъехать» я не мог. От встречи остался снимок, где между нами еще был небольшой зазор.

Жених

Райский луг, маленький индийский заповедник Бор — лучший на свете из всего, что я видел. На луг этот спозаранку выходят неисчислимые звери, разные, и я. С каждым днем пытаясь подобраться ближе к этой чудесной сцене, куда из-за лесных кулис, окаймляющих луг, они выходят, чередуясь, как в чудесном спектакле: то пятнистые олени заполоняют луг, то на смену им приходят большие самбары, то нильгау — и текут друг сквозь друга, как в игре в «ручеек». Меж ними семенят многодетные кабанчики, обмахиваются своими веерами павлины, скользят мангусты, а птицы, садясь на оленей, играют в дерматологов.

Иногда по лугу проносится тревога — ветром по колосьям — и все бегут, но на полпути останавливаются и, повернув головы, вглядываются в примерещившееся. В демона, вновь оборачивающегося божьим днем.

Подбираюсь все ближе к первому ряду. Вначале я облюбовал егерский «мочан» — настил на дереве с лесенкой на него, потом нашел древесного великана, сожженного молнией так, что внутри образовалась полость с окнами на четыре стороны света, там и стоял — и вот теперь пробрался на сам луг и сел открыто, привалившись спиной к коряге. (Тут главное — занять место до появления животных, тогда они будут воспринимать вас как единое с этой корягой, то есть как не человека. Что это — преобладание образного мышления над логическим? По этой же причине они менее тревожно реагируют на джип, считывая не отдельно людей в нем, а машину в целом.)

Посреди луга есть «миргородская лужа», в нее хаживают самбары — как правило, обросшие густой шерстью мужчины. И валяются в ней часами, как в сакских грязях. Помимо прочего, она помогает избавиться от паразитов. Женщины же окунают в нее только ноги — маникюр, педикюр, то да се. А эти мало того, что изваливаются до безобразия, так еще и, выходя, похоже, считают себя неотразимыми женихами.

Этого ветерана Лужи, я заприметил еще в первые дни. Он вышел из нее, будто только что созданный из текучей глины, и сразу пошел клеиться к барышням. Но все как одна его игнорировали, отворачиваясь, продолжая щипать траву. Он и так подъезжал к ним, и этак… Пока в порыве отчаяния не попытался взгромоздиться на одну из наиболее благоуханных красавиц. Но та была настолько занята сбором трав, что, вильнув задом, смахнула с себя этого глиняного адамиста.

Я смотрел на него и вспоминал молодого Гоголя, лежавшего в сакских грязях, Гоголя, панически боявшегося всего хтонического, окончившего жизнь в тазу с пиявками на носу. И мнился мне луг с расхаживающими по нему мавками и панночками…

А на следующий день я снова увидел его, одинокого, в колтунах просохшей на нем и свалявшейся грязи; он горько слонялся по лугу в этой шинели, как Башмачкин.

Адиваси

Скажу сразу крамольное: лучшие, настоящие, вернее, последние дети на Земле — здесь, в Индии. Когда мир еще жив, весь, страшен и светел, когда каждый двор — мироколица и за каждым углом — остров сокровищ, когда дружба насмерть, а в глазах счастье, когда

они на рассвете текут в школы — по горам и лесам, за тридевять земель, взявшись за руки, щебеча и сияя, когда каждый сызмальства ладен и весел и умеет все на свете — то, что мы утратили и читаем в старинных книгах — про жизнь на живую нитку. Когда вся она — бессмертное приключение, легкое и нездешнее, не требующее вовлеченности и самоотдачи до полной гибели — потому что это само собой.

Ладно, я могу эти песни долго петь. И, наверное, тут есть что-то и от ностальгии по тому детству, которое было и у меня. Но сейчас я о другом. В этом моем путешествии по Индии между джунглями меня почему-то часто приглашали выступить в школах. Могли бы, наверное, и куда-нибудь в другие места, но в тех деревушках и маленьких городках, кроме школ, было, похоже, некуда. Я выступал в очень разных школах: от маленьких, заброшенных за облака, куда никакой транспорт не ходит, до залов на несколько сотен детей в колледже с профильным английским, от школ для адиваси (лесных людей) до городских праздников на площадях. А в одной из школ у меня было 10—15 выступлений подряд с переходом из класса в класс.

Так вот, несмотря на то что в большинстве мест эти выступления пытались организовать «торжественно и чудно», со сценой, кафедрой и цветами, я эту праздничную официальность тут же старался отбросить и вовлекал детей в разговор о жизни и смерти, о главном, о смыслах. И с юмором, и всерьез. И — боже — как же они вовлекались!

Не без курьезов. Ну, например, когда я спросил: «Что же самое главное в жизни?» — первой ответила девочка лет девяти (из первого ряда): «Хорошие манеры!» Правда, когда я пошел в зал, передавая микрофон в дальние ряды, все стало на свои места. Интерес, сказал мальчишка, главное, чтобы жить было интересно — как настоящее приключение.

А в школе для адиваси (о, какие же у них невозможно прекрасные лица!) я с порога спросил: а кто из вас видел тигра? Лес рук. (А это как раз та местность, где уже много лет большие проблемы с тиграми, сбежавшими из заповедника в эти скудные и безлесные края, в том числе случаи тигриного людоедства.) И вот я предлагаю им поднять руку за то, чтобы этих проблем не было — ни тигров, ни горя, ни смерти (которая, возможно, коснулась и этих семей), ни этих проблем. Или — пусть будут? Две-три руки — на первое предложение, лес — на второе.

И вот проходит уже минут 10—20, мы говорим уже совсем о другом, о том, что их учитель — вовсе не учитель, а вон деревце за окном, но и оно — не деревце, а облако, которое — вон та девочка в третьем ряду слева, как тебя зовут? — но и ты — не ты, а мой голос, который не здесь, а во льдах Антарктиды… и так до бесконечности, и обо всем этом догадались давным-давно — в Индии и написали в Упанишадах: «Тат твам Аси» — «Ты есть То». И положили в основу мира…

И тут я поворачиваю голову и вижу девочку в чудесном платье и с дивным, очень нездешним лицом; она смотрит, кажется, в никуда, сидя со все еще поднятой рукой. Ты что-то хотела сказать?

Я, говорит, за тигров… за жизнь.

Подошел к ней, обнял, поднял над собой: вот, говорю, это мир — настоящий, родной — значит, мы будем живы.

А потом, уже в какой-то другой школе, после всего во дворе ко мне подошел мальчик и спросил: а какое самое сильное впечатление было у вас в жизни?

И я задумался.

Рани

Этой истории 12 лет. В этом простенке у хижины погонщика на краю джунглей прежде жила великая слониха Арундати («прана Вселенной»), я знал ее много лет, и ближе из не людей у меня никого не было. Погибла, мы ходим на ее могилу с Мохаммед-Ханом, там растет из ее тела баньян.

А тогда, после ее смерти, в этот простенок перешел Йогин — слоненок, которого подобрали в джунглях, когда ему было, как этой девочке на снимке, около трех месяцев. Я поил его молоком, купал, разговаривал, а когда приехал год спустя, он узнал меня издалека и бежал навстречу, обнял хоботом, слушал сердце, трогая лицо…

А потом, еще годы спустя, когда у него начался «трудный период» созревания и слезы застили взгляд, он не узнал меня и с разбегу пнул так, что я отлетел на несколько метров, но приземлился на ноги, а он потом все извинялся…

Сейчас он стоит в соседнем простенке — 12-летний слон. Семь лет мы не виделись, и узнал он меня не сразу, постепенно, по голосу, а потом уже трогая.

И вот теперь эта девочка — Рани (что означает «принцесса»), такая же, как он, брошенка, сирота. За ней ухаживают, кормят молоком, но она стоит, грустно глядя перед собой, чуть кивая в это «никуда».

И тут — я не знаю, что произошло и как это объяснить, — я просто подошел и сел рядом, чуть в сторонке... и началось! Будто я мать родная и даже еще родней. А потом уже и я сдержаться не мог. И рассказали друг другу всю жизнь, без слов. А потом в избытке чувств она пыталась привалиться ко мне попой, изнемогая от счастья. Индусы, ухаживавшие за ней, стояли в изумлении: такого они не видели.

За пределом

У меня было несколько встреч с тиграми. Но две из них — совершенно особые. Первая — восемь лет назад, я бы сказал, у предела. И сейчас — вторая: за.

О первой я пытался писать не раз, и ничего не получалось. Как странно. За почти сорок лет письма мне худо-бедно удавались какие-то достаточно тонкие и сильные переживания, в том числе биографические. И о джунглях тоже. Но здесь — как черт водит — всё не о том, не так.

Ведь дело не в том, кто где стоял, сколько шагов было меж нами и прочий «протокольный кошмар». Не в этом ведь дело. А в чем? В моем внутреннем состоянии? В тот момент оно было нулевым (как Хармс говорил, ноль — это вовсе не то, что вы думаете, говоря: ноль): предельно спокойное внимание, концентрация и рассеивание в одном (как разреженный воздух на вершинах), в каком-то смысле в эти мгновенья работает автопилот, человек выходит. То есть описывать воздух?

Я помню этот взгляд, когда я повернул голову, вдруг почувствовав его. Он лежал в нескольких шагах от меня, почти невидимый в траве, глядя в упор. С небольшого пригорка на обочине тропы. У меня на поясе нож, вот и все. Игрушка.

Я помню, как медленно приблизил камеру к лицу и пытался навести фокус, но мешали стебли травы перед его лицом. А он все лежал недвижно и смотрел, положив голову на лапы. Видны были лишь глаза и уши. Меж нами было меньше одного прыжка, доля секунды. А я все повторял про себя: черт, черт — из-за этого фокуса — и в остальном, казалось, был совсем спокоен. Но другим спокойствием. И тут он скрылся в траву — там кустарник за обочиной, густой, как стена.

И вот с этого места история переходит за предел, откуда не возвращаются.

Я пошел на него — просто, что называется, в лоб. В эти кусты, где к тому же, в отличие от него, я уж совсем ничего не вижу. А он, понятное дело, никуда не ушел, перелег рядом и следит. Я это знаю, как и то, что нападают они, как правило, со спины. Слежу за верхушками кустов, где дрогнет... но что это даст, даже если б увидел?

И тут он возник (вспыхнул) — в шагах десяти впереди, в просвете между кустами, обернулся, рыкнул, исчез.

Я медленно делаю два шага назад, и то, что происходит на втором, доходит до меня лишь потом, реверсом. Он вздымается едва ли не из-под моей ноги и, как кажется, чуть не зависает надо мной, стоя на задних лапах, и уже уносится в сторону.

Я инстинктивно отшатываюсь, и тут же с другого боку вскакивает второй. И проламывается сквозь кусты за первым.

То есть оба уже лежали вплотную, «взяв» меня с обеих сторон. И я не знаю, что тут меня спасло, что их удержало... Вернее, что удержало этого, первого, за которым рванул второй.

Тигр, вопреки нашим заблуждениям, — существо неконфликтное и будет всячески избегать агрессии, в отличие от леопарда, пока остается для этого возможность, до последней черты. Которую я перешел. Чистое безумие, не оставляющее уже никаких шансов. Идя «в лоб», заявляя права на территорию, агрессивно вытесняя его (их), сократив дистанцию до двух-трех шагов, что уже явно за чертой.

Когда потом я разговаривал с одним опытным егерем, мы не могли найти объяснений, почему они себя так повели. Разве что отчасти дело в том, что они «вели» меня на протяжении часа перед тем, играли в слежение, пока я не видел их. Будь эта встреча неожиданной для них, дальнейший сценарий был бы наверняка другим.

Но все это совсем не о том. Как написал я в «Адамовом мосте»: думал, что из жизни это уже ничто не вынет. Вынуло. Память вынула. Что осталось? Ряженые воспоминания.

Брахмапури

Оказался я по наводке одного егеря в деревушке Брахмапури (что можно перевести как «божье местечко»). Что ж мне сказать про эту недельку длиной в несколько лет?

Это там на меня несся в ночи, мерцая «баскервильими» глазами, черт знает кто — думал, что леопард. Шел петлями, то влево, то вправо, а я пытался высветить его фонарем, а потом он вдруг рванул прямо на меня и шагах в двадцати резко свернул и исчез.

Это там посреди деревушки стоят тесаные болванчики идолов впритирку друг к дружке, как маленький батальон, под детским навесом. Оказалось, бога этих людей в деревушке зовут Ма. А каждая пара к свадьбе заказывает у резчика своего идола-оберег, вот они и стоят там, и с ними разговаривают в урочные дни.

Это там, на задах британского егерского домика, всегда к услугам был сикх Джуни, похожий на волшебного гнома с сияющими глазами. И мы садились с ним на его старенький мотороллер и потом ходили по джунглям, разговаривая на пальцах у свежих следов тигров и леопардов. А однажды, выйдя поутру, я увидел его, Джуни, внутри клетки для тигра, привезенной «на случай» и смонтированной у домика.

Это там как-то приехала егерица Гита и сказала среди прочего, что в соседней деревне будет «драма». С семи вечера до рассвета. И мы поехали на мотиках через леса-леса. Туда, куда прикатил индийский «Глобус», который Шекспиру и не снился, — настоящий, индийский, со всем цунами слез и смеха. И все это происходило в огромном, натянутом с вечера шатре, куда стекались из окрестных деревень все, кто мог передвигаться, — от стариков до детей. Я выдержал часа полтора, но каких!

Это там женщины на рассвете в полыхающих сари идут к озеру с тазами на головах — колошматить белье о камни. А мальчишки, босиком и взявшись за руки, идут куда-то вдаль на луг. А мужчины моют в озере белых быков. И олени выглядывают из леса вдали: когда уже освободится водопой?

Это там ранним утром отец и сын подметают двор у британского домика, у отца легкая несгибаемая спина, и сын кружит, как птица, а птица сидит у колонки с водой, смотрит на редкие капли и умирает.

Это там…

Наскальная живопись, дольмен, килбэк

Спокойно. Просто тихое ошеломление. Если б это было обнаружено не в Индии, а где-нибудь в Европе, тут же стало бы мировой сенсацией. Наскальные рисунки семитысячелетней давности. Найденные недавно, мимоходом, местными змееловами. Много рисунков. На горе посреди полей и деревень, в глуши.

А я узнал об этом чуть загодя, в кабинете у главного лесника области. А что это, говорю, за снимок у вас на стене — типа Стоунхенджа, где это? А, говорит, это тут неподалеку, не знаю, что и делать с ним. Кстати, в том же районе есть наскальные рисунки на горе, которую там называют «Купальня Ситы». Тоже непонятно, что делать с этим, вроде как в моем хозяйстве… Вы ж, говорит, были реставратором, да? Может, что посоветуете. Вот мобильный одного краеведа там, ну… змеелова. Вы ж как раз в те края едете.

И вот сижу я со змееловами-краеведами на обочине дороги у чайханщика, ждем пятого мотоциклиста, чтобы отправиться в чисто поле — смотреть дольмен эпохи неолита,

Стоунхендж индийский. Обнаруженный этими же змееловами совсем недавно; потом сообщили в Бомбей, оттуда приехали специалисты, подтвердили, обнесли сеткой, уехали. Козы посмотрели на это дело и вернулись к своим занятиям, пощипывают траву вокруг него, а больше никому дела нет, у крестьян свои камни.

Сидим, ждем, я только что познакомился с ними, о змеях говорим. Так спят они зимой или нет, спрашиваю. Кто спит, отвечают, кто нет. Вот эти, например, не спали — и указывают на мешок у моей ноги. Я, поперхнувшись чаем, опускаю взгляд: мешочек, лежит. И кто в нем, спрашиваю. Keelback, говорят. Две. (Хорошее имечко для змеи — килбэк, да?) Вон, говорит, в том доме поймал, хозяева позвонили, я приехал, поймал, возьмем с собой, там в поле выпустим.

И вот мы уже на этом поле-пустыре меж деревень. Хожу вокруг дольмена, рисунки прорезаны в камне у входа, внутрь заглядываю, там гнезда птичьи под сводом… Один из змееловов номер по мобильному набирает: есть, говорит, профессор в Бомбее, он лучше, чем мы, расскажет — и передает мне телефон. И стою я в этом чистом поле у входа в пять тысяч лет, в ухе у меня голос профессора из Бомбея, у стены в тени — мешок с двумя килбэками, которых сейчас выпускать будем, в зрачке моем — девочка с застрявшей в сетке ногой, а в уме картинки плавают: как мы по пути сюда заехали в «Махабхарату», которая тут на хуторе, «за клуней» — вырубленное в камне несколько тысяч лет назад жилище, где скрывались пятеро братьев Пандавов и жена их Драупади, красивейшая из землян, в отдельной темничке-светелке, и у каждого из братьев было по два дня любви с ней, чередуясь. И так все 13 лет их анонимных скитаний, проигранных Кауравам в кости. И еще пытаюсь вспомнить тот эпизод с ней, красавицей, когда после какого-то харассмента, когда была в рабстве у царя, поклялась, что не вернется к облику своему, пока богатырь небесный, забыл его имя, не заплетет ей волосы руками, смоченными в крови убитого обидчика.

Да, килбэки томятся в мешке, профессор наяривает историю неолита в ухо, солнце садится над дольменом, красавица Драупади с кровавыми волосами бредет по пустырю между козами, а я утром выехал на мотиках со змееловами из своего фантасмагорического дворца, построенного доктором философии, живущим теперь анахоретом где-то неподалеку, у холма, на котором сидит голубой Шива высотой с Родину-мать между двух кобр с раздутыми капюшонами, каждая величиной с хрущевку. А прямо за дворцом — ферма-курятник, куда этой ночью Т-16 наведывалась, тигрица-людоед, трясла дверь, бросила в сердцах, ушла.

А перед тем всю ночь с главным егерем района лес патрулировали на его служебном джипе, и он храпел на заднем, а в лесу ни души, только заяц, оцепеневший в свете фар, перенесенный за уши на обочину, а фамилия егеря — Гуманитарный. Humane. По имени Пашан.

Акварели джунглей

Человек незаметно перерисовывается на ходу. Какие-то черты покидают его, что-то наносится новое в этих местах, но сквозит. Тем неосознанней и сильней, чем глубинней утрата. Например, в том месте, где нас покинула способность к созерцанию. Не новость, да. Об этом кое-кто говорил. А я смотрел на лангуров, сидящих на деревьях в минуты заката, замерших едва не в позе лотоса, медитативно глядящих на солнце сквозь

полуприкрытые глаза, смотрел на тех, кого эта способность не покинула, или на этих вечерних акварельных нильгау, стоявших так около получаса, выбывших на это время из своей обиходной жизни, смотрел и думал, что нам этот взгляд уже не удержать в себе, что он сыплется, как песок сквозь расходящиеся пальцы…

Св. Тукарам

Речь пойдет об индийском поэте, святом. Но вначале — о музыке. Простой индийский парень, которого зовут Паван Нагджи (то есть Змеиный Ветер), держит только что пойманную кобру одной рукой посередине тела, на весу. И я его спрашиваю: как же так, ведь физически ей ничего не стоит цапнуть тебя при желании? Да, говорит, физически — ничего, при желании. И смеется. И что самое интересное — в этом нет никакой хитрости, никакого фокуса. Берет вот так и держит. Ту, от которой смерть наступает в пределах получаса. И ни разу не кусали за 10 лет опыта, ни одна из нескольких тысяч пойманных.

А потом мы идем в дом — чай пить, с семьей знакомиться. Рядом с его простеньким, вполне невзрачным домом стоит храм. Маленький, домашний, семейный. Он мог быть посвящен Шиве, или Хануману, или Ганеше… Мог бы королю Шиваджи Махарадже, о котором я уже не раз писал тут и которого всенародно чтят и празднуют в этом штате Махараштра, — королю, освободившему всю центральную Индию от могольского ига. (Я видел домашние храмы, ему посвященные, он там сидит в цветах и кокосовом молоке, золотой и чудесный, похожий на сына Дон Кихота от брака с Сальвадором Дали.) Мог бы, в конце концов, быть посвященным Нагу, учитывая его страсть… Но посвящен он поэту, святому Тукараму, младшему современнику Шекспира.

Тукарам написал около 4000 стихотворений — на местном языке марати (или маратхи) в те времена, когда и язык, и все индийское едва шевелилось под мусульманами. Ходил и исполнял под таблу свои киртаны (жанр мантрической декламации в традиции бхакти, построенный в форме вопросов-ответов). Разговаривал в них с Ведами, Упанишадами, с самим собой — о жизни и смерти, но, в отличие от браминской напыщенности и герметичности, говорил в них легко, по-пушкински.

Что интересно, сам он был из касты неприкасаемых, из тех, о ком в тех же Ведах говорилось: а если кто из шудр услышит пение гимнов — залить ему уши свинцом, а если сам откроет рот для стихов — отрезать язык. Так вот, из 21 святого в Индии 9 святых по происхождению из шудр. В том числе Тукарам, чтимый по всей Индии. Это к слову о кастах и о том, что в Индии ничто не сводится к одному знаменателю.

О Тукараме в 1936 году был снят фильм «Сант Тукарам», один из самых успешных фильмов, получивший награды в Венеции. Стихи его переводил Ганди, сидя в тюрьме. Под Пуной, в деревушке, где предположительно Тукарам родился, есть большой нарядный храм, стены которого исписаны его стихами.

Переведу-ка я один.

Я не могу больше лгать
и зову своего пса Господом.
Он смущен.
Но уже улыбается.
А теперь и танцует.

Держимся.
Дивно, но так оно и воздействует на людей.

В том краю…

Сейчас я попробую написать одну фразу, в конце которой, у точки, обернусь — навсегда.

В том краю, куда ни на чем невозможно добраться, кроме едва существующего автобуса, идущего в ночь по лесному серпантину на дикой скорости, а за рулем — недвижный индус с перевязанной головой и руками, вцепившимися в руль, отдельный от этого автобуса, просто летящие в космосе руки и руль, а в салоне странные люди, перекатывающиеся вдоль и поперек с лесными топориками и древесными темными лицами, и кондуктор, бьющийся лбом о стекло, смеясь и заговариваясь своими прошлыми жизнями; в том краю, который называется Калитмара — имя той деревушки, где опустеет автобус и останется ночевать в лесу, в заповеднике Пенч, где бродят вселенские гауры, эти многотонные пуруши мира в белых носочках, гауры, один из которых растоптал отца Рамдаса, когда тот был ребенком, того самого Рамдаса, в хижине которого я поселился, а в соседней хижине в эту же ночь — два колдуна: один — только что зарубленный, другой сидит над ним, говоря: «я не мог поступить иначе, ты навел на меня порчу, ты встревожил меня»; в том краю, где вдоль пустынной реки, как руины крепостных стен с проломленными зубцами, лежат исполинские крокодилы, которых зовут здесь «макар», и, улыбаясь, глядят ввысь, где на пути к этой реке, в заболоченном безлюдье, стоит невесть с какого неба свалившийся лебедь с педалями и сиденьем, на котором, как в страшных сказках, нужно переплыть «на ту сторону» жизни; в том краю, где живет маленький верткий старик, которого, когда ему было сто с лишним лет (но этого в деревушке уже не помнят), загнал на дерево тигр и изрядно потрепал снизу (старик смеется, показывая шрамы, и, сидя на скамье, болтает ногами, не достающими до земли); в той деревушке в одну улицу, уходящую в джунгли, где хмурые крестьяне не говорят ни на одном из человечьих языков, где я однажды ранним утром спускался к реке и, проходя мимо крайней хижины, увидел в дверном проеме мальчика, полуголого, где-то двухлетнего, очень внимательным взглядом взглянувшего мне в лицо и потом, уже в спину, совершенно отчетливо, спокойно, на тихом, ясном русском языке сказавшего: «Куда ты?» — я замер… и не обернулся.

Джанджира

Оставалось у меня несколько дней до отъезда, и отправился я вдоль побережья по разбитым океаном деревенским дорогам, то завинчивающимся серпантинами в горные джунгли, то падающим к воде, через паромные переправы и кукованье в полях в ожидании попуток.

На третий день, находясь в веселой паромной калоше, нагруженной людьми и мотоциклами, я увидел вдали остров. Когда причалили к берегу, я пересел в лодку с «натруженным полотном», которое заполоскалось над головой и выгнулось, и мы поплыли к острову.

Это остров Джанджира. Который можно пересечь пешком за полчаса. Город-форт, построенный в XVII веке народом сидди (или сиддхи — не путать с сикхами), переселенцами из Африки (начиная с VII века), основавшими здесь свое крохотное государство Джанджира — единственное в Индии, сохранившее независимость вплоть до середины XX века.

А дело было так. В XV веке рыбацкий атаман Раджар Патим построил на этом острове деревянный форт и стяжал со всех кораблей — и торговых, и пиратских — все, что мог и хотел. По соседству находились владения шаха Ахмаднагара, который был, как многие княжества в Индии того времени, «сам за себя», воюя и с мусульманами Делийского султаната, и с индусами земли маратхов. Ему обрыдло видеть этот произвол под носом, и он послал корабли — захватить остров. Корабли ушли на дно, потопленные атаманом. Тогда он собрал весь флот и поставил капитаном над 200 000 воинов Пирем-Хана, сидди по происхождению. Тот взял крепость и был назначен ее комендантом. Но как взял! Как Трою. Нагрузив корабль дарами — бочками с ликером, из части которых ночью вышли воины.

В течение 20 лет после захвата острова он перестроил его в неприступный каменный форт с улицами, дворцами, гарнизоном в несколько тысяч человек, стенами 12-метровой толщины и 500 многотонными пушками. И тихой сапой перетащил туда всех своих соплеменников. И объявил независимость. В государство входили остров-крепость и небольшой городок на берегу — Муруд. С тех пор кто только не пытался сломить их — и многомиллионные Великие Моголы, и империя маратхов, и всевозможные шахи, и короли, и португальцы, и британцы… Ничего ни у кого не получалось. Даже туннель пытались прорыть под океаном. На острове — два неиссякающих озера с пресной водой и неприступные стены. И створ входа в крепость, видимый лишь с нескольких метров при приближении с моря. Даже британцы, подмяв под себя всю Индию, после нескольких попыток принуждения смирились с их независимостью.

К началу XX века Джанджира начала понемногу хиреть и с объявлением независимости Индии прекратилась. Последний потомок Пирем-Хана принц Роби Филип эмигрировал в Нью-Йорк. В Муруде на холме стоит туманный замок (особенно дивный рядом с одноэтажными домиками городка), куда не пускают, принадлежащий, видимо, династии абиссинских правителей. И по пустынному пляжу бродят белые лошади. Сами сидди разбрелись по Индии, теперь их осталось около нескольких десятков тысяч. Воспринимают их внекастово, вроде протоцыган. Они живут и в Муруде. Нищенствуют, подворовывают, танцуют на свадьбах под барабаны свои dhamal.

А форт — в сказочном прозябанье: зацветшие зеленые «васнецовские» затоны, оплетенные лианами руины, висящие, как сети, стены и громадные длинные пушки, лежащие с открытым ртом в безвременье.

Марко Поло

Помню я смутно, но в своих 20-летних странствиях Марко Поло был взят на службу одним из потомков Чингисхана с тем, чтобы объезжал глухие провинции и по возвращении рассказывал императору, что видел. И лучшего остранения для взгляда на реальность император себе не желал. Так длилось много лет. Хорошая метафора. Примерно то, что я сейчас делаю в этих рассказах на два голоса.

ИНДИЯ, 2016-17

День Седьмой

Ну как жить после этого, а? Прилетели в Индию, сели на лапоть-паром, где на корме — буржуйка и гальюн, а на мостике — капитан в игрушечной будке, и поплыли в какую-то Мадву, высмотренную мной еще в Мюнхене под лупой на карте, а потом на веселом автобусе, исхлестанном ветками, добрались до Муруд-Джанджиры — крохотного острова-государства, основанного беглыми абиссинцами, сняли домик у кромки океана, и вот наутро мир — как в день Седьмой...

Чудеса побеждают

Фантасмагория здешней моей жизни льется через все края, и в хозяйской суете я не успеваю даже обернуться на все эти чудеса. От красоты слепнут. А это здесь на каждом шагу. Вот найденный мной в землянке блаженный и ветхий мусульманин по имени Адам красит стены в нашем доме. Вот застенчивый манговый король зовет к себе погостить в края далекие. Вот мебельщик в соседнем городке, у которого по ходу купили стол со стульями, грузит все это в три этажа в салон маленькой легковой машины вместе со своей семьей и нами, и мы едем по ночному серпантину в нашу рыбацкую деревушку, и дорогу перебегают лисы, зайцы и черные виверры. Вот в соседней деревне лесники вырыли экскаватором могилу рядом с пальмой и положили туда 14-метрового кита, выбросившегося на берег. Вот хозяин дома, где живем, вместе с дочерями убирает мусор на берегу, чего не делалось здесь последние несколько тысяч лет. Вот полицейские, закончив пуджу и развесив веселую иллюминацию в своем садике, готовят корабль, чтобы показать нам индийскую рыбалку. Вот я лежу в изумрудной чаше лесного ручья и думаю о Ману, индийском Адаме — сыне Солнца, брате Смерти, — как он однажды окунул руку в ручей и малёк меж ладоней затрепетал, обернувшись Вишну. Вот местный художник, а-ля Пиросмани, рисует гавань, и я вешаю эту картинку в изголовье, за которым эта же гавань. Вот портной за углом, он же главный змеелов (босой ногой чуть прижимает кобру к земле и берет рукой). Вот музыкант, играющий на табле, он же зеленщик. Вот дивный мороженщик, сочиняющий лучшее на свете мороженое ручной выделки, на стене его лавки висят патент и благодарность от государства. Вот в наш дом несут новую кровать, срубленную как Кижи, а главный мусульманин деревушки, двухметровый шах, утопающий в белом балахоне и черной бороде, выкатывает на берег лодку, на которой будет возить нас на необитаемый остров согласно составленной нами бумажке — с днями и временем, которых тут нет. А на веранде нашей над океаном горят гирлянды огней и лодочка луны. И радуюсь я — чудеса побеждают. Именно они, как я знал всегда, и есть настоящая реальность.

Имплант

Сегодня я потрясен сильно и так неизъяснимо, как никогда прежде. Три с половиной часа (на бешеной скорости) длилась операция под местным наркозом: вырван зуб, разрезана десна, пробуравлена челюстная кость на 2 см вглубь, а затем наращена, вставлены сваи под имплантаты (сразу две, в один присест, одна из них — прямо в свежую лунку вырванного зуба). Не то что боль — вообще ничего не чувствовал, даже вздремнул. Встал, пошел в город по делам, к вечеру с мешками всякой хозяйской утвари вернулся в деревушку, навернул ужин, забыл даже о том, что было и что наркоз давно отошел. Мало этого, в дверях врач сказал, чтобы я приехал завтра утром — мост ставить (рядом с имплантатами). То есть вечером в хлам разворотить челюсть, ввинтить в кость шурупы, а наутро — мосты ставить! И это мне сказал тот, которого я считал свами стоматологии, тот, у которого рядом с инструментами стоит компьютер, чтобы тут же видеть все, что происходит у меня во рту (через мгновенный рентген, подключенный к ноуту). Так вот, он — мастер, какие нам и не снились, оказался просто способным брахмачарьей рядом с настоящим махатмой, пришедшим специально на этот сеанс, который они проводили в четыре руки.

Что я вам скажу, друзья мои: я видел в деле настоящих немецких мастеров, видел американских, не говоря о наших. Пусть все они низко пригнут голову и тихонько выйдут. О великие и непостижимые индусы! И где — на едва ли не самой пропащей периферии штата сродни какому-нибудь нашему недоурюпинску.

Да, а когда я сказал ему, что через пару дней уезжаю, он дал мне пинцет и нарисовал швы, которые наложил у дальнего зуба, мол, чтобы я снял их через неделю. Там три узелка, говорит, подденете пинцетом и маленькими ножницами — чик-чик… Ну и от острой пищи, говорит, пока воздержитесь… нашей. И смеется. Хорошо еще, что не предложил по возвращении вместо него прием вести.

Та́рмаса

Купил на рынке двухметровую рыбу-меч за 1000 рублей, взвалил на плечо и унес. О великая рыба начала времен! Внутри она выстелена воздушной подушкой, похожей на пузырчатую полиэтиленовую пленку для перевозки стекла. А над спиной — парус. В животе у нее я нашел кальмара. Никто не знает, зачем ей такая чудовищно избыточная скорость —110 км в час (а в пересчете на воздушную среду, наверное, под 800) — и зачем ей меч. Перворыба мифологий. И та самая, из «Старика и моря»... На местном языке маратхи она зовется та́рмаса. Были грандиозная уха в огромном чане со свастикой и жаренные на ореховом масле ломти. (Да-да, истекайте завистью — белой и разной, ничто вас уже не спасет. Я еще покажу истому погребенных под лангустами, и тигровые креветки, не помещавшиеся больше одной на большую сковороду, и нежнейших морских угрей на углях в руинах форта с лунной дорожкой океана, я еще покажу этот гастрономический рай, из которого не была изгнана ни одна из наших душ.) Праздновали с друзьями Дивали — победу Света над Тьмой.

Ваягрешвар

Прямо за углом от нас, в соседней деревне, есть храм, о котором очень мало кто за пределами этой деревни знает. С могучей молчаливой энергией, гудящими корнями времени. Тысячелетний. В переводе с индийского времени на европейское — можно сказать, трехтысячелетний. Поскольку здесь время никогда не было эстетической ценностью и мало что сохранялось. Так вот, храм этот стоит в стороне, редко кто ходит сюда, все идут в другой, где брамины побойчее и дорожка живописнее. А этот — редчайший — тих и заброшен. Ни души, только брамин сидит в гарбхагрихе (алтаре) и тихо творит свою огненную пуджу. По фасаду на уровне земли храм опоясан умопомрачительным фризом с танцующими гандхарвами — мифическими музыкантами, полубогами-полулюдьми, падкими до человечьих женщин. Они почти не видны, заросшие кустами и травой. Такой же орнаментальный фриз внутри храма — со слонами и тиграми вперемеж с людьми. Понятно, что в любой другой стране он был бы сенсацией. А здесь — тихое счастье для редких гостей. На подворье лежат вросшие в землю фигурки богов — большие и малые, расколотые и целые. Я в шутку спросил брамина, можно ли взять что-нибудь на память. Он всерьез ответил: бери что хочешь, хоть все. Потому что бог для них — не в этих бесценных для нас фигурках и не в этом храме, который, как прохудившийся горшок, они с легкостью поменяют на новый, а в тебе. Который никогда не есть ты, а странствие всего во все.

Остров

С нашей веранды виден остров Суварнадурга, он в полумиле от берега. Форт на нем был построен в XI веке, а в XVII его захватил и перестроил король маратхов Шиваджи Махараджа (именем которого назван бомбейский аэропорт). Губернатором острова был выросший на нем Конхаджи Ангри, ставший потом адмиралом первого индийского флота, который он построил на этом острове. Да-да, до XVII века у индийцев не было флота и на океан они смотрели лишь как на задний двор (рыба и отхожее место): ни воевать, ни открывать земли, ни налаживать торговые пути им вообще в голову не приходило — тысячелетиями. Адмирал был яростен и прекрасен, за что получил прозвище Самудратла («гроза морей»). Остров стал неприступен и вошел в историю как «Золотое перо в шапке королевства». Теперь там все в чудесном забвении: руины, необитаем, только небольшое стадо бог весть откуда взявшихся коз живет там. Есть поверье, что это души тех, кто искал там сокровища короля. Стадо коз и колония летучих лисиц, этих сладострастных демонов-веганов с размахом крыльев до полутора метров. Неизъяснимые создания. Питаются они фруктовыми плодами, цветами и нектаром. И — что еще удивительнее — сочетают перечисленное с морской водой, которую пьют, когда не хватает минеральных солей. Обладая эхолокацией, они обычно не пользуются ею, предпочитая зрение (как если бы мы обладали крыльями, но не пользовались ими, предпочитая ноги). Живут колониями до тысячи особей на одном, как правило, старом дереве и, улетая, всегда возвращаются на него же — всю жизнь, а живут до 15 лет. Но самое дивное — любовные связи: самец всегда начинает с куннилингуса и им заканчивает, а между — оплодотворяет. Так вот, ученые в недоумении по поводу последнего этапа, поскольку, вылизывая самку, он сильно рискует вылизать свои же сперматозоиды. То есть страсть, чтобы не сказать — любовь и нежность, оказывается сильнее природного инстинкта. Самка рожает одного детеныша и

кормит его до полугода, более-менее самостоятельным, но еще не половозрелым, он становится лишь к двум годам. Такие дела. До свиданья.

Райгад

Отправились на джипе в горы — в поднебесную резиденцию короля Шиваджи. Этот великий король, освободив пол-Индии от моголов, взметнул знамена над 500 (!) огромными фортами, которые он воздвиг на неприступных вершинах гор Декана. Самый большой и главный, избранный им столицей, — Райгад. Полгода назад мы на него восходили пешком с полчищами индусов, празднуя День короля. В этот день миллионы индусов бегут с факелами, флагами и барабанами по всем дорогам Махараштры, восходя в небо. Памятники этому народному кумиру стоят повсюду, изображения его в домашних алтарях — рядом с Шивой. Внешне он похож на Дон Кихота, Дульсинеей которого стала Индия (она же и Санчо Панса). Форт-город, вернее, руины его грандиозны, виды на ущелья и пропасти — тоже. Один из утесов называется Так-Мак — место казни, оттуда сбрасывали живьем в мешке. Рыночные ряды — длиной в улицу — сделаны так, чтобы всадник мог делать покупки, не сходя с лошади. Шесть спален императрицы — каждая площадью с кремлевский зал — оснащены были туалетами и ванными. Король упокоен в этом же форте, его склеп расположен рядом с могилой и памятником его любимой собаке.

Свадьба

Свадьбы шли косяком. Февраль вообще самое время свадеб в Индии, когда они прокатываются по всей стране, накрывая ее. Накрыло и нас в нашей рыбацкой деревушке Харни. Так накрыло, что теперь индийский плясовой эпос навсегда обогащен русской кадрилью и иже с нею. И мы так вовлеклись в этот дивный местный танец со вскидыванием рук и проворотом тела с наклоном вокруг оси, что уже наутро после первой свадьбы (а мы были на трех или четырех) вся деревня была озарена и развернута в сторону наших женщин и рыбачки обнимались с ними на рынке, в деревне и на дорогах, пританцовывая. С того дня посланцы с других свадеб уже дежурили у нашего крыльца, уговаривая, чтобы мы хоть на часок стали гостями и у них. А выглядит это так. Свадебная процессия длиной в полкилометра движется в течение трех дней, описывая круги по деревне, уходя по дороге в соседние, встречаясь с другими свадьбами и не вполне возвращаясь. Ослепительные жених и невеста сидят на лошади, которую ведут под уздцы родные и близкие. Впереди несколько человек тянут за собой на веревках генератор, от которого протянуты провода к светильникам, которые несут в руках и на головах светоносцы, за ними движется помост на колесах, на котором сидят музыканты, дуют в трубы и дубасят в барабаны, за ними движется пляшущая процессия, за которой — лошадь с молодоженами, за которыми… И так — от горизонта до горизонта — все три дня и ночи, которые переходят в следующие свадьбы.

Рыба-флейта

Пошел в гавань за скатом на ужин. Но скат лежал на песке один — огромный, пятиспальный. Хожу, смотрю, что взять взамен. И вдруг — это! Небывалое, ни один рыбак не смог назвать имя ея. Нет у ея ни имени, ни семьи, ни родины. Тело тонкое, змеиное — цвета бронзы в патине. Губки «скажи: изюм» и крохотный хвост как корона принцессы эльфов. Шедевр пучинного Боттичелли. Взял ея, прижал к сердцу. Днем спустя нашел в сети ее имя: глубоководная рыба-флейта!

Панхалекаджи

В 30 км от нашей деревни находятся буддийские пещеры II века до н.э — Панхалекаджи, обнаруженные совсем недавно. То есть о них, конечно, знали — пастухи и крестьяне. Начиная с VII—VIII века пещеры были заселены индуистами, так что обе религии там переплелись. 29 высеченных в камне пещер. Во многих — дивной красоты резьба по камню, барельефы и скульптуры — буддийские вперемеж с индуистскими. Есть вырезанные на камнях надписи на деванагари и, возможно, пали. Место совершенно дикое, рядом течет речка, в ней живут крокодилы и выдры. В одной из пещер лежали порознь ноги Будды и тело, и я решился их соединить — что-то, быть может, сдвинется в космосе, как я понадеялся, в лучшую сторону. Когда в следующий раз я приехал туда, обе части тела лежали как до воссоединения. Все пещеры открыты, лишь одна заколочена, с хлипким навесным замком. Приехав в третий раз, я все же дерзнул приоткрыть ее. Во тьме стояли и лежали вразброс десятки фигур, многие из которых сделали бы честь любому музею мира. Но даже не в этом дело. Во тьме. Запертые в маленькой каморке пещеры. Две религии, десятки богов и их осколков: рука одного, тянущаяся к плечу другой. Ступня. Пол-лица. А в углу — невероятный молодой Будда, отрок, глядящий на Ханумана... Или другой, без головы, прижавшийся к Шиве... Сделал несколько снимков почти вслепую, во тьме, и закрыл дверь на тот же детский навесной замок.

Виттал

На всенощный праздник вишнуистского бога Виттала (покровителя и подданного Кундалини) и его храма, расположенного в глухой деревушке на юге Махараштры, куда съехались из разных городов четыре брата, поддерживающие этот храм, и сошлись со всей округи около полутысячи гостей, мы приехали с молодым профессором физики и моим другом Шреасом (отец — брамин, а мать зовут Река). Неописуемая ночь. Именно то, что я и мечтал показать моим друзьям. Настоящая Индия. И совместный семейный ужин на 100 человек, и наши женщины, уведенные под руки в дом хозяйкой и вернувшиеся неузнаваемые — в ослепительных сари, и потом, уже в храме на ночном холме, — музыканты с неизменными за тысячелетия инструментами, и сводящее с ума хоровое пение — с детьми и взрослыми, и гимны на священные тексты поэтов XII—XVII веков (св. Тукарам, св. Аканат и др.), и ритуальный танец вокруг храма с факелами и обносом его богом Витталом, сидящим в паланкине, и молчаливые разговоры у костра в стороне, и дрема вповалку на земле между плясками... А наутро туман над деревней, дорога, паромы через устья рек, впадающих в океан...

Деньги

Серджи, говорит мне незнакомый продавец на рыбном рынке, не надо денег, бери так, и вот эту рыбу возьми... И так на каждом шагу.

Или вот недавно вся индийская земля, казалось бы, перевернулась: президент их выступил по ТВ поздним вечером, сказав, что через пару часов все купюры достоинством в 500 и 1000 станут недействительными. А я как раз накануне обменял к приезду друзей большущую сумму именно на эти купюры. И теперь, как сказал президент, это просто бумага, мусор. Банкоматы закрыты, полтора миллиарда индийцев выстроятся в терпеливые очереди в банки менять мизерные суммы ежедневного лимита. Индийцев, а иностранцы в этой реформе никак не были предусмотрены. Так вот, наутро иду я по деревне, и люди, большинство из которых мне незнакомы, говорят: Серджи, не беда, давай нам этот мусор, мы понемногу будем менять тебе, у нас большие семьи, все пойдем и будем менять в банках понемногу. И меняли. Те, у кого семьи, дети, те, кому самим не хватало. И я раздавал эту бумагу в течение полутора месяцев, не запоминая, кому и сколько. И так же возвращали — новыми купюрами, на каждом шагу, неведомо кто. И в лавках давали в кредит. И за жилье не брали. Простые люди. Свои. Настолько свои, что нигде я это так не чувствовал. Я не про деньги. Вот сегодня я заглянул в один дом браминов, и мы несколько лет просидели с отцом семейства почти в молчании, но я не помню, когда и с кем на родном языке я касался этой тончайшей ткани.

Нашел!

Осталось два дня до отъезда. Я знаю куда. Я нашел! Я так нашел, как никогда, — единственное место на Земле, мое. И чувство такое, что там сойдутся все мои прошлые, настоящие и будущие жизни. И вот я иду в гавань к ремонтникам баркасов — укрепить рукоять ножа. И мы это делаем, но они советуют все же съездить в городок поблизости — там на рынке сидит глухонемой леонардо, он справится лучше. А потом беру в рыбацкой лавке веревку, продаваемую на вес, мотаем ее с рыбаками, и я стараюсь припомнить из своей спелеологической юности узлы и обвязки, чтобы вязать в джунглях перекладины на лестнице из бамбуковых жердей. Потом в аптеке мы с другом-аптекарем выбираем необходимое — чтобы помещалось в горсть, не больше. Потом дома рисую палаточный домик из солнцезащитной сетки и пытаюсь вспомнить школьное — как вычислить сторону треугольника и его высоту, чтобы купить этой сетки достаточно метров. И иду в посудную лавку — купить кастрюлю и потом показать на пальцах жестянщику, сидящему у дороги, как приделать к ней ручку, чтобы вешать на перекладину. И смотрю дорогу по гугл-карте.

Оцепленный рай

В эти три дня произошла такая махабхарата событий — что твой Джойс с бессобытийным днем на тысячу страниц! Когда жизнь берет тебя в настоящий оборот на своей нечеловеческой скорости — уже не до слов. Скажу только, что до последней минуты были колебания: еду ли я в этот заповедник один, или вдвоем с новым другом-индусом, или

втроем — с N, узор отношений с которой рвался и ткался по живому и мертвому. Выехали втроем. Со вчерашнего дня нас двое. Индус не выдержал и сейчас, наверное, где-то в дороге домой. Последнее, что он видел, — леопард вблизи нашей палатки. Но, наверное, не это причина его панического отъезда. А что? Может, «узор», от которого его чуткой душе хотелось держаться подальше? Трудно ответить, это могла бы быть отдельная повесть — на семь неявных ветвящихся сюжетов. Ладно, хорошей ему дороги.

Да, я вообразил невозможное, неземное. Еще в детстве. И шел к этому всю жизнь. И вот сейчас нашел эту точку в пространстве и времени, где должно было сойтись все, — вот она, эта местность, и именно такая, как я и представлял. Вот, в шаге, буквальном. И — его невозможно сделать. Семиярусный рай, небывалый лес, река, неисчислимые звери, а в рюкзаке — все для жизни, впереди полтора месяца счастья, трудного, страшного, высшего, моего… И — колючая проволока, заставы, рвы, рай оцеплен — повсюду. Не войти.

Помните притчу Кафки о привратнике и путнике? Так вот, я не ждал, пока закроются ворота. Я ломился со всех сторон туда — сквозь ангелов и демонов. И встречи эти были по контрасту предельны: от егерей, грозивших упечь меня в застенок, до удивительной встречи с другим егерем и немыслимого дара от него через пять минут после знакомства — неограниченные бесплатные сафари в течение 20 дней.

И вот колесим по всей округе — кажется, тысячи лет, переправляясь через реки в кораклах (плетеная плавучая корзина), высматривая крокодилов, по ночным проселочным на мотоциклах, на ранних местных автобусах… И — мы нашли эту щель в заборе, мы вошли в рай! За полтора часа до заката. И на лугу у реки нас ждал одинокий слон и кивал, как бы не глядя в нашу сторону, а когда я приблизил его зумом камеры — он улыбался! И — о это невозможное взвинченное счастье и предельная спокойная концентрация всех сил и внимания на том, чтобы успеть поставить лагерь до темноты. Спиной к слону, но чувствуя его. У высокого чудесного дерева «махуйя» (из красных цветов которого делают самогон, и — вон она, полутораметровая малабарская белка, лакомится ими, пьянея). Так вот, я соорудил шатер из отреза солнцезащитной сетки — сложной, надежной и красивой формы, еще и подоткнул и сшил подолы! И свет сотворил! Лагерь к последнему лучу заката был готов. И ужин — стараниями N и... назовем его индийским именем Сидор. N в шатре, мы с Сидором у костра, по округе разбросаны черепа и кости обглоданных зверей, Шахерезада-Сидор плетет что-то дивно несуразное — о том, как был камердинером африканского короля, отправившегося на многодневную охоту с километровым обозом и полутора тысячами слуг. Видно, заговаривает себя и округу и еще — хочет уверить меня в своем лесном опыте, особенно после его недавних попыток развести костер. А на кого ж охотился король, спрашиваю. Он долго молча глядит в огонь и говорит: на зайца.

Счастье наше длилось всего ночь и часть дня. Но каких! Сквозь сетку шатра я смотрел на звезды, а рядом во тьме стоял пятнистый олень (которого здесь зовут «читал») и читал неслыханное для него, глядя перед собой — на шатер, по слогам читал, вскрикивая на весь лес. А вдали час спустя с хрипом слег кабанчик. В четыре утра мы пошли на сафари — чтобы успеть к шести к лесничеству у дороги, откуда оно начиналось. Возвращались в наш лагерь счастливые, думая о праздничном обеде, неся покупки... И подоспели — прямо к нашему изгнанию. Выселила нас (не без боя) лесная полиция. (Мы еще позвоним министру полиции края, но встречу отменим, поскольку уже на следующий день вовлечемся в другое приключение.) А потом, опоздав на все возможные колесные, мы ночевали на крыше придорожного магазина — и это была одна из самых чудесных ночей!

Хозяйка и чайханщик (с которыми мы уже были дружны) приготовили ужин — самый вкусный на свете, а потом мы так мягко и волшебно постелили на крыше их хибары, где в дальнем углу сушились стручки красного перца, а над головой в листьях пальмы путалась луна… И на рассвете проснулись от веселых и страшных криков в нескольких шагах от нас, на дороге: это сбежавшиеся крестьяне швыряли горящими углями и чем попало в слона, забредшего попастись на деревенских огородах. Прямо под нами стоял слон в салютах!

Мамочка моя чудесная, я знаю, что ты теперь читаешь эту страницу в фб: не верь ни одному слову! Я жив как никогда, ем как не в себя, здоров до неприличия и бесстыдно благоразумен.

Мастер-класс

За холмом, в нищей деревушке, в продуваемой школе, куда нас повели хохочущие дети, угостив сладкими тростниковыми палками, которые мы сгрызли с ними по пути, я дал лучший в своей жизни мастер-класс, а они — мне. Зашел в класс (учитель в это время обедал в каком-то сарайчике), провел урок музыки с горнами и барабанами, потом математики у школьной доски и географии, склонившись со всем классом над пыльным глобусом, и перешел к индуизму. «А кто главнее, — спрашиваю, — Вишну, Брахма или Шива?» — «Брахма!» — «А кто сильнее — Шива или Вишну?» Смеются: «Шива! Вот он!» — и подталкивают вперед своего одноклассника. «А кто прекраснее — Лакшми или Сарасвати?» Задумались. Одно дело, говорят, покровительствовать мудрости, другое — счастью... И тут появляется в дверях учитель — с разинутым ртом.

Диканька

Дни наши в этой благословенной индийской Диканьке в десять мазанок буквально в одном метре от джунглей (так, что можно запустить бумажный самолетик и не факт, что он не опустится на нос тигру), где мы поселились и стали уже частью семьи, проходят так. Например, вчера: встали в четыре утра, заварили на своей кухоньке ароматнейший местный кофе, испили его в своем дворике со звездами и лежащими у ног белыми быками с крашеными рогами, сели на мотоцикл и поехали во тьме полями, лесами, через деревушку Маги ко входу в заповедник. А потом были лангуры с лицами цвета сожженного пергамента, а потом пятнистые олени — большими стадами, в байковых сорочках, а потом та единственная из тварей божьих, кто ненавидит нас яростно пополам с ледяным презрением, — леопард, а потом на верхушке дерева — лохматый мешок с золотым клювом — орел-змееед, а потом умбристые величественные олени — самбары, и сверкающие в первых лучах павлины, а потом — слоны, слоны, слоны — повсюду, а потом вдруг полыхнуло в кустах и в глазах, и он вышел — тигр, долгий, как день творенья, со свежим шрамом на ключице. А потом — пугливый и одинокий лающий олень (barking deer), который метит свою территорию — слезами! А потом — восвояси, в Диканьку, обед с борщом и запеченной в тесте свежей курицей и вся гоголевская палитра овощей, а потом краткий сон на таких сладких летящих кроватях, как только в детстве. А потом, в четыре пополудни, — прогулка вдоль заповедника с вылазками и засадами (и это самое-самое, непроизносимое счастье) до темноты, а во тьме возвращение, и чей-то

шелест, и протяжное тяжелое дыхание в зарослях: слоны, трое, и стоять во тьме напротив них, открыто, в двадцати шагах, и смотреть, как они ужинают, чуть кося глазом на тебя, а ты вслух говоришь с ними, говоришь, говоришь — уже не о подвигах и доблестях, а о самом важном — что нежнее сердца… А потом банька, настоящая, в Индии! Прямо рядом с домом, а в углу баньки заплутавшая курица, уже слепая во тьме, сидит жалуется в полусне, и чай на завалинке, и звезды восходят, и Манджу, средний из трех братьев на хуторе, говорит: не уезжайте, живите здесь, я вам дом справлю…

По пути

И вот едем мы на рассвете в местном автобусе, где не только по-английски, но и на хинди не говорят, и водитель вдруг притормаживает в глухой деревушке и оборачивается ко мне: пойдем, мол, позавтракаем. А куда — во всей округе не только едален, но и ларька не сыскать. Но идем, а весь автобус ждет. И вот — что называется, раздвигая кусты: то ли школа бывшая, то ли спортзал, а там — столовка для всех, бесплатная. Подсел к детишкам на пол, порубали идли с чатни (рисовые лепешки с острой кокосовой подливкой) и дальше поехали.

На чем мир держится

А сегодня я вышел из лесу, куда вошел еще затемно, такой легкий, летящий, счастливый, пятнадцатилетний. И дело не в том, что я там видел, и это не объяснить. Но только там я дышу и живу по-настоящему. А потом тормознул на пустынной дороге бричку и ехал с ветерком полями-лесами, а за рулем парнишка вдруг оборачивается и — не говорит, а вспевает всем голосом тела: жизнь прекрасна, да, друг?! Еще как, отвечаю, еще как! А живет он в деревушке Маги, где два кола, два двора. А потом, в той же деревушке, идет мне навстречу человек — бос, сед, белая стертая ткань на бедрах, а на голове — вязанка зеленых ветвей, и та-а-а-ак улыбнулся мне, что я чуть не ослеп, сомлев. Я много на свете улыбок видел, но эта останется со мной, наверное, и после смерти. И вот я думаю: на чем все держится в мире? На этом парнишке, на этой улыбке… И больше ни на чем. Нет, еще вот на чем: сегодня два слона стояли под деревом — близко-близко — и, подняв хоботы, танцевали ими, сплетая иероглифы, и улыбались распахнутыми ртами, и сыпалась листва с дерева, и тмилась пыль в косом солнечном луче. И я сделал несколько невозможных снимков, а потом, вернувшись домой, случайно их удалил вместе со всеми сегодняшними. И расстроился, конечно. А потом подумал: все верно, это же чудо, потому не бесследно.

Малали

Рядом с нашей Диканькой есть деревушка Малали, ее видно отсюда, там ближайший продуктовый киоск. И, проходя ее еще вчера, я играл в уме ее именем — «мала ли, мало ли», особенно рядом с нашей деревушкой Маги. Так вот, в этой Малали уже пару месяцев ночует тигрица с тремя полуторагодовалыми детенышами, на окраине деревни — на банановой плантации (там земля от перегноя теплее по ночам). И, уж поскольку ночует, грешным делом уложила за это время четырех коров. Крестьянам выдали компенсацию,

лесники не раз пытались ее спровадить — не получалось. И вот вчера перешли к решительным действиям: окружили ее всей деревней плюс лесники с допотопными ружьями. Дистанция — 10 шагов. Нервы у всех на пределе. Тигрица рванулась к ближайшему егерю (не нападая, только предупреждая и защищая себя), и тут началась неразбериха, стрельба отовсюду, тигрица прорвалась невредимой сквозь незамкнутое кольцо и ушла в заповедник, детеныши метнулись вглубь плантации и спрятались там. Пули, направленные в тигрицу, ранили двух человек: пожилого крестьянина и главного егеря этого района — Махеша, того самого, с которым мы так подружились. На видео в телефоне я видел, как они оба в фургоне скорой помощи: крестьянин — видимо, еще в шоке, не чувствуя ни боли, ни приближающейся смерти, то и дело вскакивает с носилок, что-то горячо пытаясь рассказать Махешу, а тот всякий раз его укладывает, успокаивая, оба в крови. Крестьянин скончался, Махеш в больнице, по проселочным едут полицейские автобусы, приехал замминистра лесного департамента. Семье погибшего, как водится, выдали компенсацию — 5 лаков (500 000 рублей), деревня вроде успокоилась, но история не закончена: детеныши по-прежнему на плантации, тигрица этой ночью вернулась к ним.

Крестьянина на следующий день отпевали под барабаны, потом сожгли. Махеш вроде бы вне опасности. Всего несколько дней назад сидели с ним у него дома, говорили о черной пантере, собирались отправиться в тот лес за озером, где она обитает, мечта моя…

Умред-Карангала

Это невозможно! Пятый тигр за эти дни. И одного увидеть — редчайший случай на всю жизнь, а тут пять. Вспомнил, как год назад в заповеднике с дивным именем Умред-Карангала я все никак не мог его выследить… И вот наступил последний день, и до темноты оставалось полтора часа. Помню, как я прикрыл глаза и одно за другим выключил в сознании все… вообще все, весь мир, остались только лес и он — как едва ощутимая красная блуждающая точка. И началось. Я просто шел на нее — внутри себя и правил дорогу — чуть влево, вправо, нет, гаснет, исчезает, назад, какая-то предельная концентрация и взгляд сквозь веки… Я совсем не склонен к такого рода эзотерике, но там и тогда я действительно каким-то образом энергетически шел за ним и интуитивно «видел», и чем ближе я был к нему, тем сильнее горела эта точка, минут за пять я уже знал, что он — вот, совсем рядом, хотя ничего вокруг об этом не свидетельствовало, остановился — и он вышел: так близко — ближе некуда.

Хоть так

Одинокий слон с одним бивнем исподволь поглядывает, как из зарослей выходит слониха со слоненком. Второй свой бивень он потерял в битве с другим слоном, который потом ушел в другие леса. Шансов теперь у него на любовь и семью почти нет. Возможно, в прошлом у него с этой слонихой были какие-то отношения. Иначе последующая сцена не кончилась бы для него добром. Вернее, отношения и обоюдное чувство юмора. Он тихо подошел сзади, намотал ее хвостик на хобот и легонько потянул к себе. Какие-то мгновенья она соображала — что бы это значило? Потом обернулась, улыбнулась и дала понять, что шутка исчерпана. Ну он и не настаивал, хоть так.

Выключите камеру

Я в оторопи. Только вчера я написал о пяти тиграх, встреченных здесь всего за две недели, как о невероятном событии. Что же мне сказать сейчас? На следующий день я видел леопарда и трех тигров! Трех, в разных местах леса. Такого не бывает. И это помимо двух десятков слонов, бизонов, неисчислимых оленей и пр. В один день. Но главное — последним был небывалый самец: огромный, полыхающий жаром, глядящий в упор, близко, долго. Но эта нестерпимая радость сцепилась навсегда со столь же нестерпимой горечью: камера моя окончательно свихнулась — то затвор отказывал, то фокус плясал, то просто дисплей становился черным с надписью «выключите камеру и включите снова»! И это когда счет шел на секунды.

Вернулся я в нашу Диканьку, просидел полночи, расколотый надвое этим событием. И сказал себе: Сережа, не надо снимать, ты ж видишь, оно не хочет, смотри-дыши-живи-люби глазами и всем, что тебе дано, а камера — да пошла она подальше. И вообще пора тебе убираться из этого волшебного и страшного леса, дарящего сверх меры и сверх меры же отнимающего. От этих дьявольских искушений. Поезжай в Мудумалаи, в соседний штат Тамил Наду, в густые джунглевые холмы — и живи. Прямо с утра и поезжай.

С днем рожденья

А сейчас я расскажу о самом главном, самом глубоком и невероятном поздравлении, полученном мной в день рождения. Заповедник, в котором мы оказались, называется Мудумалаи. Горы в дымке и невероятные джунгли вокруг — симфонические, высоковольтно гудящие напряжением сцепившихся и расходящихся жизней. И никаких ограждений. Сюда-то мы и повадились тайно ходить. И вот вчера, в день рождения, немного замешкались в деревне и вошли в лес уже в середине дня. Идем, и я все жду своих подарков и поздравлений от братьев наших старших… а нету, тишь в лесу, только птицы, правда, дивные все, ну они поздравили, потом олешки — и пятнистые, и самбары, ну еще павлины выводком всем пришли поздравляли, но это так всё, увертюрочки, думаю, а где же… И тут слышим — треск ломаемых ветвей и стволов, рядом, в зарослях за речушкой (шириной в несколько метров и глубиной в один — это важно для последующего). Сели у воды, ждем. N еще слонов по-настоящему, а не на сафари, не видела. Страх, да, но мы договорились (в который раз) — в экстремальной ситуации никакой рассогласованности, просто следовать тому, что делаю я, а я решаю по ходу. И тут — совершенно беззвучно в таких зарослях, где и бабочка распугала бы всю округу, выходит — я таких не видел — огромный, мифический, одинокий, в самой силе своего опыта слон с могучими бивнями. Нет, не выходит, он — уже — стоит прямо перед нами (чуть правее, на другой стороне ручья). И опускает хобот в воду, подносит ко рту, пьет. Но как! Пригубливает — как из ладони. И отпускает воду — как из ладони — стекать вниз. А сам смотрит в нашу сторону одним глазом, вернее — не смотрит, но видит. И думает, решает. И сканирует всего тебя — кто ты есть здесь и сейчас. Дистанция между нами — две-три секунды для него. Теперь я вот что скажу: если по 10-балльной шкале оценивать меру риска — встреча с тигром, например, 7, со слоном — 8—9. Но с одиноким

взрослым самцом и особенно в период т.н. гона — 10. Так же как и встреча со слонихой с детенышем (с которыми столкнулись на следующий день). Так вот, перед нами было уже не 10, а какой-то слон слонов, это считывалось по всему, по каждому его движению — ни одного лишнего, и смотрел на нас краем глаза, но в этом крае была вся Вселенная вместе с нами, сидящими напротив него, а потом он повернулся к нам прямо лицом и стал смотреть в глаза. И вот это уже непередаваемо. А внизу, у земли, он держал на весу маленькую ветку и перебирал ее хоботом, как четки. Смотрел — глаза в глаза — и перебирал. Нас, нашу жизнь, как эту ветку, перебирал — да или нет. И главное — его глаза: они текли, он был в периоде гона — худшее, что можно представить, несколько тонн оголенных нервов. Перебирал. Я бы сказал, что годы шли. Ни одного лишнего. Он бы не топорщил уши, что давало бы сигнал о мере его раздражения, не делал бы ложной (предупреждающей) атаки, как это бывает; нет, ни одного лишнего движения он бы не сделал. Просто нас бы через несколько секунд не стало: вмял бы ногой в землю и порвал хоботом, как ветку. Смотрел в глаза, считывал, взвешивал. Потом медленно повернулся и растворился в зарослях.

Вот такое было поздравление, больше не то что в этот день не поместилось бы — а в целую жизнь.

Купальщица

После двух дней с этими предельными по риску встречами со слонами я думал: что же дальше, каким же будет третий день? И теперь, когда он уже позади, я мог бы сказать, если бы поддавался эзотерическим мотивациям: эти два дня были инициацией, а третий — дары. Мы оказались тайными свидетелями купания слонихи. Но не просто купания, а неописуемой ее неги и счастья. Боже, что она только не делала, она вываливалась в этом водяном царстве в такую сласть! И на боку, и задом кверху, и заламывая хоботом такие крендели, какие и представить нельзя. И погружалась на дно, и выставляла игривый перископ над водой, и всплывала, и рот у нее был до ушей, и не было конца этому счастью. А потом вышла и… не устояв на ногах, снова плюхнулась в рай. А потом, когда уже солнце садилось, вышла и, стоя на берегу, посыпала себя дымящейся в лучах красной пылью.

Храм

Вот что я вам скажу. Это лучший храм из всех, что я видел. Высота его — 30 сантиметров. И стоит он — ни для кого, нигде. То есть у озера, за деревней, почти в джунглях. Стоит так, что можно пройти рядом и не заметить. Три тысячелетние каменные фигурки под густым бамбуковым кустом: Гаруда, Шива и две его жены. По ночам здесь бродят слоны и олени. Днем пастухи пасут коз. Когда я привел сюда своих друзей, кто-то из них тихо сказал: вот теперь, здесь, вся Вселенная собралась в точку, в последнюю точку нашего путешествия, и в ней — больше, чем все, что было. А потом мимо проходил мальчик-рыбак и застенчиво попросил нас снять обувь.

Айяппан

Идем по деревушке дом искать (это ежедневные у нас поиски) — навсегда, потому что — вот оно, лучшее место на Земле. И вот сидим на завалинке с одним (уж которым за эти дни) домовладельцем, жена его чай вынесла, комнаты мы посмотрели, разговариваем о том о сем и как-то свернули в сторону этого чудесного ежегодного праздника в январе, когда все мужчины снимаются с мест, покидают семьи и таким вот кочевым братством отправляются на две недели по святым местам, а потом возвращаются домой с подарками для жен, детей. Этот праздник — в Керале и Тамил Наду в основном. И связан он с Айяппаном. И вот мы пытаемся припомнить — чей же он сын? Шивы? Третий? Потому что первых двух знаем. А напротив нас баньян огромный, а вдали по улочке между мазанок идет женщина в горящем зеленом, и он окликает ее через всю улицу, и она смеется и идет навстречу, рассказывая на всю ивановскую, что, мол, сын это Шивы и Вишну, и смеется. Потому что Вишну в этой деликатной истории принял облик женщины...

Память

Как невозможно высоки и терпимы звери по отношению к нам. У скольких из них память вся в рубцах и шрамах, нанесенными людьми. Только здесь, по ходу, я знаю десятки чудовищных историй, связанных с любимыми мной индусами. А их, этих историй, на Земле не счесть. И вот когда мы попадаем в самые «райские» места, встречаясь с теми же слонами или тиграми, и внутри у нас вроде бы самые светлые чувства и намерения, и подспудно мы надеемся, что это будет как-то «считано»… то есть в какой-то мере рассчитываем на «чистый лист» в отношениях с ними… ан нет — там уже до нас побывали, там, может быть, уже так кромешно от нас, что один только запах наш вызывает ярость. Боль и ярость. А мы не понимаем — как же так, ведь мы же… вроде бы…

N

Пару часов назад я прочесывал джунгли в поисках тела N…

Сидели у ручья в лесу, за спиной склон в дремучем кустарнике. Слоны, двое, приближаются, спускаясь к воде. N шепчет: нет отхода, нет отхода наверх, давай уходить, пожалуйста… (Ко всему, еще и день накануне был нелегкий, нервный, и это, видно, сказывалось.) Да, наверно, надо было отойти вместе, но я остался за деревом — понаблюдать, а она вверх по склону начала взбираться, я думал, что будет ждать меня там. Слоны потоптались не доходя до воды, свернули в чащу и исчезли. Поднимаюсь по склону — а нет ее, зову — нет. Вышел на дорогу — тоже нет.

А ее тем временем на дороге егеря подхватили и увезли в деревню — разбираться. Наплела им с три короба, выскользнула и в другой джип — назад мчится, торопит водителя, а уже темень, слоны выходят на дорогу, картинки в ее голове кидает как на ухабах — от худших к… Да и где она будет меня искать во тьме, в джунглях, лежащего…

Старается о лучшем думать: вот стоял бы он там, в деревушке той, на дороге, ловил бы попутку…

А я и стою там, все уже знаю про нее и давно бы вернулся, да слон рядом в зарослях пыхтит, крутит уши деревьям. И тут джип подъезжает, вернее, вылетает, полоснув фарами, из-за поворота: N…

34 млн. лет

Вот крохотное чудо, которому 34 миллиона лет. Мышиный олень. Самый древний олень, первородный, от которого все другие ветвились. Размером он с некрупную собаку, ноги как у свинки, во рту маленькие клыки. Одинок, застенчив, моногамен, за все эти миллионы лет не менялся. Я знал о нем, но увидел впервые — здесь. Он стоял в кустарнике горестно и почти недвижно — похоже, все эти 34 миллиона лет.

Тримурти

А теперь перейдем к ошеломлениям. Пять ошеломительных открытий. (Из тех же «невозможных», как и показанная мной в прошлом году наскальная живопись 5000-летнего возраста, открытая местными змееловами, или дольмен времен Стоунхенджа на пустыре, о котором знают лишь козы и тихий мумбайский профессор, грезящий об экспедиции.) А теперь по порядку. Оказавшись в чудесном заповеднике на юге Индии, я подумал: а не изменить ли маршрут и программу для моих гостей, чей приезд был уже на сносях, и не привезти ли их после океана сюда — в джунгли. И, получив от них согласие на эту головокружительную авантюру, начал готовиться. Что касается программы для джунглей, она была вроде бы ясна: сафари и поездки по округе — к местным лесным племенам. Но не хватало еще чего-то вроде храмов, особых мест… Тем более что это земля тамилов, дравидов, один из истоков цивилизаций. И вот где-то на задворках сети я вдруг натыкаюсь на неприметный блог некоего индуса, который проехался по деревенской глубинке приграничного штата Карнатака и поместил у себя снимки увиденных им храмов. Смотрю я этот блог и столбенею от снимка к снимку. А под снимками у него — несколько слов: имя храма, примерный возраст, ну и еще несколько фраз, если повезло разведать. И вот мы уже едем в эту деревню. По пути водитель все норовит свернуть на каждой развилке, говоря, что знает десятки храмов в этой округе — не хуже тех, куда едем (о которых он ни сном ни духом). Я тоже знаю (их, индусов, представления о ценностях) и потому не поддаюсь. И вот мы въезжаем в деревню, где должны быть три из помеченных мной храмов... Скажу, что после третьего дальше жить было некуда — и у ошеломления есть предел, но поехали и в четвертый, последний. Проселочная, поля, впереди никакого жилья. Спрашиваем у крестьян в поле, они долго не понимают, о каком храме в той стороне, куда указываем, может идти речь, нет там ничего... но потом что-то проясняется. И вот мы въезжаем на маленький аккуратный хутор, посреди которого…

Я не знаю, как все это описать, и как показывать — тоже не знаю. Разве что несколько деталей и фрагментов — именно так, как он и открывался — через них. Через них и через ощущение небывалой красоты, тепла, света и многомерного многоярусного простора.

Даже не скажешь, где, собственно, сам храм, это какой-то очень живой, теплый и тихий космос — с храмами, дворами и двориками, галереями и большими пустынными залами с рощами колонн, и все это переходит в сторону окраины деревни — к джунглям, священным деревьям, у которых лежат тысячелетние обломки — маленькие алтари… Друзья мои все разбрелись по этим бесконечным пространствам: кто-то — у «поющих» колонн главного входа, кто-то — у пятикомнатной галереи, где в каждой из просторных келий стоят большой лингам и йони, в каждой из пяти они сделаны из другого камня. Кто-то взобрался на крышу одного из «крыльев» храма, и там бог весть откуда взявшиеся дети уже вплетают большие желтые цветы в волосы нашим женщинам…

Можно, конечно, отключить западное полушарие и просто раствориться в этом космосе храма или лечь, как кот, на его припеке и урчать мантры. Можно — и, пожалуй, лучше бы. Но я все хожу с настоятелем этого храма, чудесным Нагендрой, и он рассказывает, а я тихо схожу с ума. Потому что это храм Тримурти, каких мало, то есть Троицы — Брахмы, Шивы и Вишну. И, что совсем уж редкость, — прежде всего Брахмы, творца мира, Брахмы, у которого практически нет храмов (его дивное закулисье в индуизме — отдельная тема) и изображения которого очень редко можно найти, а тут — множество. И не только его, но и тех, кто причастен к дням творенья: первослона, например, или Ману — первочеловека. Вообще с храмом этим одни вопросы и тайны. Ему можно и жизнь посвятить, его исследованию. Никакой информации. Начиная с возраста. Явно за тысячу, но когда, как? Да и Тримурти ли это храм, когда вдруг Нагендра проговаривается: храм Сурии, вот он, Сурия, и показывает на барельеф, а это — Агни!

Кобра

Ладно, навстречу просьбам, особенно Кати Морголь из Беларуси, расскажу немного. Но прежде надо сказать, что эта тварь — единственное, от чего я всю жизнь приходил в тихий ужас (и это еще не то слово). И в то же время всю жизнь не отводил от нее взгляд. А в прошлой Индии впервые взял кобру и держал за хвост в поднятой руке. После этого опыта тот свет для меня — лютики.

Да, так что же, милая Катя, ты хотела бы услышать? Заползают ли змеи в деревни и дома? В предыдущей поездке я познакомился с одним деревенским учителем, по совместительству змееловом. Так вот он за 12 лет отловил в своей крошечной деревне и выпустил в лес около 3500 змей. То есть, говорю, 300 в год? Да, отвечает, в основном в сезон дождей.

Ты спрашиваешь, приползла ли эта двухметровая кобра сама к нашему дому? Нет, хотя могла бы, но другая (на днях одна проскользила в двух шагах от меня, у озера). А эту кобру принес змеелов по имени Мурли. Я с ним познакомился накануне в деревне, пили чай, он показывал снимки в своем мобильном. На одном из них он держал одной рукой большую кобру поперек туловища лицом к лицу, в 10 сантиметрах. Я спросил: как же так? Он приблизил вплотную ко мне лицо и начал играть бровями: а вот так! Не ужалит, говорит, у нее, когда глядит на это, происходит разбалансировка внимания. (Бровями! Вот так — вверх-вниз, левая-правая, а она смотрит, и голова кругом у нее идет, едва сознание не теряет. Ну и ну! Ай да Индия, ай да сукин сын!) А тебя кусали прежде, спрашиваю? Да, говорит, восемь раз. И призадумавшись: или девять. В тот же день, когда он повез на мотоцикле выпускать эту пойманную им в деревне кобру в лес, его цапнула другая кобра

— юная, и отвезли его в больничку. Откуда он вышел через пару дней и гоголем ходил по деревне с очередной пойманной змеей. Я знаю змееловов, но этот уж слишком на публику работал, да и работа ужас как самонадеянна и расхлябанна, а змеи, Катя, любят самозабвенную точность.

Что касается кобр, змееловы говорят, что с ними работать сравнительно просто. Из положения «стойка» атакует она обычно только вниз под углом. Поэтому удерживание ее внимания на уровне поднятой головы (рукой или тряпкой, например, или покачиванием колена перед ней из стороны в сторону), говорят, не опасно, она не может сделать длинный выпад, только вниз — к ступням, потому змееловы в крепких высоких ботинках. (Мне нравится это их «обычно». Обычно мы тоже… например, по ночам спим.) А вот кто по-настоящему страшен — гадюка Расселла: молниеносный бросок без предупреждения и в любом направлении. Скорость броска в 20 раз короче секунды. А яд самый страшный у крайта: парализует все, кроме мозга, человек с виду мертв, но еще живо его сознание, он слышит, что происходит. Таких не раз хоронили заживо.

Спокойной ночи, Катя.

В сторону

Похоже, в последние годы меня сильно отнесло в сторону от людей. В сторону... надеюсь, человека, но какого-то другого. Вот вчера я разбирал очередную папку индийских фотографий — около тысячи снимков одного дня в рыбацкой деревне. В основном люди. Удалял лишнее, оставлял лучшее. Примерно 700 снимков удалил, остальные оставил под вопросом — до следующего захода. А сегодня взял другую папку — там около 500 снимков слонов в джунглях, снятых в течение 15 минут, то есть почти видео — в режиме безостановочных стоп-кадров. И всё. Не то что сократить не могу ни снимка или все уж такие шедевры — нет, конечно. Но на каждом западаю, и — века идут... И дело не в наслаждении, созерцании, тихом разговоре, медленном огне... нет, сложное чувство. Сложное, как небо. По эту сторону, с людьми, я испытывал это чувство считанные разы: с одной женщиной, двумя-тремя книгами...

Колыбель Бога

Ладно, вот. Хоть и не собирался второпях делиться этим очень особым переживанием. Но вначале к этому вчера написанному тексту я кое-что важное добавлю. Храм, о котором пойдет речь, называется Mulathaneshwara, и, поскольку никакой информации об этом чуде света нет, я сегодня пытался что-то прояснить хотя бы в отношении его имени. Нигде ничего. И только в словаре санскрита я обнаружил, что это слово имеет семь значений и все они… Но прежде скажу вот что. Когда я впервые увидел этот храм, он стоял на безлюдном краю деревни, у пустыря, с пальцем у губ. Тих и заперт. Странное чувство — будто тихо оглушило, будто он взял тебя незримо, приблизил и отпустил, — так я и уходил, чуть пошатываясь, не очень сознавая, что же произошло. А через три недели, когда я вновь приехал сюда, храм этот вдруг распахнулся и втянул в свою сердцевину: там шло таинство…

Так вот, на санскрите Mulathana означает Обитель Бога, а точнее — его колыбель, исток, дом. Безвестная, на пустыре, на отшибе мира Обитель Бога, его исток.

А вчера было вот что. Свернув в переулок, я кивнул стоящему у плетня индусу, он тихо сказал: быстрее, там все началось. И мы вошли. Маленький, врытый в землю (вернее, вырытый из нее) храм, где почти ничего не изменилось со времен Ригведы, то есть с начала времен. Тихое, накрывающее с головой чувство живого открытого космоса, воткнутого в землю. Но оказалось, что это только начало.

Их было двое: один сидел на полу и читал книгу гимнов и мантр, нараспев, лицом к камню, огню, колонне, а потом — алтарю нагов. Другой очень быстро (но с той скоростью точности и ладности движений, когда кажется, что все происходит как в замедленной съемке) перемещался от огня к алтарю и оттуда — между людьми — к углам храма, к фигурам богов, украшая их тканями, цветами, поливая молоком, обнося огнем, возвращаясь, прошивая собой пространство дивным узором (но боже, как же он мыл, пеленал, кормил и умащивал Шиву! И подпевая, и воркуя, и щебеча руками вокруг него. Так родное дитя лучшая мать на свете не голубит). Людей было немного, но в этом небольшом храме, как в подземелье, казалось, что он весь наполнен (как наполнен был хлев в Вифлееме). И слепящий свет из дверного проема лежал косяком на темном полу, и девочка в солнечном платье вдруг начинала кружить по нему — то во тьме, то на свету, незримая. И все причащались огнем, зачерпывая его ладонями и притворяя к щекам. И потом — годы спустя — начала доноситься музыка — с той стороны земли: это у входа, когда я вышел, уже сидели музыканты (табла и дудка), и дхармы музыки вились из них и вокруг, как пчелы.

И — я не знаю — от избытка всего этого волшебного и такого простого и теплого, явного мира, где бог — ближе печного горшка, я начал приплясывать и кружить по двору — без земли под ногами, в воздухе, с суфийским вращением и перебором всей рощи ног под собой: о радость, радость, дети мои, не обижайте ее в себе и вокруг, пока ангелы печали сучат из вас нити!

День

Пару индийских сотен лет спустя зашел в ленту фб и первое, что увидел: сегодня — День писателя и сегодня же — День природы. Интересно. Что же я чувствую, посвятив сближению в себе того и другого годы и годы и чем дальше, тем острее понимая, что путь этот по-прежнему темен и безлюден? «Не то, что мните вы, — природа» — как сказал Тютчев — и смолк.

В ореоле светлого безвременья

Я смертельно тоскую по дому, по родине — вот этой, с этими простыми рыбачками чище света; с этими жилыми хижинами лодок, вросших в землю и увитых лианами; с этими неспешными буйволами из «Махабхараты»; с руинами форта великого короля Шиваджи, где можно в тиши под луной жарить на костре морского угря или ската; с этим домом в 50 шагах вправо, моим домом на краю света у самой кромки океана, и живущей в этом доме

семьей рыбака, который младше меня, но которого я зову «папа», потому что он — плоть от плоти этого океана и вросшего в землю корабля; с этой фантасмагорией рыбного рынка на песке гавани — если пройти влево 200 шагов; с этим флотом фелюг в тысячах разноцветных флагов и огней, нарисованных детским карандашом; с рваной кисеей цапель вдоль берегов; с этими письменами арабской вязи мелкой рыбы, разложенной на камнях пирса на просушку; с дивными храмами — за плетнями и под деревьями — не сосчитать их в этой маленькой деревне; с песнопениями в ночи на слова поэтов XII века; с барабанами и огнями блуждающих по округе свадеб; с людьми, от еле заметной улыбки которых земля из-под ног укатывается — навсегда; с этим взглядом — в любую сторону, — в котором тысячелетья бродят, как те коровки или облака; с этим чудом каждого необъятного мгновенья в ореоле светлого безвременья.

Вспышка

Когда я возвращался из Индии в Мюнхен, самолет 40 минут не мог зайти на посадку, все кружил в грозовом фронте. А потом вдруг ослепительная вспышка в моем иллюминаторе — молния. Я не большой специалист в этом, но, кажется, шарахнула прямо в самолет — и именно туда, где я сидел. То ли самолетная защита сработала, то ли разряд был совсем рядом, не дотянувшись. То ли Индия схлестнулась в небе со своей страной-антиподом.

ИНДИЯ, 2017-18

Дом

Да что ж это такое творится — я ослеп от счастья, контужен им, и ноги мои не касаются земли, как их ни прижимай к ней. Ну невозможно это — вот так идти поутру по деревне, и все — знакомые и не — одаривают тебя этим непереносимо несбыточным дуновеньем головы из стороны в сторону, и ты, отвечая тем же, видишь, как распускаются их лица в такой улыбке, какая нам, в нашей смертной вселенной не снилась и не уготована никогда. И столько в этой улыбке настоящей открытости и света... И я прекрасно понимаю, что, говоря "настоящей", ни один по ту сторону Индии не понимает, о чем и до какой степени идет речь, не обольщайтесь. Но и не в улыбке дело, это лишь отраженный свет того, что мы давным-давно утратили, а может, и не имели. Того, ради чего и был сотворен этот мир. И если когда-то и суждено ему исчезнуть, то последними уйдут (и именно отсюда, потому что больше нигде этого не осталось в такой живой естественной силе): вот эта свобода — легкая, как воздух, бесстрашная и бескрайняя, и эти боги в печных горшках — куда более настоящие, чем те, о которых вздыхал Мандельштам, и этот лад — и тела и духа, и — главное — этот неизъяснимо чуткий лад их связи с живой энергией по всем полям жизни, и та безоглядная готовность прийти всей округой, всем миром на помощь в беде — свой ли ты, или пришлый. И в той настоящей мере, которая по нашу сторону ожидаема лишь от кровно близких, да и то не факт. А тут — и это проверено на своей шкуре и не раз — это отнюдь не доблесть, а ежедневный быт — для любого. И это легкое дуновенье головы, и эта улыбка, за которую я пойду на смерть. Не на словах, а всей жизнью — за Индию, за мой дом, мой народ, последний на земле, тот, ради которого и приснился этот мир.

31 декабря

Проснувшись в нашей рыбацкой деревушке, где тысячелетья все еще бродят в обнимку и поют на все лады света и цвета, мы сели на веселые продувные брички и понеслись по ухабам сквозь джунгли по-над океаном — к храму Ганеши, который лет сто назад накрыло штормом, и жители деревушки на руках перенесли его на вершину холма и собрали заново. Там мы нашептали на ухо волшебному Ганеше свои упования и козьей тропой спустились к безбрежным пустынным пляжам, где и купались и шли вдоль, и снова купались, а потом на древнем челне переправились через устье индийской Леты и на таратайке вернулись в нашу деревню, где уже кипел в гавани рынок, от которого рыдали б фламандцы со всем их средневековьем, и купили большую акулу на новогодний пир, и еще для салатов — кальмаров, креветок и омаров. И нарядили на нашей веранде, о которую бьют волны прилива, а отлив оголяет первозданную землю, вместо елки — пальмовые ветки, поставили их в горшок, обряженный в сари, и развесили на ветвях диковинных рыб, среди которых — Рани (принцесса) с красной чешуей, и еще россыпи индийских украшений... И сотворили напиток бессмертия, чудесную сому — из не скажу чего. И стол ломился снедью, а над столом на крюке висел волшебный мешок, куда три дня тайно складывались подарки... А потом, к полуночи, взяв пару сотен свечей, коврики, сласти и фрукты, переместились в тишайший храм Шивы и начали выстраивать пространство из горящих мандал и узоров ранголи перед волшебным хлевом Нанди, стоящим между шивалингамом и деревцем тулси, за которым лежала во тьме влажная йони. И вдруг из соседней хижины потекли индусы — семья ключников этого храма, и молча с тихими улыбками влились в наши старания, выкладывали горящие свастики, рисовали мерцающие миры, и это стало вдруг такой естественной единой семьей с ними... а потом, когда они поняли, что нам надо немного побыть наедине с собой, они так же тихо растворились во тьме. Вот такой был у нас Новый год, и наутро, казалось, мы возвращались с далекой-далекой звезды, и прошли века чудес...

Нет, не так, еще раз. Скажите, готовы ли вы умереть или намерены выжить? Дело в том, что сегодня в моей родимой индийской Махараштре празднуют Новый год — Гуди Падва. И в честь этого я сейчас расскажу, как мы с Новогодней группой праздновали 2.5 месяца назад. Держитесь же, камикадзе наслаждений, идущие на смерть!
Нас было 9 человек из разных стран. Утро началось за завтраком на нашем кампусе — в одном шаге от океана, 15 шагах от руин форта короля Шиваджи, и в трех от молитвенного ритуала вокруг священного деревца тулси — с колокольцами, огнем и пеньем семьи рыбака — в доме, где мы живем. О завтраке не буду говорить — зачем же убивать сразу, я еще вас помучаю. Отмечу лишь ее благородие Простоквашу, местную, домашнюю. А так же джем из лучшего на свете манго "альфонсо", который не дают даже в раю ангелам, чтоб не истекли закатным солнцем, а еще — с ума сводящий кофе с Голубых холмов Нилгири, ну и тогда уж — божественной рифмой к нему — белый сыр "панир", о прочем не будем. Ах да, еще "сон-папри" — воздушная халва с кешью напросвет, как буквицами Рамаяны. И вот после завтрака мы садимся на три брички "тук-тук" и едем в очарованную даль вдоль океана, где ни один, прости господи, чужеземец не осквернил собой первозданный мир.
И проезжаем деревушку Пачпандари, длиной в одну улицу и шириной во всю жизнь. Где все хижины распахнуты настежь и видны насквозь, где во дворах вялится серебро рыбы риббон, похожее на арабскую вязь, где свадьбы идут косяком — с женихами-невестами на лошадях и передвижной иллюминацией у пляшущих на головах, где дети не стареют никогда, где живут торговки рыбой в ослепительных сари, с неизъяснимо молодой кожей

и хриплым пиратским голосом, отправляющиеся с просоленными корзинами дважды на день на развеселых таратайках в нашу деревню Харни на светопреставление рыбного рынка. Где нас все знают и любят. Но мы едем дальше — через мосты переправы, через джунгли — в деревушку Анджерла (упомянутую в эпосе) на холм, где стоит храм Ганеши, перенесенный жителями на руках, в ладонях, по камню — с побережья, где его когда-то разнесло ураганом. И шепчем в ухо Ганеше наши тайные упованья, и оставляем ему любимый цветок ибикуса. А в храмовом пруду черепаха играет со священным ожерельем из рудрака. И, перекусив в знакомой харчевне на холме с видом на океан, спускаемся по джунглевой тропе на пустынный — в обе стороны горизонта — пляж, каких на земле нашей, похоже, почти не осталось. И купаемся всласть. Вода — 25, воздух — 27. И ни души. Только необитаемый остров Суварнадурга — чуть левей, в дымке. Тот, куда мы на лодке плаваем проводить дни. А потом мы идем, не одеваясь, по кромке океана, как в первые дни творенья, и доходим до устья реки к переправе на долбленых челнах с шестом — таких, как тысячи лет назад, и под пенье муэдзина переправляемся на тот берег, глядя на вросшие в мангровую зелень по берегам брошенные баркасы. И возвращаемся на наш кампус готовить новогодний ужин. С ранка принесены: акулы, кальмары, лангусты, креветки (величиной с полторы ладони в длину, а не ваши миниатюрные "королевские"), сказочная разнорыбица (10 сортов на уху) — и все это живое, только что из океана. И вот одни из нас готовят рыбу, другие — салаты, третьи заняты фруктами (не буду вас терзать), четвертые — изготовлением пьянящей амброзии из 18 ингредиентов, включая травы... назовем ее медовуха. А пятые наряжают кампус. Елка у нас из трех пальмовых ветвей (если вы понимаете, о чем я). И украшена рыбой — настоящей, в том числе — золотой. А венчает — краб морской. И браслетами мерцает, и сережками, и цепочками, как морская царевна. И горит, неопалима. И две козочки домашние ходят, разглядывают, ммм...эээ — говорят, млеют. И флаг индийский висит, и котлы кипят, и океан у ног, и форт короля за плечом. А под потолком на крюке висит мешок из ослепительного сари. А в нем подарки, которые каждый из нас складывал туда тайно — для других. Чтоб в назначенный час вынимать их вслепую и раздаривать, наряжая каждый подарок пожеланиями. А потом, ближе к полуночи, наступает главное. Мы берем коврики и идем во тьму — куда никто не знает. На плече у меня рюкзак, в котором 108 свечек и еще кое-что. И вот мы в тишайшем дворике деревенского храма, он за спиной, а перед нами — домик-стойло Нанди, ваханы Шивы, а слева — каменный столб Шивалингама, а справа — деревце тулси, а за ним — Йони, и вот этот чудесный бычок Нанди стоит между мужским и женским началом мира, а за его спиной — незаметный маленький храм Ханумана, царя обезьян, там безымянная горит во тьме лампадка. И расстилаем перед Нанди коврики, кладем фрукты. И вот уже выкладываем из свечек мандалу перед домиком Нанди (а он смотрит своими живыми сказочными очами), рисуем узоры (ранголи) вокруг на земле. Но что за диво: из тьмы, из прихрамового дома — тихо, почти незаметно — к нам подсаживаются женщины, старики, дети, и с молчаливой улыбкой уже выкладывают с нами мандалу, зажигают ее, рисуют ранголи — как будто тысячу лет мы здесь, с ними, как одно, единое. И таинство, и волжба, и вдруг коровки выходят из тьмы и ложатся поблизости. И тишь, звезда над домиком, как там, в Назарете...

Адам

Так его и зовут, сухонького старика с лицом ребенка. Мусульманин. А живет в индийской рыбацкой деревушке. Вернее, в земле, в яме, которую выкопал на краю деревни с видом на волны. А неподалеку — в большом доме — сын с молодой женой и мать, жена Адама. Что ж ты, сукин сын, говорю я сыну, позоришь мою родину, отца родного в могиле

живьем содержишь, жрешь сладко и спишь на белом? Адам приходит на следующий день и плачет у меня на груди: не надо его корить, мне хорошо там, на свободе. Он подрабатывает слегка, ходит с ведерком, красит, кому что надо. Я его научил ровные филенки проводить, а то он от руки вел их, как создатель мира. А потом подрядил красить стены в тех номерах отеля, где группы наши индийские потом размещал. Он всё с торбочкой своей не расстается, там среди прочей мишуры — открытки и писульки выцветшие от иностранцев, с которыми ему довелось познакомиться тут — может, лет 500 назад, во времена Васко да Гама...

10-я мандала Ригведы

В индийском штате Махараштра в захолустной и чудесной рыбацкой деревушке Харни есть несколько маленьких храмов, в одном из них каждую субботу в десять вечера собираются 10-15 жителей с соседних улочек — разные: брамин, зеленщик, аптекарь и др. — садятся в круг на полу перед алтарем и в течение часа поют песни на стихи средневековых поэтов, причисленных к святым. Сопровождается это пение игрой на индийской гармонике, табле и различными колокольцами.

И вот однажды, в пятницу, встретив на бегу одного из участников этих «баджан», я сказал ему: а давай соберемся завтра в храме на час раньше, есть у меня одна затея, совместная, я хочу прочесть с вами свой перевод на русский 10-й мандалы Ригведы (древнейшей, одной из самых важных, где речь о сотворении мира и оставшихся в связи с этим вопросах). Да, ответил он, Шреас, сын брамина, учитель физики в колледже ближайшего городка.

А надо сказать, что затея-то была, а вот плана у меня никакого не было. Единственно, купил свечей — выложить горящую мандалу на полу у алтаря. И вот, уже идя второпях к храму, я пытался представить: вот мы окунаемся в первый миг творенья, и даже чуть до, значит, надо бы начать с тишины, потом первозвук… каким бы он мог быть? И на каком инструменте исполнен? Наверное, на гармонике, она извлекает звук путем воздуха, дыхания, праны (одна рука при игре на ней — на клавишах, другая подкачивает воздух, порождая звук). Какая-то одна нарастающая нота, потом тихо вступает ритм, табла… Затем уже обволакивание колокольцами. Потом всё стихает и начинается речь. Читаю в тишине. А потом они акапелла поют на языке марати (на пракрит марати, то есть архаичном разговорном) дивную, любимую мной песнь на слова поэта XIII века св. Днянешвара (песнь называется Пасьядан, это молитва-гимн всему живому во всех трех мирах, обращенная к материнской ипостаси бога (будь и сияй, господи, в каждом своем дуновении — и в стебле травы, и во мне, и самосознании солнца…), написал он это в 15 лет, а в 21 вошел в самадхи, поскольку счел свою земную миссию исполненной.

Ну вот, с этим зыбким наброском в уме я вошел в еще пустой храм и только успел выложить на полу и затеплить мандалу как они начали собираться. Оставалось всего ничего: быстро, поскольку время уже поджимало, объяснить им, что мы сейчас перемещаемся в то мгновенье, которое предшествовало сотворению мира, и отсюда, то есть оттуда будем извлекать звук и понимание того, что нам надлежит делать. Объяснить, при том что по-английски среди них говорил лишь Шреас и его отец брамин. И, видно, я

как-то авантюрно надеялся, что всё это будет подхвачено ими в одно касанье, что мне, человеку из совсем другой культуры, не говоря о музыкальной, которой и вовсе нет, да еще и в их храме, не придется им на пальцах показывать, каким бы мог быть этот первозвук, и как и в какой последовательности нам плести этот неведомый узор. Но поразительно, с какой творческой чуткостью и без каких-либо амбиций они следовали моим косноязычным подсказкам. Следовали и опережали.

И напоследок. Нельзя сказать, что Ригведа и ее 10-я мандала (грандиозная, бездонная, в метафизическом смысле, думаю, во всем мировом эпосе один из первостепенных текстов) не переведена на русский. Переведена, как и все основополагающие книги индуизма. И переводы эти превосходны. Да, по академическим меркам. Но мир индусов создан с голоса, в основе мира — спанда, изначальная звуковая вибрация, струна, ее колебания между верхом и низом (Веревка и ее Натяжение). Вот эта изначальная энергия, порождающая мир и составляющая форму и суть священных книг (назовем это измерение щадяще мягко: поэтическое) пребывает в известных нам переводах, на мой взгляд, далеко не в определяющей мере. В своем переводе я попробовал это положение хоть сколько-то изменить…

Остается сказать, что происходил этот русско-индийский "баджан" на краю вселенной, один из первых дней нового 2018 года.

История

Нет, все же Индия упоительно невозможна. И, наверное, слава богу, что всякий раз к вечеру я уже едва помню происходившее днем. Я бы и этот чудесный эпизод забыл бы через пару часов. Шли мы вчера к офисному егерю в небольшом городке, где в округе никакого зверья нет и быть не может. Но послушать егерей — так их уж не меньше, чем людей и домов, только приглядеться надо: и леопарды по улицам бродят по ночам, и питоны на ветвях висят. Так вот, по пути окликает нас один из младших лесников и зазывает на чай, и пока жена нам его заваривает, он рассказывает в ответ на мой вопрос о недавних случаях в лесу. Да, говорит, вот леопард свалился в кита... В кита? — переспрашиваю и думаю: ну невозможно ведь, но это же Индия, что ж тут невозможного, ну выбросился кит на берег, ну, наверное, начал разлагаться, и вот безлунной ночью подходит леопард, взбирается на эту гору и, оступившись, валится в эту левиафанову бездну... В общем, выяснилось, что не в кита (который звучит: вэйл), а в колодец (вел). И вот опустили они клетку в этот 12-метровый колодец, а леопард — надо же — не хочет в нее входить, вспрыгнул на нее и стоит на ней. Тогда этот улиссоватый лесничий придумывает следующее: медленно спускает к нему на веревке горящую тряпку: и леопард — ап! — и шмыгает в клетку.

Весы

Вчера пришлось укокать скорпиона, а сегодня спасен крысенок. Ох весы небесные, не пусто вам...

Неопалимые леса

Полыхает лес. Еще полчаса назад этого не было — только гирлянда фелюг в ночной ловле кальмаров играла огнями. И вот — обернулся: и мир другой. Там, левее холма — устье реки, впадающей в океан и выпадающей из него, и безлюдье до горизонтов, безвидный песок и небо. Туда везет маленький сухенький Яма на просмоленном челне. Там мы сегодня купались в безвременье. А вот про горящий лес я все никак не спрошу у лесников — как это они умудряются так его поджигать, что он горит, не сгорая — неделями, по всей Индии — огненными письменами, а перелистнется на чистый лист — и все деревья невредимы, только трава сгорела. Индийские будничные чудеса.

Пещеры

Я наконец нашел его! 5-метровый крокодил в заводи у джунглевых пещер Панхалекаджи. Их здесь около 60, как мне говорили пастухи, но в течение двух лет все мои попытки обнаружить их оставались тщетными и само их присутствие здесь — лишь легендой. А тут — прямо напротив главного пещерного храма и именно там, где я мою фрукты для нашего пикника с группой. Про эти пещеры я уже писал и показывал — 2 век до Христа, поселение буддистов, потом забвение, потом обжились индуистами, которые так же странно исчезли спустя несколько веков. Две религии переплелись в них навеки — фигуры будд вперемеж с ганешами, ступы вперемеж с шивалингамами, обломки и фрагменты в траве, на которых сидят обезьяны. Пещеры мирового уровня, никому не известные, в интернете (английском) всего несколько строк — о 28 пещерах, впервые обнаруженных лишь в конце прошлого века. И вот в начале февраля я увидел 29-ю — вообще никому не ведомую, кроме пастухов и нескольких крестьян из ближайшего хутора. Она в стороне, в 2 км. от вереницы пещер, вытянутых вдоль реки. Потрясающая…

Сезон

Начался сезон индийский свадеб: раздвигая горы и глуша океан, тут, в округе рыбацкой деревушки Харни, будут колошматить барабаны в несколько дюжин рук, будут вести под уздцы лошадь с восседающими на ней женихом и невестой, будут танцевать рыбачки — сотни, в ослепительных сари, серебре и золоте, будут тащить на веревках папилац-генератор, дающий передвижную иллюминацию, будет звучать та музыка, от которой, однажды услышав и ухнув в танец вместе с ними, уже не избавиться от нее — ни на этом, ни, похоже, на том свете. И длится это будет круглосуточно, не смолкая — дни, недели, месяцы, одна свадьба переходит в другую, и дороги, по которым идут танцующие процессии, заплетаются в горящую, перерисовывающуюся день за днем мандалу.
Но вы не найдете ни одной свадьбы в ноябре, например, или январе, но, скажем, в феврале ими трясет всю Индию — по 10 свадеб в деревне одновременно. Потому что ТАМ (наверху, в Книге) всё написано, и потом — определяется день по Джойтиш — для зачатия, и к нему приближаются осмысленно, с множеством ритуалов — потому что это не наше европейское хухры-мухры, а там уж как получится, если тест покажет, а рождение мира меж двумя, к которому идут день за днем к единственному и навсегда мигу. Она — девственница, и он — до поздней молодости сохранивший чистоту. И их — миллиард.

Школьный праздник

В рыбацкой деревушке, доме индусов, где мы квартируем, к вечеру начали наряжаться дочки хозяина, школьницы. Оказалось, сегодня праздник их школы (который у каждой школы бывает раз в год). Кстати, уровень образования в этих захолустных школах, где во многих по-прежнему дети сидят на полу, зачастую повыше европейского. 8-летние тарабанят на трех-четырех языках. И школы все разные — с выбором предметов и языков. Так вот, знаете, до которого часа длится праздник? до 2-3 ночи, и малявочки не отсиживают по принуждению, а живут там всем умом и сердцем, каждой своей невзрослой жилочкой. А на сцене — костюмированные представления, исполняемые учениками этой же школы — сложные, постановочные, театрально-танцевальные, около 50 разных. А потом к полуночи на сцену приглашают отцов деревни и дорогих гостей из ближайшей городской округи, и спонсоров школы. И они говорят краткие речи, дарят подарки, награждают победителей конкурсов, олимпиад и пр. Пригласили и меня как уже почетного жителя деревни, и я произнес речь о счастье и свободе, и родном доме, которым стало для меня это индийское Макондо за три года. И повесили на меня венок цветочный…

Каннур, тейям

Позабавлю-ка я вас байкой про себя — гомерически-героичной. Но вначале — два слова, где я и как провожу дни. Я в страшной волшебной сказке — кавере на Чевенгур. Городок на побережье северной Кералы, называется Каннур, сюда мало кто заглядывает, делать тут нечего, да и стрёмновато — полиции чуть ли не больше чем населения, но она отсиживается по краям этого варева из криминала и раннего коммунизма. При слове «социализм» в глазах у большинства стремительно восходит солнце слез. Агитаторы на драндулетах с громкоговорителями утюжат город круглосуточно. Вот в этой кануре коммунизма, безобразно прекрасной смеси индийского Манхэттена и трущоб я и живу уже неделю, проводя дни так: утром иду на соседнюю стройку со своей немецкой турочкой и тамильским кофе, там временно тусуют два индийца неопределенного возраста и этноса, у них газ-баллон и плитка, варят чаны еды, пекут чапати для 40 разбойников, с которыми дрейфуют по стране. Один из этих двоих, показывая на второго, говорит: это моя жена. По-английски они не слова, но мы ладим, я варю кофе, угощаем друг друга. Потом я сажусь на бричку, показывая рикше клочок бумаги с адресом на местном языке очередной непроизносимой деревушки в джунглях, куда еду смотреть тейям — языческое представление, неописуемое. Если остаюсь там до ночи и выбраться уже не на чем, ночую на земле на подворье храма, вперемеж с не пойми кем, перед тем подкрепившись на дармовой прихрамовой кухне вместе с местными. А на рассвете возвращаюсь — уж как придется, вчера, напр., с милейше застенчивым полицейским в юбке (лунги) на его машине. Так вот, на днях попал я на тейям, проходивший в храме на окраине Каннура (обычно он в деревнях, в глубинке). И вот он закончился где-то к трем ночи, все разошлись, но еще две-три сотни праздных осталось на подворье, а я под деревом сижу на стуле, уткнувшись в камеру — надо бы удалить что-то из видео и снимков, уже на карте памяти и в компе не хватает места. И тут какие-то слегка обкуренные, подзадоривая друг друга, начинают вокруг меня петушино выхаживать, окликая, гогоча и уже похлопывая по спине, поскольку я не обращаю внимания. Прежде у меня таких ситуаций не случалось, где бы я ни был, да и тут я бы не дал хода такому развитию, но я ж у себя дома, а это детки, ну резвятся, ну заигрались немного, в общем смотрю в глазок камеры, досматривая видео и не обращаю. А там уж вокруг прям театр —

с полсотни, похоже, милых пританцовывающих вурдалак, а самый разудалый из них уже подлез к ногам и снизу пытается достучаться через объектив. Я как раз досмотрел видео, выключил и — хвать его — думал, за ухо, а поймал за нос. Все замерли. Я показываю ему на стул рядом с собой. Он, еще не опомнившись, послушно начинает садится, а я вдруг выдергиваю из-под него этот стул и он грохается оземь. Гробовая тишина партера и галерки взрывается хохотом и аплодисментами. Растерянный засранец, приподнимаясь, озирается. Из-под соседнего дерева встает дед, пахан этой своры, подходит, смеясь, и жмет руку. А я отправляюсь на бричке в пригородную деревушку на следующий тейям.

*** * ***

Сейчас 3 ночи, я нахожусь хрен знает где — в какой-то деревушке на краю джунглей, чье имя не знаю, в окрестностях Каннура, одного из самых неблагополучных мест индии. Только что закончилось магическое действо вокруг храмового костра с изгнанием духов пр. чудесами, следующее начнется в 5 утра. Выбраться отсюда невозможно, публика разошлась, остались только полуголые медиумы, спящие на земле и догорающий костер. Пойду и я прилягу.

*** * ***

Как же я рад таким вот снимкам, когда всё так просто — и по композиции, и по свету, цвету. И вот эта, из простых, казалась бы, элементов создаваемая бездонность и вневременье — живое, настоящее, неизъяснимое, куда можно уходить взглядом веки вечные, даром, что говорят бедные западные философы, что время созерцания кончилось. У каждого, конечно, своя одиссея взгляда, со своей драматургией узора. Но я тут знаю еще и подоплеку кадра: это очень непростая ночь, идут одна за другой три мистерии Тейяма, связанные между собой, третья — финальная — страшная и прекрасная: актер-медиум, исполняющий Махавишну, укрощающего дух Огня (Агни) будет швырять себя в этот огонь, догоревший к рассвету до огромного зиккурата невыносимого жара. Ложиться плашмя — всем телом и лицом в него под дробь дюжины барабанов и вставать — и так более ста раз. На рассвете. А сейчас идет второй тейям, середина ночи, и этот медиум, предшествующий третьему, глядит чуть в сторону от огня, в котором горят 20 тонн тамариндового дерева...

*** * ***

В гримерной Тейяма, перед выходом. А вообще мне смертельно стыдно. За нас, гогочущих, жрущих, лезущих по головам, снимающих на мобильные — вплотную, в глаза, со вспышкой, и даже когда эти актеры уходят на миг в "карманы" сцены, чтоб передернуть сознание, вернуться в себя, устоять, даже в эти мгновенья их не отпускают, лезут сплошной толпой — снимать в лицо, с расстояния 10 см., да и я туда же, хотя и стараюсь стоять в стороне, пользуясь зумом (бессмысленным здесь из-за толпы, хорошо если из 200 снимков один проявится в просвете голов). А они терпят, они даже как бы не видят этого, они в том, где кончается искусство. Они, шудры, низшая каста, ниже некуда. А мы кто?

Аннам

Вот мы только покинули древние и пустынные буддийские пещеры в джунглях, где на наш пикник посматривал их заводи 5-метровый крокодил, вот мы трогаем кровать

великого бога Паршурама, спящего в храме на холме ежедневно с 7 вечера до рассвета, вот мы перемахнули на свистящем веселым цыганским ветром поезде пол Индиии уже в Керале, и уже в дальней деревушке у реки смотрим великую и нигде больше не существующую древнейшую индуистскую мистерию — тейям, и вот уже перемахнули горы на марсианском автобусе и въехали в Тамил Наду, в лучший из заповедников — Мудумалаи — и все это за два дня. И, едва успев умыться с дороги, уже понеслись в ночь -- на грандиозный храмовый праздник в соседнюю деревню. Пять дней и ночей длится этот маленький местный праздничек, помноженный на звездное небо людей, ими горят и мерцают все лесные дороги, машины стоят часами в пробках, слоны и тигры отошли вглубь джунглей, забиты около тысячи жертвенных козлов, дымятся чаны, а вся огромная территория вокруг храма местной богини Аннам, чью историографию не ведает никто превращена одновременно в Луна-парк, вокзал с отмененными поездами, бурлящий рынок, цирк и бог знает что еще. А по сторонам растянуты шатры — десятки, а может, и сотни, они же маленькие храмы, они же ночлежки, они же… И идут пританцовывая с высокими цветочными горшками на головах женщины в трансовом танце, и бьют барабаны, поют дудки, и мужчины хлещут хлыстами по ногам этих менад — почти до крови, скрепляя связь с богиней… Ладно, я еще напишу про эту ночь. И про горбуна с крохотным храмом на спине, и о факире с попугаем, вытаскивающим из колоды карточного индуизма твою судьбу.

59

Сегодня мне 59 — как и год, в который родился. Сейчас раннее утро, съем яйцо и пойдем в джунгли — за поздравлениями, да и просто побыть в тиши с настоящим. Где-то далеко позади книги, люди, жизнь, где-то совсем вблизи бродит черная пантера, о которой так долго мечтал, и стоит у дерева слон, прослушивая его своим фонендоскопом, как уездный доктор юную Кити.
Мамочка моя Майя в этом иллюзорном кружеве жизни, продержись мне пожалуйста и пусть тебе будет светло, нас так вдруг не много осталось...

Таскер

Что с тобой было, Сережа, ответь. Теперь, выйдя из джунглей уже в темноте, возвращаясь в человеческие очертанья, ответь. Счастье, трудное, почти невозможное — из тех, что встречаются лишь на краю.

И вот ты уже идешь по знакомой тебе тропе вдоль узенькой речки, шириной в полтора обезьяньих прыжка и глубиной по грудь оленю. Камуфляж, нож на ремне и камера, и годы облетают с тебя, как листья, — только вошел в лес — и лет тебе 20 и еще два маленьких с улыбкой до ушей. Долго же ты ждал этого дня, не все так легко дается, возвращая настройки, утишивая «человеческое», вот мангуст метнулся с тропы, обернулся, вот пятнистый олень замер в нескольких шагах, вглядываясь в тебя, и прянул. Отводи, отводи потихоньку в сторону всю эту радость и самонадеянность, все елки, все золотые шары, всю эту самозванную речь и всё, что как человека тебя без тебя на себе поженило. И оставь эти тщетные упованья, что когда-нибудь тебе удастся об этом сказать — об этом переходе. Никому и никогда: те немногие, у кого есть этот опыт — молчат, а говорят — по ту сторону, с зыбкого людского островка. Либо-либо. И все же ты пытаешься создать

эти навесные мостки, утешая себя тем, что по крайней мере делаешь это с обеих сторон, понимая всю невозможность этой затеи. И, чем ближе, как мнится, подходишь… тем, как говорил Кафка совсем по другому поводу: никто не прочтет, что я здесь напишу.

Так ты еще по инерции бубнил, Сережа, от возбуждения, от долгой разлуки с лесом, бубнил, продолжая стряхивать очертанья, входя в режим других настроек — внимания, чувств, предельной открытости и чаемого родства с тем, что держит нас как существ с точки зрения природы безумных (Лотман) на проклятом расстоянии.

И тут, еще находясь в этом промежуточном состоянии «антропоцентричных» шумов, что для экстремальной, то есть реальной встречи в джунглях не лучший случай, я повернул голову и — прямо передо мной, вдруг сгустившийся из воздуха, из ничего (как мир) стоит огромный слон, таскер. Стоит по ту сторону ручья в 10 секундах от меня, если захочет меня убрать. Стоит вполоборота, не смотрит на меня, но, конечно, видит: я, хоть и затаив дыханье медленно присел, но мы оба открыты друг другу, ни деревца между нами. Он опустил хобот в ручей, но не пьет, а набирает воду и выливает (как это делают индусы, исполняя ритуал речной пуджи), и я не только умом и опытом, но и кожей знаю, что сейчас происходит меж нами и в нем. Не всё, но кое-что знаю. И, помимо этого, знаю и то что случилось ночью накануне. Раздухарившиеся заезжие индусы отправились в лес на машине (хотя дороги на ночь здесь перекрыты) и на въезде ткнулись в стадо слонов, задев вожака. Я слышал, сидя у себя на веранде, его странный, вдруг съехавший на фальцет, трубный рев. Он даже пытался в ответ догнать их, но они успели вывернуться, хотя и были затем пойманы лесниками. И вот что важно — что мы упускаем из виду, нередко тем самым лишаясь жизни: то, что записано в их памяти — все рубцы и незажившие раны от встреч с людьми. Не говоря уж о просто ситуативном эмоциональном рисунке их состояния. Мы-то думаем, вот как чудесно всё, и все настройки светятся, и все правила живой материи соблюдены, а — беззвучный щелчок — и слом сценария, и нет нас. И вот я смотрю на него: не утихшая боль, в правой задней, похоже. Местные утром на пальцах мне пытались пересказать: вроде бы не покалечен, только ушиб.

И — это словами не объяснить — я вижу (не глазами), что происходит в нем сейчас и почему он стоит вполоборота, не поворачивается и не смотрит на меня, как в нем колеблются эти весы. И считывает меня — все, из чего я сейчас состою, и не хочет испытывать себя этим поворотом ко мне, болью, памятью, не сдержанной яростью — не хочет. Переливает воду опущенным в ручей хоботом, туда-сюда, и смотрит чуть в сторону от меня. И я всё это чувствую, такой яркий свет внутри этого коридора меж нами, как в операционной. И я — чувствуя, как это напряжение чуть отпускает и позволяет — приближаюсь, пересаживаясь на несколько шагов ближе, и еще, и потом еще, чтоб не мешал камере куст между нами. И он позволяет, терпит и, еще постояв так, скосив на меня глаз, перемещается в чащу, но не далеко, вот он, совсем рядом. А правее, и об этом я пока не говорил, но самого начала держал в поле зрения, стоят в глубине древесной тени две слонихи, и меж ними пасутся пятнистые олени, а на верхушке дерева сидят обезьяны — лангуры, и садится солнце за голубые горы.

И я отложил камеру и просто сидел и слушал их дыхание, в какие-то мгновенья, казалось, как свое. А потом, на обратном пути, уже почти в темноте нашел ветвистый рог оленя — вот он, в углу комнаты лежит, сделаю тут новый нож с этой рукоятью на память. Вернулся, поужинал, лег, открыл компьютер, думал написать, но ни сил, ни слов, так и уснул полулежа, с открытым экраном. А среди ночи — стук в окно, Прабакан зовет: слон пришел к дому, но я уже не вставал — открыл глаза и закрыл.

Дети

Как же мне теперь рассказать о том, что вдруг взяло в ладони и взметнуло в небо, и ничего от нас не осталось, кроме чистого света и счастья, кроме того, чего с нами, взрослыми, тяжелыми, мертвыми, не бывает. И сотворено это было с нами в один миг, но не на щелчок волшебных пальцев, а вот этими неземными индийскими детьми, их сиянием, щебетом, смехом, невозможным голым солнечным родством. Это из тех событий, которые одним прикосновением смывают все грехи смертные и переносят в рай, но штука в том, что они же и контузят, не давая перенестись, потому что взрослые, потому что не парим в чудесах, и потому срабатывает чувство самосохранения, заземления — не у всех, но у многих, и переводим взгляд на другое, и уже между чудом и нами — легкая занавеска...

Так и с нами было. И уже полчаса спустя ехали мы по джунглям на джипе, увидели медведя, подошедшего чуть ли не к колесам и не замечавшего нас, и — были уже целиком в этом, потом в другом, третьем... Тем и спасались. А дети засыпали в эту ночь на голых полах, но не касаясь их, а чуть паря в сне и улыбаясь до ушей от счастья. И школа эта находится буквально на краю света, в крохотной деревушке Мойяр, куда на ночь перекрывают дорогу, потому что она в заповеднике и за ней — только безлюдные страшные и прекрасные джунгли. Дети-адиваси (лесные люди), живущие за чертой нищеты и на такой сияющей высоте, что нам и не снилась.

В эти же дни, когда мы посетили школу, каждый вечер на закате выходила из лесу черная пантера и стояла на холме у лесного храма Чика-мандир, глядя на деревню. Я знаю эту школу и этих детей, и ее директора Прамота еще с прошлого года. И конечно, год спустя, дети узнали нас и встретили веселым тигриным рыком, которому я их в шутку учил, они-то не понаслышке знают о нем.

И вот еще, напоследок: когда я спросил детей (в другой школе) о смысле жизни и они призадумались, учительница улыбнулась и сказала им: разве вы не помните три главных правила, чтобы вырасти человеком? И они встрепенулись нестройным хором: Читать книги! И учительница загнула один палец. Читать книги! — грянули они. А третье? — спросила она. Читать книги!

Водные процедуры

Я просто сидел и смотрел, выключив камеру, сидел и смотрел, как эта, думаю, 30-35-летняя женщина, нисколько не тревожась моим присутствием — настолько, что я передвинулся ближе, и еще и еще — занималась своими водными процедурами. И как! Как мило эта слониха ставила ножку на парапет, игриво смахивая птичку, набирала воду, полоскала рот после еды, как умилительно изящно осьмушкой попы села на краешек парапета, разве что не одернув платье, как потом подняла хобот и что-то там несбыточное рисовала в воздухе над собой... И конечно видела меня, всё время видела, не глядя. И, господи, какое же это счастье — быть в ее взгляде, пусть даже немножко самонадеянно, но не чем-то чуждым, инородным, а вот таким же, как этот куст, ручей, свет... просто быть.

А потом, когда она ушла и уже начало смеркаться, а я всё еще сидел на берегу ручья, на меня вдруг слету на миг присела ласточка — прямо на голову. И я только успел прошептать: ластуся... И она взмыла в небо. Хочется думать — от счастья.

Да светится имя твое

Сегодня День Индии. Нигде и никогда у меня не было такого чувства дома — как в счастливом и страшном бессмертном детстве, но не родительском, а всего мироздания как родного двора. Да светится имя твое, Индия, радость моя и свобода!

День за днем

Есть в Индии слоны, которых зовут макна (или махна) — титаны, о которых нам всё еще мало что известно, у них не бывает бивней. Но в поединках они валят, как солому, любого бивненосца. Сегодня я видел его. А перед тем, у излучины, смотрел на медведя-губача, который рылся в листве на том берегу. А еще часом ранее был в древнейшем неизъяснимом джунглевом храме Дурги — с капищем в баньяновой рощице и рекой безвременья, и участвовал в домашнем молитвенном ритуале, проводимом там племенем Илурас — вперемеж с приготовлением еды на костре, смехом и разговорами на языке тамилов. А утром завтракал в доме приятеля-индуса, сидели на коврике на крыльце и ели приготовленной его женой санскрит счастья — вереницу волшебных блюд, и вставало солнце над джунглями, над лучшим в Индии заповедником, в сердце которого мы и живем. Настолько в сердце, что ночью того же дня по внешней лесенке нашего дома на второй этаж поднялся медведь. А в сотне шагов по огородам прошел слон. Здесь это будни. А сегодня видел винную змею, переметнувшуюся через дорогу прямо перед ногами — нежно-зелено-солнечную... Но к вечеру я уже забыл о ней, отдавшись приготовлению семиярусного кролика, вернее, супа-соте-жаркого из кролика с 9-ю протушеными овощами, простоквашей и еще не скажу чем...

Процессия

Возвращаясь из джунглей, смотрю — движется процессия по деревенской улочке: впереди музыканты, за ними паланкин несут праздничный. На храмовый праздник не очень смахивает, на демонстрацию, как и на похороны — тоже. Приближаются, в паланкине — малюсенькая безучастная старушка полу лежит с закрытыми глазами. День рожденья у нее, 96 ей. Еще немного поживу в этом Макондо и меня, может, вот так понесут, опыляя округу дологолетьем.

Чай со слоником

К вам приходит слон на дом два-три раза в неделю? А ко мне — да. Вот только что, сижу на веранде, леденец за щекой, с мамочкой, которая в Мюнхене, разговариваю по телефону. И тут — легкий такой шелест в огороде за пальмой. Ну-ка, говорю, подожди минутку, я тебе перезвоню, тут мне надо... Включил фонарь: ба, стоит, в десяти шагах, весь наш разговор с нею слушал и молодой бамбук наяривал, да фасолью с огорода

закусывал. Не понравилось, когда луч фонаря в глаз попал, головой качает, я перевел ниже. Самец, большие бивни. Прямо лицом ко мне стоит. Взял камеру, но пальма и кусты мешают — он за это время чуть сместился. А собаки притихли. Надо же — когда кабанчики или олени — вся деревня лаем заходится, когда медведь (как позавчера) — ну один-два храбреца голос подают. А как слон — тишь. И ведь пол деревни проходит, между домами, по полям-огородам, бесшумно и незримо, и знает — как, где, когда пройти. Стоит. А снимок не получается. Тут на мой фонарь и сосед-фермер высунулся, а слон у него под носом. Тот и давай выкрикивать, стегать голосом: хэй, хэй! Ну и мне пришлось уж поддержать. Так мы его с двух сторон и погнали через фасольное поле.

Божечки, сказал бы мне кто-нибудь в детстве, когда я заглядывался на инопланетный кубик индийского чая, что не пройдет и пол века, мы с ним подрастем и он будет приходить ко мне под окно дважды в неделю в самой что ни на есть Индии.

Ладно, пошел-ка я спать. Праба (с ударением на последнем, это хозяина так зовут, у которого я квартирую, хотя он говорит, что это у он у меня — спит в соседней комнате справа, а слева — Пушкин, в кухне, а я на веранде сижу за круглым столом), говорит: ты подежурь слонов-медведей-кабанчиков до 2 ночи, а потом я тебя сменю.

А чайханщик сегодня мне говорит: ходят слухи в деревне, что ты на тамильском языке разговариваешь. Да-да, еще поживу тут и на санскрите запою.

Летят пичужки…

Вчера в джунглях, уже в темноте, меня мотало меж тем светом и этим. В течение часа я был по ту сторону дважды — из тех, что мог сосчитать, а уж сколько помимо — Там написано, как говорят индусы, указывая вверх. То есть вчера я — дважды рождённый, вернее, трижды.

Вопреки расхожим представлениям, лучше десять раз столкнуться лицом к лицу с тигром, чем один со слоном. С любым обитателем джунглей есть шансы и варианты, но с ним — если он принял решение — ни одного. Те, у кого есть опыт сафари, пребывают в том же плену заблуждений: человек в джипе не воспринимается животным как человек, но стоит сделать шаг из машины — ситуация мгновенно изменится. В Индии ежегодно слонами растаптываются тысячи людей. Позавчера в крупнейшем национальном парке Нагархол, где я был в прошлом году, затоптан директор парка, патрулировавший заповедник в сопровождении трех джипов, полных егерей с ружьями. Егери — врассыпную, директор — в лепешку. Дело секунд. В этих джунглях, куда я ежедневно хожу, несколько сотен слонов: бывает — тишь, ни одного, а бывает — не пройти, чуть не за каждым деревом. В этот лес люди не ходят, да и запрещено. К иностранцам тут особо воспаленное отношение — после того, как недавно была насмерть затоптана француженка, а перед ней англичанин. И оба случая даже не в джунглях, а на краю деревни, куда и слоны и медведи ходят ежедневно, а леопарды таскают собак.

Обычно я хожу в джунгли на закате и возвращаюсь так, чтобы выйти из них с наступлением темноты — не «до», а «с». Зыбкая и рискованная грань, поскольку обратный путь у меня один, без вариантов: по звериной тропе вдоль речушки шириной в полтора обезьяньих прыжка и глубиной по колено слону. Чуть в стороне за лесом проходит дорога — туда нельзя, поскольку сразу заметят местные и егеря. Хожу я без фонаря — по той же причине: свет с дороги на некоторых ее отрезках может быть виден. Я к тому, что, если на обратном пути, когда с каждой минутой темнеет, я столкнусь со

слонами или тигром, или медведем, вариантов у меня будет с гулькин нос.

Именно это и случилось вчера, когда я к тому же засиделся в джунглях дольше обычного. Возвращаться мне было где-то с километр, и за первым же поворотом тропы, обогнув куст, я буквально воткнулся лицом в бок слона, стоявшего над ручьем с опущенным в него хоботом. Отшатнулся — как в замедленной съемке, прянул на пару шагов назад, развернулся и медленно (быстро), чуть касаясь земли, стараясь не хрустеть сухими листьями под ногами, вернулся назад, к узенькому мостику — слабенькой, но все же защите. Не оборачиваясь шел, а что толку — встретиться с ним глазами напоследок? Слоны в лесу — и это еще одно заблуждение — тише бабочек и незримей комара, в густых джунглях они могут пройти стадом в нескольких шагах от тебя, и ты ни сном, ни духом (если оставят жить). Я не знаю, как так произошло, что он даже не повернул головы ко мне, когда я едва не ткнулся в него лбом. Это против правил природы, уже совсем за той чертой, когда это еще можно как-то объяснить. Дистанция была более чем конфликтной, не оставляя шансов для маневра. Такое редко, но случается между животными, и тогда они разруливают ситуацию уж как могут. Выдохнул на мостике. Но что же делать? Оттуда мне его не видно. Темнеет. Слышу, как он пьет, с шумом втягивая воду. Перехожу мостик и иду к нему по той стороне ручья, который для него вовсе не преграда. Риск, да, но еще больший — потерять его сейчас из виду. Вот он. Нет, их двое там! Или трое — с маленьким, этого мне еще не хватало! Стою на виду у них, чуть по диагонали, в шагах 20 через ручей. Перевел камеру на режим ночной съемки, чтоб хоть как-то видеть, они-то меня еще как видят. Но странно, никакой тревоги не заметно, пьют. Но тут всё обманчиво, и ситуация может изменится в одно мгновенье — вот они там, а через — сколько им нужно, чтоб оказаться здесь — 5-7 секунд? 30 км в час с места. Вроде бы уходят, не вижу, совсем стемнело. Прислушиваюсь. Тихо.

Возвращаюсь на мостик, жду несколько минут, и иду по той же тропе. Вглядываясь в каждый шаг, вслушиваясь, и — ровно на том же месте, огибая куст, втюхиваюсь в его дышащий бок. И вслед за этим — долгий трубный всос воды, и выливает ее в ручей. Я снова отпрянул, назад — к мостику, всё повторилось.

Надо же, ушли ведь! Нет, вернулись — не допили. На вытянутую руку ничего не видно. Попытаться проскочить у них за спиной — между ручьем и дорогой, по ночным джунглям оленьими тропами с непролазным колючим кустарником? Во тьме, ничего не видя, — нет, не вариант. Ждать? Идти к дороге? Нельзя.

И все же — иду. Машины редкие, дорогу через полтора часа закроют на ночь до 6 утра. Бегу по обочине. Фары вдали сзади, метнулся в кусты, сжался в комок, проехала, не заметили, снова бегу. Снова фары — впереди. Успеваю кубарем скатиться в ров, проехала. И опять бегу. Слоны где-то рядом, в любой момент могут выйти, и фары в любой момент…

Вон уже и огни деревни. Добежал. Присел во тьме, снял нож с пояса, спрятал в рюкзачок вместе с камерой, добрел до столовки, поужинал, вышел: ослики бездомные пришли на автобусную, пересчитал: 12. А один заревел вдруг — так жалобно, так сердце сжалось у меня, что чуть было рот не открыл, чтоб вместе с ним… Купил булок, чтоб каждому дать, а они боятся, пятятся. Собаки их гоняют, и люди тоже, палками. Вот странно, при их отношении к коровам и вообще к животным, эти — изгои… Накормил все же. Вернулся. Даже видео не смотрел снятое. Просто сел на веранде во тьме, смотрел в никуда, ну и денек.

Нет, ни страха, ни тем более паники там не было, конечно. Была работа. Работа жизни. С той базовой, ближайшей к нам энергией, с которой у нас такие кривые связи, если совсем не утрачены. И без которой пути письма, столь жизненно важные для меня прежде, слишком самонадеянны и ничтожны. Но горький парадокс в том, что чем ближе к этому опыту, тем дальше отступает письмо и безлюдней речь.

Были ли ошибки с моей стороны — там, в лесу? Об этом завтра, а сейчас — надо бы помыться, набрал ведерко теплой, сел, поливал себя из ковшика, чуть не уснул.

И что же теперь делать? И как идти в лес? А не идти как? И о чем вообще разговор? Как вздохнул Битов, когда сидели с ним у него на кухне в Москве и говорили о неизъяснимых барьерах между культурами: «Летят три пичужки через три избушки… Ну кому я это объясню?» Вот и я — в своей, родной, среди своих — кому?

Серпантин

Вышел из какого-то иномирного автобуса, летевшего в пропасть на протяжении 6 часов на такой скорости, по сравнению с которой свободное падение — детский лепет. Из Тамил Наду с высоты 2 тыс. метров он падал к океану в Кералу сквозь непролазные джунгли заповедника Вайнад, за рулем сидел нечеловек, наворачивающий мертвые петли убийственного серпантина что твои галушки, и вообще не глядел на дорогу... Я много повидал в Индии, но такой упоительной езды смею думать на планете нашей еще не водилось.

Разошлись

Во-первых, здесь, в начале леса их прежде не было. Во-вторых, последнюю неделю их вообще не было, перешли куда-то. В-третьих, я шел по тропе вдоль речки и переживал только что случившуюся встречу с большими оленями — самбарами, купавшимися в реке и не заметившими меня, подошедшего к ним едва не вплотную, сидел и пересчитывал ресницы у них, и уши горели у них на солнце, как красные абажуры… А потом самочка начала выходить на берег прямо к моим ногам… И всё это было минутой прежде, я шел и всё еще находился там, в той минуте. И вдруг слева в кустах легкий шорох, повернул голову: слон. Он шел в 10 шагах от меня, встречным движением. Почти бесшумно и незримо, при том, что проламывался сквозь дебри. Видел ли он меня? Думаю, да, краем глаза, хотя и не подавал виду. И был так близко, что, казалось, поверни он голову и выдохни, меня обдало бы паркой волной. Я попытался сделать несколько снимков, но сфокусироваться было невозможно из-за густой листвы. И затем (хотя, как и прежде в подобных ситуациях, никакого страха и тем более паники я не испытывал, напротив — внимательная, хладнокровная оценка происходящего) я, к собственному удивлению, отбежал к относительному убежищу — мостику, где встретил оленей (то есть в ту же сторону, куда он и шел). До сих пор во всех случаях столкновений со слонами я ни разу не бежал, не видя в этом необходимости, пока с его стороны не будет выражен известный набор признаков раздражения, за которым может последовать атака. Но тут… Видимо, мостик, записанный в уме, как-то импульсивно сработал. Хотя уже минутой спустя я вышел оттуда, вглядываясь и прислушиваясь, но его уже не было.

Змея

Вчера шел в лесу вдоль речки и только подумал, что сегодня как-то тихо, лес пуст, и уже занес ногу, чтобы перепрыгнуть спуск к звериному водопою, как глядь: змеище ползет чуть ниже ноги — у воды, а я уже в прыжке. Приземлились оба, то есть она, шарахнувшись, приводнилась, а успел сделать в воздухе над ней какой-то кульбит с проворотом. Смотрю: хвост ее на берегу, а тело вдали под водой, метра два, я думаю, росточек. Судя по рисунку окраса (а голову я не видел) это либо крысиная змея (не ядовитые, делят норы в термитниках с кобрами), либо — господи, помилуй — черный крайт, из самых ядовитых в мире, яд которых парализует всё, кроме мозга — так, что нередко людей хоронят заживо.

Губач

Ну всё! Нет, ну не совсем всё, но почти. С тигром на расстоянии руки я уже был и не раз, со слонами тоже. Не говоря об оленях или нильгау, которые порой подходили и подолгу вглядывались в лицо. Но вот с медведем вплотную мне еще не приходилось встречаться. И вот несколько часов назад сижу я джунглях у слоновьей переправы через речушку, шириной в два их шага, жду, а нет их уж второй день с тех пор, как на день рожденья они выстроились парадом. Ладно, думаю, пройдусь вдоль воды дальше, тем более что сюрпризов тут на каждом шагу: то варан шарахнется из-под ноги, то — как вчера — вдруг по скале в воду костяное колесо покатится, плюхнется и всплывет… черепахой. Иду и думаю о мечте своей — черной пантере, которую вчера видели по ту сторону леса, а неделю назад — по другую. Две ли их или одна, раздвоившаяся… И вдруг — прямо рядом, из непроглядного куста, нависшего над водой… нет, этому звуку даже имя не подобрать… ну как слон бы затрубил вспять, всасывая звук в себя. Присел, вглядываюсь: ничего не видать и недвижен куст. И снова этот клокочущий звук. Жду. Выходит. Посмотрел на меня мельком и продолжает свое дело: там в землю дунул, тут траву разгреб, к воде подошел, снова глянул на меня, а я уже прямо перед ним совсем открыто сижу, никаких эмоций я у него не вызываю, как будто и не человек я, вот он пошел к дереву, полез — треск, шмяк — свалился, снова полез, вернулся, подошел, попил воды, ну в общем, минут 20 мы с ним провели. Обернулся ко мне на прощанье. А пяточки — как те «чешки» школьные, кто помнит.

Ом

Как это ни странно, несмотря на мою любовь к Индии, эзотерика, мистика и различные духовные практики довольно далеки от моих жизненных интересов (не исключают, но, скорее, в общекультурном плане). Кстати, думаю, для процентов 95 индусов йога — экзотика, и куда больше, чем для нас, например. Это я пишу, вспомнив недавний случай, который, конечно, можно бы (и нужно) объяснить без всякой эзотерики. И всё же остается что-то неизъяснимое. На юге Индии, в совершенной глухомани, на хуторе, где даже чаю не выпить, стоит древний храм могучей теплой красоты и необычайной акустики — где века, "как баржи каравана" плывут сквозь тебя. Храм Тримурти (что уже немалая редкость для Индии). А настоятель храма — брамин с 700-летним бэкграундом — Нагендра, из тех настоящих, которые не пыжатся, а просто излучают свет — что бы не делали, в легкую. Я вожу в этот храм группы, приезжаем обычно на двух джипах из соседнего штата Тамил Наду. И вот с последней февральской группой, уже прощаясь с храмом и брамином, я по

наитью предложил всем стать в круг и обняться, положив друг другу руки на плечи. И махнул рукой Нагендре, стоявшему поблизости. И вот через миг мы вдруг загудели "оммммм..." — москвичи, ганноверцы, пермяки, крымчанка, индус... и вошли в такой резонанс, что земля качнулась и поплыла под ногами, и что-то произошло непроизносимое, неухватываемое словами и чувствами, но имеющее прямое отношение к единству всего со всем, которым вдруг стали мы и мир, образуя некий гудящий восходящий и плывущий шар... И это произошло не только со мной, достаточно иронично настроенным по отношению к подобным вещам, но и со всеми нами как одним.

Минус-корабль

Сегодня 9 лет как нет Алёши Паршикова. И сегодня же в Москве — презентация его большой книги "Минус-корабль", где, надеюсь, будет показано и мое краткое видеопосвящение ему. Оно записано в Индии, в древнем храме Лакшми, стоящем в глухой деревушке в Карнатаке, куда я специально поехал из соседнего штата Тамил Наду месяц назад. Поначалу я грезил о едва ли возможном — о записи в джунглях, среди животных на райской поляне... А потом возникла эта мысль: сесть втроем — с двумя необычайными браминами (близким мне настоятелем храма Тримурти и брамином храма Лакшми), сесть в алтаре и сотворить волшбу... Переговоры по телефону длились несколько дней, дивные, на трех языках: я говорил по-английски тому, кто стоял рядом со мной на шумной деревенской улочке и синхронно переводил это на тамильский для того, кто сообщал это по мобильному уже на языке канада для брамина, живущего в Карнатаке... Но в назначенный день оба брамина неожиданно выбыли в неизъяснимых направлениях, и я оказался перед запертым храмом один. Найденный мной на хуторе ключник, вопреки всему, без языка и объяснений отворил мне вереницу дверей и по моей просьбе оставил меня одного в алтаре.

Здравствуй, Алёша.

Здесь и теперь

Осталось мне тут два дня, не знаю, пойду ли еще в лес. Сегодня я был в семье слонов. Четверо, с трех сторон — и вместе, и поочередно. Трое из них мирились с моим присутствием и даже отчасти делали вид, что не замечают. Четвертый, бесшумно подходя со спины из непроглядной чащи, предупредил о своем приближении.
Обычно я тут хожу в джунгли где-то в четыре пополудни и возвращаюсь уже в темноте — к семи. Полтора часа уходит на то, чтобы войти и выйти незамеченным егерями и местными. На лес остается около двух часов. И каждый из них — как год. По тому, сколько миров в них проворачивается, по тому, внешне незаметному (счастливый, увлеченный мальчишка с камерой и ножичком на поясе) режиму "работы" которому так удивилась одна из наиболее чутких моих читательниц. По тому — такому расхожему на наших устах — "здесь и теперь", приближение к которому и хоть минимальное удерживание, не говоря о настоящем опыте проживания, дается немногим и очень непросто.

Возвращение

Три дома у меня. Два — в пространстве, а один — во времени: мама. А эти два — свалились с неба, оба в Индии: один в рыбацкой деревушке Махараштры, другой в заповеднике в земле дравидов. И дом, и семья, и все на свете. Вот прощаюсь со вторым, чтобы лететь к тому, который в последней горсточке времени.

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ЗАПИСЬЮ

Первая любовь

История такая. 1981 год, мне 22. Только что в Москве с предисловием Андрея Вознесенского опубликован роман в стихах "На фоне неба и во всю длину", первая моя публикация. Поток писем со всей страны. Радость сменяется сомнениями и депрессией, решаю бросить писать, ухожу в двухлетний разгул, перемежаемый дальними одиночными странствиями (Байкал, пустыня, Заполярье...). В августе с друзьями отправляюсь в Крым, в Понизовку (рядом с Симеизом), наряжаемся в трико для штангистов, угоняем трактор, стаскиваем этим трактором строительный вагончик с горы на дикий пляж, обустраиваемся, весело живем. В один из дней вижу на пирсе ее, она прыгает и летит — так невозможно долго, что тело и ноги ее скрываются под водой лишь с последними лучами солнца. Знакомимся. Она белошвейка из Ясной поляны (под Мисхором), зовут N., ей 19. Пару дней спустя мы с друзьями идем на танцы, где я должен увидеть ее, идем в приличном хмелю. Там сталкиваемся с молодцами из харьковского танкового училища, они приезжают ежегодно — поразмяться в рукопашной. Их около полусотни. Кто-то из них уже волочит за руку N. Вступаем в бой. Дальше я помню только следующий день: сидим у моря, пьем чачу, у меня три перелома челюсти, рот зашит, зубы стянуты проволокой, цежу сквозь нее чачу. Чувство к N росло и терзало, это было впервые так остро, хотелось обнять ее, сказать, как люблю ее, впервые сказать эти слова, и — я был лишен речи. Не говоря уж об одутловатом лице, боли и запахе изо рта. Поэт, трубадур — с зашитым ртом. И как раз в тот час, который бывает единственным в жизни. Плыл в горизонт и выл туда о любви. Друзья разъехалась, я остался, пришла осень, перебрался в полуразрушенный дворец Водарского (над Ялтой), там еще бомжевала милая пара — он, сбежавший из тюрьмы, и она — юная декабристка, с ними еще была такса и полутораметровый варан, который эту таксу то и дело игриво заглатывал и сблевывал — в детской песочнице. А я спускался к морю, брал по пути в библиотеке очередной том Достоевского, пару яиц (чтоб взболтать их в стакане и цедить) и считал дни, когда снимут эти зубные вериги. Месяц спустя их сняли, я приоделся и поехал в Симферополь, где она училась... Ясно, что это осталось со мной навсегда, и в Гурзуфе у меня на стене до сих пор висит ее портрет, нарисованный. И под сердцем я ношу крест, прорезанный кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое (!), под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что

прошли годы, а потом и много лет, что ее — той N, уже давно нет, что теперь это какая-то раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же, время от времени, оказываясь в Крыму, я пытался найти ее, и однажды, спустя двадцать лет, я дозвонился в соседний к ней дом (у нее телефона не было) и ждал, пока ее позовут, пока она придет (придет ли?), так долго — как тогда, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос — родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет и жизнь не прошла. И как тогда, но уже по-другому — слова сказать не мог. Но договорились, что она приедет — по дороге к родственникам в Ясную поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилев, сморился под утро в кресле. Звонок — в дверь. Она — на пороге — совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной, как из дальней дали улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней, взявшись за руки, как дети, и я совершенного не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. А потом мы зашли в какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой — для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

На волоске

Смотрел вчера фильм о самовосстановлении клеток, о ДНК. Конечно, я знал, что жизнь требует ежесекундных усилий, но не думал, что до такой кромешной степени. То есть естественное состояние органики — не быть. И каждую долю секунды в нас (и во всем живом) происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только искусственными изощреннейшими усилиями клеточного же "спецназа" клетка чинится, возвращаясь к жизни. И в следующую долю секунды происходит следующий слом. Это как если бы река, неизъяснимыми силами самой реки, текла не вниз, а вверх. То есть еще раз: ДНК, основа жизни, не просто не хочет жить, но ежесекундно пытается покончить с собой, и лишь невероятными усилиями этого спец. отряда возвращается к жизни. С Седьмого дня на божьем волоске всё висит.

Иллюзион

Почти у каждого из нас явно или неявно были знаки и шансы прожить совсем другую жизнь. Я, например, мог стать, похоже, с немалой вероятностью великим иллюзионистом. Мне было лет 10, летними днями в безлюдном киевском дворике на Горького, куда переселился мой отец, разошедшийся с мамой, я болтался, лазая по крышам или стреляя из самопального лука. В том же дворе жил великий фокусник Давыдов-Тейде, одинокий, всеми забытый, ему было уже за 90. Он порой наблюдал за мной из окна и однажды позвал к себе. Я поднялся на второй этаж, дверь открыта, за ней стоял - вернее, вертикально висел в воздухе - 2-метровый старик во фраке, черные остроносые туфли сияли под ним в отдалении. Над головой он держал приподнятый цилиндр. И улыбался. После того визита мы как-то сблизились, и я к нему часто заходил, он рассказывал, показывал, пили чай, потом он показал мне в подвале несчетные чемоданы и сундуки с реквизитом, эти походы в подвал с ним были для меня 1001 островом сокровищ. Как-то он сказал отцу, что я мог бы стать его учеником, если б он не был так стар, а я так юн, но

может, не все потеряно... К нему в ту пору часто наведывались из киевского цирка, в том числе, и Кио - с тем, чтобы он передал им свой мир секретов и опыта, но он был непреклонен, даже не вступая в разговоры. Потом, спустя пару лет, двор расселили, его забросили в какой-то микрорайон, и связь наша оборвалась. Я помню халат, который ему подарил китайский император в начале 20 века, халат этот был расшит золотом и усеян драгоценностями. В годы Отечественной войны этот халат спас ему жизнь: он по одной отпарывал эти драгоценности и менял на хлеб и пр. Я этот халат увидел уже как старинную выцветшую карту.

А сейчас - спустя жизнь - погуглил: о нем почти ничего нет, меньше чем от того призрачного халата.

Взятие Азова

К концу 70-х нам с моим другом Валиком Добровольским было около двадцати. К этому времени мы вместе и порознь уже исколесили на товарняках от Карпат до Байкала, сходили в несколько сотен походов, сбегали в комнатных тапках на Эльбрус, налетались «зайцами» на самолетах, затерялись в пустыне и заполярье… Но не хватало чего-то этакого — «цветка в петлицу». И вот купил я в киевском универмаге резиновую лодку — из тех, на которых сидят в камышах, высота борта над водой — 15 см., стоила она 120 рублей. И решили мы переплыть на ней океан.

Главной неразрешимой задачей был для нас не «железный занавес», а железная мачта: как ее изготовить и установить на надувной лодке? Друг мой работал на заводе и был тем еще кулибиным, а я работал реставратором настенной живописи в монастырях Украины и был тем еще… тут трудно сказать.

В общем, мачта была изобретена и установлена. Дальше мы пошли в магазин «Тканыны» и долго выбирали подкладочный материал для штанов, пиджаков… ну то есть для паруса, и остановились на ярко желтом, чтобы в пути радовал. И еще купили метров десять квадратных клеенчатой скатерти, со сдержанно веселым узором — это чтобы сшить чехол для лодки, который бы стягивался под ней, как корсет, а мы бы сидели сухие в воде, во всяком случае, по грудь. Прострочили все это на «зингере» у меня на кухне, потом на каком-то военном складе достали тяжелые прорезиненные костюмы ОЗКа, распилили байдарочное весло на два и дорастили трубками от пылесоса, надули лодку посреди комнаты, поставили мачту и начали осваиваться, а на ночь ложились в нее спать.

Чесать языком мы с ним могли не смолкая сутками, но в то же время могли и сутками не замечать друг друга, то есть буквально, находясь в одной квартире, понятия не иметь о взаимном присутствии. Похоже, совместимость у нас была идеальная. Ждали лета. А пока доводили дизайн и пудами начитывали все, что находили по морскому делу. После испытаний на киевском водохранилище, где нас под утро на фарватере чуть не раздавила какая-та баржа, мы отправились на Черное море.

Подняв парусок в Коктебеле, нас шустро понесло в открытое. Разморенные от жары и переезда, мы задремали. Очнулись, когда в нескольких милях от нейтральных вод нас настиг пограничный катер. Выловили, привезли в часть. Допрос и досмотр явно свидетельствовал о незаурядном для пограничных будней улове. Тем более, что мы не

только не отпирались от плана перехода границы, но и, войдя во вкус, всячески подыгрывали этой версии.

Ни документов, ни денег у нас не было. (А зачем? Мы давно уже научились обходиться в походах без них.) Атлас автомобильный дорог СССР (правда, с захватом прилегающих заграничных территорий), военный бинокль, морской компас, не помню сейчас, что там было еще в наших рюкзаках, что так воодушевляло этих погранцов в их догадках. На корме лодки было написано «Папа», а ниже: «сиротский приют №9». Да, — кивали мы, склонив головы, — Стамбул, Дарданеллы, Гибралтар, Атлантика…

Наконец, нас вышвырнули, но — с двумя конвойными, которые должны были проследить, чтобы мы сели на автобус и уматывали восвояси. Сели. И, выйдя на первом же повороте, пробрались на Карадаг, по пути прихватив овцу из стада на выпасе, и спустились в любимую нашу Разбойничью бухту. Там мы пробыли месяц, лодка демонстрировала чудеса стойкости. Вернулись, предъявив липовые больничные. И в августе выехали в Бердянск.

Да, не океан, — Азов. А жаль. Потому что океан переплыть не сложней, — всего лишь вопрос времени. А в этом стиральном корыте даже при небольшом шторме волны идут вразброд и едва ли не со всех сторон, не говоря об отмелях и «банках», и волна резкая, как забор. Океан в этом смысле — санаторное плаванье. Так мы думали, еще не представляя, какой «подарок» нас ожидает.

Вышли в ночь. Накачали лодку, надели ОЗКа, подхватили на руки нашего «Папу» и ухнули в пену. Был приличный прибрежный накат, лодку тут же всю залило. Отгребли, поставили парус. Ветер усилился, береговые огни исчезли. Темень, звезды, полулежим валетом, только «бюсты» в капюшонах торчат из лодки. Молчим. А о чем, собственно? Подремываем. Светает. Вдруг вижу: из предутреннего тумана растет нос сухогруза — громадный, до неба, и прямо над нами уже. Схватились за весла, а он уже стеной скользит мимо нас, и сверху, где-то там, чуть левее звезды, человек: «Помощь нужна?». И вниз в бинокль смотрит на нас с палубы. На нас — в бинокль! Хватаю наш бинокль и смотрю на него, запрокинув голову: «А вам?». И разошлись — как в море корабли.

Наступивший день был чудесен, расчехлили лодку, разделись, купались, сделали несколько снимков, отплыв на надувном матраце (том узеньком, советском, от которого наша лодка не сильно отличалась), перекусили (а взяли мы с собой килограмм сала и пятилитровую канистру воды, больше ничего, т.е. ничего лишнего). Собственно, эти несколько снимков были первыми и последними.

К середине дня небо начало затягивать, пошла волна. К вечеру уже все вокруг полыхало зарницами. Гребни наворачивались и рушились в лодку со всех сторон. Мачту с парусом, как игрушку, вырвало ветром и, подкинув в небо, отшвырнуло в сторону. Все последующие трое суток мы лишь успевали ловить воздух ртом и уходили вместе с лодкой под воду, и снова всплывали — успеть вдохнуть… Это только потом мы узнали, что под Евпаторией прошел какой-то дикий смерч — из тех, какие случаются раз в десятки лет, и, вильнув через перешеек, опрокинулся в Азов этой ураганной круговертью. Нас несло в западную, не судоходную часть моря, чудом пронося мимо «банок», где схлесты волн взвивались метров на десять ввысь — пеной, моросью. И под, и над нами все шло ходуном.

А тем временем, моему отцу в гостиничном номере Феодосии, куда он поехал в командировку, снится сон: мое хохочущее лицо, через которое с грохотом

перекатываются волны. Проснувшись, он бежит в районную газету «Победа», по дороге коря себя за то, что поверил мне — мол, плаванье наше будет детским, вдоль берега. Газета связывается с Бердянском, Керчью, там поднимают на ноги всю округу: рыбаки, пограничники… Вертолеты начинают прочесывать акваторию. Безуспешно. (К этому времени нас отнесло далеко уже в западную часть моря, где почему-то нас не искали.) Единственным обнаруженным свидетельством оказалась запись в судовом журнале сухогруза «Днепр».

Зарницы все еще полосовали горизонт. Весь день в этом зловещем сумраке мы плыли на нашей качеле-лодочке — то под, то над водой. Перекидываясь веселыми репликами, когда замечали друг друга. К вечеру шторм стал понемногу стихать. Кажется, мы даже поужинали и запили глотком воды, хотя пить уже не моглось — куда? — как вода воду хлебала бы. Кожа наша, после того как мы здорово обгорели в первый день, а потом сутки проморили ее под водой, напоминала уже лохмотья. Всю ночь под лодкой пыхтел и терся о днище, подталкивая ее, дельфин.

Наутро, открыв глаза, я не увидел ни моря, ни друга, ни лодки. На голову был надет какой-то рябой мешок. Попробовал шевельнуться. Мешок нехотя подобрал крыло, покрывшее мое лицо, и взлетел. К тому времени мы, похоже, подавали уже небольшие признаки жизни.

Прислушался: откуда-то рядом доносилось тихое шипение, легонький свист. Там, где крепилась мачта, из крохотной дырочки сочился воздух. Которого и так в лодке было с гулькин нос (может, потому нас и не опрокидывало во время шторма, что она тогда уже была почти как тряпка, полоскавшаяся в воде). И вот теперь она испускала последний дух. Времени, я прикинул, у нас оставалось около получаса.

Это были веселые полчаса. Просто захлебывались от смеха: вспомнили тот совет Алена Бомбара в его книге, ставшей для нас настольной, «За бортом по своей воле», где он говорит, что единственный способ в подобных условиях заклеить дырку — сперма. Но достать теперь то, что когда-то было известно чем, то есть просто найти это жалкое и униженное, где-то там, в трюме комбинезона, не говоря уже восстать с ним — задача из страшных волшебных сказок.

Ждали, поглаживая лодку, поглядывая по сторонам, поддразнивая этот свист. Думали ли, что это конец? Да, но как-то дружелюбно, без надрыва. Да и, видно, слишком изнурены были для подобных эмоций. И слишком молоды.

Ни через полчаса, ни через час лодка не затонула, что-то там произошло между воздухом и водой: после некоторых препирательств они как-то помирились мизинцами. Правда, над водой теперь возвышались только наши погрудные изображения. И в какой части моря и как далеко от берега мы находились у нас уже не было никакого представления. Нас тихо куда-то несло, подгоняя волной.

И вдруг мы его увидели — берег, совсем призрачный. Это, как оказалось, была Арабатская стрелка, ее южная сторона. То есть, выходит, мы все же его переплыли. А когда подошли к берегу, уже почти к линии буйков какого-то санатория, до нас донесся голос, оравший в рупор: «Эй там, на матрасе, кому говорю, не заплывать за буйки!».

Вышли, легли в песок. Домой возвращались товарняками. А потом созвали друзей, приготовили гуся с яблоками, украсили стол портвейном, ждали, надеясь поведать свою одиссею. Напрасно. Гости наяривали гуся, запивая стаканами. Героем стал гусь.

Дача Чехова

Находится она, как известно, в Гурзуфе, под генуэзской скалой, в маленькой бухте у самого моря. Прикупил он ее к ялтинскому дому, не совсем понимая, зачем, за какие-то баснословные деньги, на которые его развели татары. Там онписал Трех сестер, сажал бамбук и умирал от тоски.

Теперь там музей, на зиму все экспонаты вместе с кроватью, в которую он не помещался, отправляют в Ялту. А летом, купив билет в музей, можно весь день проводить на диком чеховском пляже.

К тому времени (лет пятнадцать назад) было у меня две дочки. От двух замужних мам. О существовании первой дочки я узнал лишь пять лет спустя. О второй знал, но немного сомневался, что она моя. С обеими — и мамами, и дочками — отношения были ладными. Семье старшей, жившей в Москве, я отдавал свою гурзуфскую квартиру на лето, а с младшей время от времени встречался в Крыму, они были из Севастополя.

В тот год старшей было, кажется, 10, младшей — 5. Обе не знали, что я их отец. И вообще, кто и что знал и не знал в этом пятиугольнике — ни я уже не мог ответить, ни кто-либо из его сторон.

Однажды летом я приехал на несколько дней в Гурзуф, там в это время гостила старшая с мамой. А мама младшей позвонила, сказав, что подъедет на полдня — повидаться. И пошли мы, чтобы не пересекаться, в эту укромную чеховскую бухту.

В тот день штормило, и с каждым часом шторм усиливался, заливая бухту. И вот сидим мы втроем на последней сухой пяди и разговариваем. У нее, у младшей, в этот день все вертелось вокруг слова «кажется». Это тебе только кажется, говорила она, что это волны, и они заливают нас. А мама, спрашиваю, а ты, а я — есть? Нет, повторяла она, это тебе только кажется, что мама, что я, ты — есть.

И тут вижу: волны гонят в бухту водный велосипед, на котором старшая с мамой, у них сломался руль, машут мне. Причалили, выбрались, стоим на этом клочке суши, все пятеро, на одной ноге, прижавшись друг другу, окатываемые брызгами. И кто кому кто — бог весть, у каждого свой Чехов. Или это только кажется...

На полях

Восприятие Западом восточной практики жизни в настоящем времени (здесь и сейчас) сильно перекошено в буквальную сторону. Вне контекста прошлого и будущего ничто полноценно не работает. Кто такая мать, например? Палка-палка, огуречик? Просто речь идет о практике исправления некоторых перекосов — как позвоночника в привычно отсиженных позах — в нашей порой чрезмерной фиксации на прошлом или будущем.

Мамочка моя чудесная, Майя, 85 ей сегодня. Просилась в Индию ко мне в этом году, ждала, коротала ночи, перечитывая Даррелла и Набокова. Сходили сейчас к китайцам, навернули всё, что было в Поднебесной, запивая коньячком из фляжки. Живи, мое счастье, живи долго, живи изо всех своих светлых сил, и знай, что пока ты есть — я бессмертен.

Октябрь

Вспомнил, как где-то в 80-х снимал комнату в Москве. Надо было перекантоваться несколько недель. Пришел по объявлению. Хозяину под 50, зовут Октябрь. Двушка на Юго-Западной. За копейки. Не успел оглядеться, спешил. Вернулся ночью, проскользнул в темноте в свою дальнюю, лег, уснул. Просыпаюсь от тихого вкрадчивого голоса: "Сука, порешу..." Приближается, но на полпути замирает и движется к окну. "На правый борт, на правый, говорю, закладывай, сука!" — напевно так, в трусах до колен, майке и руки подняты, что-то держит в них. Свет лунный меж занавесок. Пригляделся: ба! — с топором идет. И не идет, а как-то плывет пританцовывая. И — переходя вдруг на высокий (у царских врат): "Детей в шлюпки, детей в шлюююююпки!" И уплывает в свою комнату. И тишь.

Наутро он, конечно, ничего не помнил. К полудню со всего района к нему начали стекаться кореша. На кухне самогонный аппарат. К концу этих недель примерно такой дневной и ночной жизни, мы обнялись и расстались. Я оставил ему свои сапоги, поскольку в носках на улицу он выходить не решался.

Про Ерему (семь тысяч лет)

Москва, январь 2005-го, вхожу в гастроном, иду вдоль рыбного прилавка, остановился в задумчивости, о Введенском думаю. А продавщица мне: “Возьмите ангела”. — “Что?” — “Ангела, — говорит. — Морского ангела. Легкой заморозки”. Взял я ангела, домой иду, думаю, разморозить его не успею до Речевых ландшафтов, в семь они.
Захожу в кафе. Смотрю меню. “Египецкие блюда”. Так и написано: “египецкие”. Под номером 3: “Семь тысяч лет”. Это название. “Что это?” — спрашиваю. — “Закуска такая, горячая”. — “Какая — такая?” — “На хлеб, — говорит, — мазать”. Намазал я семь тысяч лет на хлеб и съел.

Прихожу домой с полным кульком ангелов, телефон звонит: Саша Еременко.

– Серега, — говорит, — можешь приехать? Нужен бинт и портвейн три семерки. Кортик, — говорит, — у меня в животе. Кровь — есть. А портвейна нет. И болванку возьми. Перепишу Введенского тебе. Умрешь. Знаешь, как он читает? Голос — в пиджаке и с галстуком. Как Заболоцкий.

Купил бинт, портвейн, еду на Патриаршие. Бред, думаю, не может этого быть, и еду.

– Портвейн, — говорит Еременко, — потом Введенский, — и зубами бинт рвет. А пробка в бутылке немыслимая какая-то, уже и сковородкой по напильнику, всунутому в ее горло лупим, пробка раскрошена, брызги в лицо при каждом ударе, а все никак... Ставь, говорю, Введенского. И тут голос — филармонически-ангельский:

Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.

– Так это же голос Ровнера, говорю, Аркадия.

– Какого такого ровнера? — протолкнув, наконец, пробку, подымает голову Еременко.

Да, думаю, глядя на него: семь тысяч лет, семь тысяч.

Марина

Нет, еще не пора. Не к концу сентября, когда местность, как после соитья лежит разметавшись во все края и всё в ней чуть под углом друг к другу — море к берегу, небо к поселку, горы к горам, чуть отвернувшись, с тем же чутким зазором вины и родства. С тем же взглядом, косящим чуть в сторону, — как по холодному полу идешь босиком, поджимая пальцы, чуть в сторону, как после близости. И повсюду этот стыдливый зазор с пустотой неумелой — меж землею и небом, дорогой и домом, водой и губами. Эта тяга родства и обратная тяга — к его отторженью. Только спайки тоски с этой ноющей сладковатой виной.

Это потом только он стал различать: худенькая, размашисто легкие ноги, танцующий ветерок меж ними, родное, с утренним щебетом и волновым восходящим светом тело ее, и лицо — весеннее, к небу поднятое, и веселые волосы чуть набекрень, из-под челки — две голубые тайны, одна чуть блажит в прищуре. Это потом — губы с чуть приподнятыми уголками детства, теплые нежные, почти как воздух, когда его осторожно пьешь… Маленький, свернувшийся калачиком, заснеженный городок. Он подходит к ее дому, она смотрит на него из окна и не видит — во тьму со света. Входит, берет ее на руки, улица безжизненна, только одна вывеска мигает, заметаемая снегом: З…ГС. И он опускает ее на землю лишь после того, как выносит ее на руках из этого ЗГС, и она все никак не может собрать свои губы в это щекотное слово: жена, жжжена, а он дышит в ее вздрагивающую шею за меховым воротником: мууж, муужжж…

Пока заживают зазоры, оставляя рубцы между людьми, словами. Пока догорает вина, помнящая о родстве. Пока остывает земля, уже протравленная к утру проступившим инеем. Не сразу, но к ноябрю.

Центрифуга

Есть события в жизни, которые однажды случившись уже никогда не кончатся. И тебя развихривает эта бесшумная центрифуга внутренних колец ада и вышвыривает за свои

пределы, и снова втягивает, не проронив ни звука. И всё это происходит как бы не в тебе, а в белесой стороне — той, где ничто не кончается.

Чёс

Проснулся я в своем крымском наполпутидомике над морем от неизъяснимой песни под окном. Пел ее Чёс — последний барбос на земле, он же — Кузя и Рыжий Кадмон. Нет такого запаса воздуха, чтобы так долго длить эту фонетическую одиссею на одном выдохе (или вдохе — как волки?). Он ветвил и лелеял, и мучил ее, эту немыслимо высокую (девочка пела в церковном хоре…) ноту, нисходящую к сердцу и вновь набирающую высоту. Песнь его замерла, казалось, лишь когда, изогнувшись над морем, коснулась Константинополя.

Я вышел. Он уже лежал, положив голову на лапу, глядя вдаль, поверх поселка. Вчера он совершенно отчетливо произнес: мама! И чтобы у меня не оставалось сомнений, повторил еще дважды. Лола? — переспросил я его, имея в виду ту великую суку, обвешанную всеми псами округи, она отбивалась от них, заняв позицию в гроте, здесь, за спиной этого наполпутидомика, пока один не прыгнул с пятиметровой скалы вниз, в сквозную дыру в своде этого грота, так были зачаты двое — Чёс и Нечёс.

Маааама, повторил он, и завалился на спину, обхватив лапами голову.

Это вчера. А сегодня, вернувшись в домик, я увидел в умывальнике сверчка, что-то неладное с ним творилось — видно, он хотел покончить с собой — после той песни за окном, по профнепригодности. Вынес его, полуобморочного, в сад. Сварил кофе, смотрел на море — тихоня. И горы стоят, как ни в чем. Поселок чуден — ни одной людской помехи, один я. И два кота — лежат свастикой, греются.

Вернулся. Посмотрел на ютюбе 20-минутную речь Саши Скидана о книге Аркадия Драгомощенко «Исключение неизвестного». Рад очень — обоим. Такая редкость по нынешним временам — не мандельштамовых разговоров о Данте.

Пойду Гешу будить — завтракать. А потом пойдем с Чёсом прогуляться по Пушкинским местам. Или Чеховским.

Программа

За последние полвека уничтожено 55% животного мира Земли. Не пора ли ввести Всемирное Чрезвычайное Положение? Но совсем не то, что вы думаете. Никакой "защиты природы" и пр. — на этом пути бед от людей едва ли не больше, чем добра. Нет, чрезвычайное, то есть с (по возможности) полным освобождением от людей оставшихся природных территорий, с мораторием на вторжение — лет на 100. Да, вот с такой жертвой и повинностью. Жесткая, планетарная программа с исполнением в ближайшие 10 лет, большего времени у нас нет. И хватит уже циклиться на себе любимых и богоизбранных.

Соснора

Лет семь назад приехал к нему, думая записать разговор о том, о сем, преимущественно о творчестве, о литературе... И вот мы в его крохотной однушке на выселках Питера уже третий час, я пишу ему вопросы на бумаге, а он — небесный всадник — сидит на кушетке, прижав колени к груди — маленькие белые ладони ребенка-гения — и говорит о своем детстве, глядя в окно, и мы прерываемся на перекур (ему нельзя), запираясь в тесной хрущевской ванной и возвращаемся, и он продолжает рассказывать о детстве, о детстве и только о нем, и голос его, себя не слышащий, доносится будто из ассирийских далей, хотя и звучит рядом.

Люба

Божечки-боже, неужели 30 лет прошло? Вчера показывали фильм о Чернобыле по Культуре. Не совсем на том пути фильм, но не в этом дело. Там лейтмотивом на экране появлялся человек лет сорока, в камуфляже, бродил по пустынной зоне, по руинам Припяти, перебирал брошенные остатки жизни в ДК Энергетик, говорил о маме — очень красивой женщине, ставшей в свои 35 инвалидом, живущей в Киеве, с тех пор почти не выходя из дому...

Той самой, что так любила меня тогда. Приезжала в Киев ко мне. С этим мальчиком. И без. И имя у нее было — кто б мог подумать тогда, что до такой степени — Любовь Сирота.

Работала она в этом ДК художественным руководителем, ставила спектакли, по Цветаевой, например. Я помню, как горячо она обсуждала это со мной. А я смотрел на ее волосы и думал: когда волнуется желтеющая нива...

Что я помню? Почти ничего. Кажется, о шумерах я помню больше и вижу ясней, и, главное, более цельно, чем свою жизнь. Даже не руины, а какие-то разрозненные полу фразы, которые уже никогда не сложить.

Я приезжал в Припять. Выступал там, немножко жил, дружил. Может быть, был последним из приезжих, кто ходил по тому самому четвертому блоку незадолго до взрыва, и еще, кажется, пошутил, глядя на эти приутопленные стержни в полу: а что если рванет, и полетят они журавлиным клином над полями-лесами...

А потом, когда рвануло, мы возвращались с поэтом Ильей Кутиком на попутках из Питера, куда поехали с ним и Алешей Парщиковым на вручение Белого, кажется... И как раз, миновав станцию Дно, мы с Ильей приблизились к Гомелю с заволоченным небом, заночевали в кювете, в лесопосадке, просто притрусив себя сверху валежником, умывались в озерце — как раз на следующий день после аварии, когда всё это волокло ветром на Гомель.

А потом, в Киеве, уже наполненном беженцами, я отдал свою квартиру двум Любам — Сироте и еще одной... Как же ее звали и где она теперь, жива ли? А сам перебрался в Глеваху — опустевший поселок в пригороде, где писал Станцию Дно и ходил в высоких

сапогах и плащ-палатке по полю, глядя на ворон, промахивающихся мимо своих очертаний.

А потом в Германию пригласили чернобыльских детей на отдых и лечение, первую группу, и родители очень волновались их отдавать незнакомым сопровождающим, и попросили меня поехать с этой группой. А приглашение было от очень богатого Ротари-клуба из предгорья Альп, не миллионеров даже, реявших над деревнями на своих самолетах и очень старавшихся искренне перещеголять друг друга в опеке детей и подарках им. С явным перебором, и мне приходилось как-то настраивать баланс меж ними. Эти милые магнаты и меня хотели всячески облагодетельствовать, за пару минут, так сказать, решить судьбу, но я сказал, что я тут никакой не писатель, а с детьми, и вообще мне ничего на свете не нужно, всё есть, так оно и было. Вернулись, поездка для детей оказалась на удивление светлой и полезной. А я вытряхивал отовсюду эти ворохи визиток банкиров, министров и др.

А потом, это было уже начало 90-х, меня попросили поехать с первой группой, отправляемой в Штаты, где было уже более ста детей. В выданный мне мидовский паспорт вклеили около 20 детских фотографий — на каждой странице по ребенку, дали как руководителю 20 долларов на месяц, построили сто с лишним детей и отправили. В никуда. И вот это уже никак не расскажешь. Похоже на безудержный триллер, который память держит в каких-то темных погребах и давно замела туда дорогу.

Приглашающей стороной оказалась Церковь Четвероевангелия из штата Орегон. Эти жулики во главе с нашим бывшим выходцем отыграли какую-то рекламную кампанию по этому публичному жесту и уже умыли руки перед нашим приездом. В Нью-Йорке, где нас должны были встретить и посадить на самолет до Портланда, никто не встречал — ни людей, ни билетов, ни денег, ничего, ночь. И это были только цветочки. Потом, когда мы добрались, детей вмиг разобрали по машинам какие-то посыльные и увезли во тьму. Меня тоже. Я оказался далеко за городом, в детской каморке, один, с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей, которой меня сбагрили. Наутро я добрался до города, нашел этого главаря "евангелиста" и на вопрос о детях, получил ответ — не соваться не в свое дело, пока цел. Пошел в ближайшую газету. И тут все началось уже по-настоящему. Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первой полосы, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. Меня выкрадывали, бросали на безлюдном океане, я добирался оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом и я давал интервью ТВ, а камеры отслеживали нас, кружащих. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. Потом я находил поутру надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах, окружали, совали визитки, вообще "простые американцы" были горячо на моей стороне, следя за событиями, предлагая всяческую помощь. Я давно уже переселился к одному дядьке — владельцу автоколонны, которая, как он сказал "если что — в твоем распоряжении". Звонили с атомной станции — предложили бесплатное обследование детей у них, автобусный парк дал бесплатно автобусы, детям сделали это дорогущее обследование, и вообще — уйма всего успелось, не говоря о веренице моих выступлений — в университетах, колледжах и различных организациях — о Чернобыле, с объявленным сбором средств, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с мед.оборудованием и медикаментами... Вот пишу сейчас, и трудно поверить во все это... А возвращались мы на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить эту проблему

нашего перелета в Нью-Йорк. Я помню, как подсаживал детей в этот люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их из тьмы этого люка... В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.

Что я помню? Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет... Ничего не понять, не успеть, не совладать, не собрать... И как это все соотносится с вот этой, например, моей Индией, со вчерашним же приглашением в рай... Как это и где живет в одном человеке?

Здравствуй, Люба... Любушка Сирота. У тебя вырос хороший настоящий сын.

Вопрос

Есть вопрос, на который вроде бы есть совершенно очевидный ответ. При этом факты ему противоречат. Понятно, что природа не просто первична по отношению к культуре, можно думать и говорить что угодно, но без дыхания речь не получится. Реальный опыт связи с миром первородных вещей — у единиц, большинство, в том числе, большинство крупнейших писателей и поэтов, похоже, довольно далеки от такого опыта. Который не книжное знание, не генетическая память, а личный — не из вторых, третьих рук — проживаемый опыт, знание кожей, родство зверя с джунглями. И никакой гений не способен покрыть это зияние, поскольку здесь затронута не периферия, а основа живой ткани, сердце жизни, способ ее существования. Когда тигрица выходит на охоту, вся пластика ее движений, интонация "хода", вся партитура ее чувств опирается на это "знание". Любая ошибка, неожиданный хруст ветки под лапой, ломает карту дня, охоты, жизни. Ровно такой же "ход" лежит в основе движения любой строки, связи слов, повадки развертывания. Да, понятно, с поправкой на особую местность, среду — культуру, искусство, в данном случае — текст. Но в основе — те же универсальные законы живой материи. И видно — сразу, с первых же шагов, строк — как ломается эта "ветка" у 99 из 100 лучших из пишущих. И всё, дальше читать невозможно, "охота" сломана, уже никого нет. (Кому это видно? Тоже вопрос. С точки зрения обитателей вольера, поведение каждой особи выглядит вполне аутентичным, и чем дальше — тем меньше вызывает вопросов). Не случайно Бродский, дав крайне высокую оценку Парщикову, замечает (с его точки зрения) нехватку просодии, мол, "виденье", его способ превращений в тексте настолько феноменален, что порой это происходит в ущерб просодии. Именно. Вольерной просодии. Потому что правда музыки, та, что диктует "ход", находится не там, не в "литературе", а в той "тигрице", на свободе. И смысл текста — всегда следствие этой суммы перемещений, поведенческой пластики, опыта "свободного зверя" в лесу. Смысл вторичен, но зачастую читатель, а нередко и пишущий — с него начинают. Но вернемся к началу. Вот, скажем, Гумилев, Волошин, не говоря о Хемингуэе — вроде бы авторы не лишенные опыта связи с первородными вещами. А с другой стороны — Блок, Мандельштам, не говоря уж о Кафке, вмурованном в картонный домик.

Не сходится. Нет ответа.

И конечно (или надеюсь), никакой воды я на свою мельницу не лью в этом вопросе. К себе у меня претензий и так хватает, в том числе и на этом поле. Но сам по себе вопрос интересен. И вообще, скажу крамольное и детское. Вот смотрю я на человека, как он делает несколько шагов, например, за чашкой, берет, ставит на стол. И всё. Всё понятно.

У одного вся вселенная при этом тихо и незаметно валится, а у другого — так же незримо -поёт. И то, что оба, допустим, люди пишущие, и письмо второго нередко вызывает разочарование — не удивляет, а вот то, что первый нередко оказывается у вершин письма — да, необъяснимо.

Окно

Как это ни банально, но, оглядываясь на прожитое не кривым умом, а из-под ладони сердца: где она, твоя жизнь, подаренная именно тебе и лишь однажды? И вдруг оказывается, что не в свершениях она, не во всем том, что еще недавно казалось непреложно важным, а вот в каких-то неизъяснимых мгновеньях — в невозможной близости, оставшейся когда-то мучительно недосказанной, в каком-то "окошке", вспыхнувшем в дальнем краю...

Исигуро

22 года назад этот роман мало кому известного тогда в России Кадзуо Исигуро "Uncosoled" (кажется, у нас так и не переведенный, хотя, возможно, лучший) прислала мне в Киев из Нью-Йорка огненно-рыжая ирландка Сью, с которой у меня был куда менее "безутешный" роман, хотя и платонический. С этой разбойной художницей я познакомился в Саратога-Спрингс — американском переделкино, где коротали время преднобелевские кандидаты, а мы с ней были, пожалуй, единственными, кто оттенял их творческую благочинность. Там же, на знаменитом ипподроме, я впервые поставил на какую-то клячу и выиграл 100 тыс. долларов. Но не получил их, поскольку после объявления лидера в гробовой зрительской тишине результаты переиграли, а мне посоветовали не высовываться и тихо пройти к выходу. Ну я не очень-то и расстроился, поскольку был занят созданием проекта вселенского лабиринта "Фигура времени" и уже вовлек Сью в эту циклопическую авантюру. Потом Сью прилетала ко мне Мюнхен, мы бурно праздновали, потом она свалилась в Новогоднюю ночь в угол и лежала там, как елка, мерцая и всхрапывая, настоящий был боевой товарищ. И мы махнули в Барселону. А еще потом — уже в Киев — она прислала мне эту книгу: "для расширения", написала она, а дальше следовало какое-то неразборчивое слово. Что касается самой книги, помнится, что она не вызвала ни отторжения, ни особого воодушевления. Как если бы преклонный Пруст вселился в молодого Кортасара и писал что-то вроде его "Выигрышей", с отсветом японско-британской церемонности. В общем, я так и не дочитал тогда те 500 с лишним страниц, а пользовал их скорее для упражнений в английском. Вчера вот, после объявления о Нобелевке, вспомнил и достал с дальней полки.

Уход

Что ж это за наказание такое, я почти ничего не помню из своей жизни. Процентов 5-10, да и то — какими-то "заголовками" и рваными пятнами. Вот сейчас сижу, пытаясь вспомнить долгий телефонный разговор с Вяч. Ивановым. То ли конец 90, то ли начало 2000-х. Будучи в Москве, я передал ему материалы своего утопического проекта города-лабиринта "Фигура времени" Мы не были знакомы, просто позвонил, пришел к нему домой и передал. А потом — я уже был в Киеве, а он — где-то в европе, не помню, и мы проговорили около часа, но по плотности разговора это были дни и дни. Поначалу он

предложил свое содействие — то ли в ЮНЕСКО, то ли в ООН, чтобы реализовать этот проект, но я к тому времени уже сильно разуверился на этих путях, да и хотелось — именно с ним — о другом, о смыслах. И вот об этом и начали говорить. Ничего не вспомнить уже, кроме этого ощущения как бы уже построенного лабиринта и нашей прогулки в нем... с отключенным звуком.

. . .

Я всё думаю об уходе Вяч. Иванова. Об этом необычайно скромном человеке мирового масштаба — и не только предшествовавшей нам эпохи (связь с которой, похоже, во многом пока лишь и сохраняет нас в качестве людей), а и по всему полю людского времени. Совсем не стоит труда представить его другом Циолковского, например, или переписывающимся с Лейбницем, беседующим с Кампанеллой или рисующим на песке в Пифагоровом дворике. И дело не в его пресловутом знании более ста языков. И не в глубочайшей учености и энциклопедизме. А (отчасти) в той детской моцартовской свободе, позволявшей сопрягать, казалось бы, несовместимое — эти его многоярусные и разнесенные поля различных наук и интересов со всем около научным и несусветным — вплоть до тех областей, от которых праведные футлярные ученые пятятся, морща нос. И жить в непрерывной светлой полосе открытий, и не где-то, а вот в этом повсеместном саде — от шумеров до конца времен. И благодарить за все удары, за живодерство судьбы. И вглядываться вдаль, и улыбаться. И вот, думая о нем, я не то чтобы не испытываю гордость, конечно, да, но ей мешает распрямиться стыд. За нас, за себя.

Фигура Времени

Как бы об этом сказать в двух словах — о том творческом приключении, которое вышибло меня из жизни года на три, если не больше. Вначале был коньяк, на высоте 10 тыс. метров, во фляге рта, в течение 9 часов перелета в Штаты, 95-й год, кажется. А в руках какая-то английская газета. Тогда уже медиа начинало понемногу лихорадить в преддверье миллениума. Читал какую-то заметку, м.б., о «Куполе», который собирались строить в Лондоне, и подумал: а каким действительно мог бы быть символический монумент «всех времен и народов» к этой дате? С этой забавы ума все и началось. Несколько месяцев спустя проступили какие-то исходные составляющие: пространственная фигура лабиринта, содержанием которого должны быть Язык и Время как универсальные категории для любого этноса. Кроме: этот монументальный лабиринт должен быть процессуальным, интерактивным и принципиально не имеющим завершения, видоизменяясь при взаимодействии с каждым посетителем, для которого, в свою очередь, это тоже не просто аттракцион, а экзистенциальное поле для проживания и превращений.

Ну и пошло, поехало. Через пару лет у меня скопилось уже, наверное, несколько километров эскизов, чертежей, выписок, описаний, моделей в различных материалах и техниках, ворохи проектной документации. Периодически мне помогали друзья по Ковчегу — Дзын и Варел. В результате получился такой двухъярусный город, размером с московский кремль: нижний ярус — подземный лабиринт (собственно, главная, инициирующая и провокативная территория, где все и происходит) и верхний — видимая часть: стоящая в озере фигура уробороса, свинченная в восьмерку, внутри которой расположена галерея интерактивных фигур времени всех нынешних этнокультур (каждая страна делегирует группу художников, которые инсталлируют свою «фигуру», свой образ времени + озвучка этой фигуры несколькими афоризмами о времени известными мыслителями этой страны), то есть такой психоделический сад времен, где также

происходят различные «магические» взаимодействия, но попасть в него может лишь тот, кто прошел подземный лабиринт. Эта подземная часть в плане имеет вид развертки магического квадрата и делится на четыре зоны (огня, воды, земли и воздуха). Среди множества «провокативных» ситуаций (цивильных, конечно, — ты можешь поддаться им, а можешь и проигнорировать), в которые попадает посетитель, была, например, и такая: запись своего «мессиджа» (о времени и о себе) — звукозаписывающие устройства расставлены по всему лабиринту (чем ближе к центру, тем шире площадь трансляции), оставленное послание с периодичностью воспроизводится практически вечно, со временем превращая безмолвный (до первого посетителя) лабиринт в голосовой вавилон, говорящий на всех языках. С другой стороны, посетитель выходит из лабиринта со своего рода «фонетическим бессмертием». В общем, много чего там было наворочено. Если сказать непрямо, то это был такой как бы Борхес и Хлебников, ведущие за руку Алису в довольно взрослое зазеркалье.

Ну вот. К тому времени я был уже вконец изнурен этой пафосной утопией с ее циклопическими трудоднями, а впереди еще оставались всякие архитектурные и инженерные «мелочи», типа, канализации, аварийных выходов, дорожек для инвалидов и пр. Наконец, и это было сделано (хотя, ни технического образования, ни опыта у меня не было и приходилось что-то начитывать по ходу, но, когда я, уже в Мюнхене, обратился к специалистам за помощью, они, поправив детали, сказали, что в целом все довольно грамотно), и, чтоб избавиться от этой уже обрыдлой ноши, я послал проект в несколько крупных международных организаций. И оказался втянутым в не менее изматывающий марафон бесконечной переписки с ними.

Тем временем, последовала серия публикаций в нашей и западной прессе об этом проекте (к моему недоумению, проект подхватили в основном архитектурные журналы, которых привлекло то, что для меня было третьестепенным — то есть внешнее, одежка). По первому каналу ТВ Германии прошел трехсерийный фильм-интервью (режиссер Александр Клюге), где я рассказывал-показывал. Проектом заинтересовался Питер Гринуэй, была мысль сделать фильм…

Я все еще продолжал исправно отвечать на письма и слать требуемые дополнения, расчеты, бизнес планы, калькуляции и прочую хренотень, но все чаще вспоминал наш разговор с Битовым, когда мы сидели с ним у моря в Коктебеле и я ему рассказывал — тогда еще с горящими глазами. А он сказал: «Зачем это вам, Сережа, все эти бетономешалки и государства скурвят идею, превратив ее в диснейленд. Представьте себе Леонардо, который положил бы жизнь на воплощение изобретенного им унитаза или подводной лодки. Вы же писатель, пишите книгу».

Внял, написал — правда, три года спустя и уже в том состоянии, когда вряд ли мог сообщить что-ниб. вразумительное. Так и назвал «Книга», без имени на обложке. Один из парадоксов ее оптики был в том, что в мистериальную околесицу текста почему-то верилось больше, чем в очевидную реальность фотодокумента, которым она заканчивалась. И именно как в реальность верилось больше. (Как у Эйнштейна: чем больше наука опирается на реальность, тем менее она определенна, и чем менее она

определенна, тем более опирается на реальность.)

И вот, когда, казалось бы, весь этот многолетний кошмар начал понемногу меня отпускать, эта самая «реальность» тихо подошла со спины и, как в дешевых фильмах, похлопав по плечу, поманила за собой пальцем, посадила в самолет, переместила в лимузин и с эскортом мотоциклистов в белых перчатках передала в мягкие лапы исполнения желаний.

«Херр профессор, — сказал мне председатель Счетной Палаты Германии, назначенный руководить строительством парка в приморском городе Росток на севере страны, — конечно, Ваш проект, скорее, для Нью-Йорка, Парижа… Берлина, в крайнем случае. Но, согласитесь, когда строился Лас-Вегас, это ведь тоже было Богом забытое место… Вот здесь, — и он указал в центре уже отчасти выстроенного парка огороженный пустырь, — будет стоять Ваша Фигура Времени. Документацию мы уже передали группе специалистов, готовившей недавнюю ЭКСПО…»

Я слушал их, как во сне, глядя на дождь за окном, пытаясь проснуться. Благо, вскоре начались повсеместные сокращения бюджета в связи с переходом на еврозону.

Аллилуйя.

Аминь.

Бубен-бубенок

Две недели прошло, а я всё еще не могу об этом говорить. Да и кому — в никуда? Но и молчать тяжко. Потому пусть пока лягут вот эти строчки, адресные, из письма.

"... Ты ведь держишься, да? Я тоже. Хотя последние дни, да и не только, чуть отпустишь, вернешься в себя, а там все аж подвывает тихонечко. Ты помнишь, я тебе рассказывал про работу в реставрации — в Киеве, в Почаеве, про друга моего чудесного — из тех древнерусских богатырей, мастеровых милостью божьей, с необычайными солнечно карими глазами и душой ребенка. Славик Москаленко. Сгорел. Прошлой ночью. С мамой своей, вдвоем. Замыкание обогревателя. Бубенчик он меня называл, бубен-бубенок. И никто никогда меня с такой самоотверженной нежностью не любил, с такой беззаветной и бескорыстной добротой и детской открытостью. При такой силище огромной, стоящей за всем этим. За последние 30 лет мы виделись всего пару раз, коротко. Но их не было, этих 30, в сердце не было — ни у меня, ни, уверен, у него. Понимаешь, из тех он, кто, доживи хоть до ста — из могилы бы встал, чтоб заслонить меня грудью. Я, наверно, и на треть такого не способен был по отношенью к нему, но ему как-то и этого так благодарно хватало! Помнишь, я рассказывал тебе, как мы, вернувшись из Почаева, работали с ним вдвоем в Рождества Богородицы в Печерской лавре. Поставили под куполом на лесах ведро восколака варить со скипидаром на электроплитке, спустились во двор, сели на качели, треплемся, смеемся, май, облака над Днепром, каштаны... глядим: дым валит из окон барабана и языки пламени. Спокойно так переглянулись, вошли в дым, поднялись под купол, уже не видя друг друга там, и погасили пожар. И снова сидим на качелях...

Понимаешь, помимо самой этой страшной смерти, да еще и с мамой, которую он так лелеял, невообразимо вот что: он ведь был чуть ли не единственным на свете в моем представлении, вернее, без "чуть ли" — вот тем ладным, радивым, обладавшим почти вымершим в людях даром... черт, слова разбегаются... той простой и единственной точности жеста, решения — в прикладном, бытовом смысле, от простых до сложнейших — когда они в его исполнении светились, причем он не демонстрировал это, а жил так во всем, как дышал, и они светились не каким-то там неземным светом, а своим естественным, родным, редким. И я так исподволь всегда радовался этому, такое мне счастье было в этих светящихся мелочах. А когда самому удавалось что-то изредка в этом духе — как же он целомудренно отводил взгляд и улыбку не мог сдержать. Бубеночек, шептал, ну что ты за человек! И так тихо в душе становилось и неловко светло.
Так вот, я к тому, что с кем угодно такое могло бы случиться, но с ним — невообразимо. Как невообразимо и то, кого я увидел, встретившись с ним в Киеве где-то в 2010 после многих лет: навстречу мне шел, прихрамывая, худенький мальчик, без бороды, высокий, да, но далеко не тот, к лицу которого я запрокидывал голову. Оказалось, он год после падения со строительных лесов пролежал в растяжке...

Сейчас передал сыну его — из Мюнхена в Киев — деньги, для папы. А перед глазами: раннее утро, Софийский собор, фреска 40 севастийских мучеников, я выуживаю из предплечья одного из них летучую мышь, сонную, в щели между плинфой. Славик, чуть опоздав на работу, входит растерянный, двадцатилетний: только что проводил жену на аборт... Ты что, говорю, немедленно беги за ней, это же целый мир — живой, твой! Помчался, успел. 40 лет назад.

А теперь будут жечь дотла — то, что вчера не догорело.

Бубенчик. Бубен-бубенок...

Олеся

В ту пору я был немного женат. Она была из Рязани, приехала в Киев к подруге на несколько дней. Подруга нас и познакомила. Дальше началось неизъяснимое. Кажется, мы не произнесли с ней ни слова, просто вдруг совместились и стали одним — мучительно безымянным, бесчеловечно родным. Близость — безотчетная, нежнейшая, кромешная — началась уже в такси и длилась пятнадцать часов кряду, в какой-то квартире, на полу, застеленном узорчатым ковром, и мы плыли по этому ковру из угла в угол, лежа, так, что к утру вся кожа на спине у нее и у меня на локтях и коленях была содрана, но мы этого не чувствовали, встали и, пошатываясь, расстались.

Она поехала в Рязань, а я пошел в Оперный театр, куда устроился сторожем на время его реставрации. Влез на купол, лег там, как на палубу корабля в шторм, и смотрел на качающийся на волнах город. И прижимался животом к этому куполу, под которым стояла сумрачная бездна с воткнутым в нее осиновым колом солнечного луча и плывущими вокруг него мусоргскими лебедями.

Вскоре я поехал к ней, была зима, я нашел ее окошко, и мне показалось, что я вижу ее за морозным узором на стекле, что она смотрит в эту мглу за окном, в эту тихую безлюдь —

день за днем, тысячелетья. Вошел, взял ее на руки и вышел во тьму, где единственным огоньком — на той стороне улицы — была мигающая надпись: «З…ГС», и вернул ее на землю только когда ошалевшая директирисса нас расписала. Потом тормознул какой-то случайный пустой автобус, и всю ночь мы танцевали в проходе между сиденьями, а водитель медленно кружил по городу сквозь снегопад.
Так мы жили потом много лет, встречаясь и расставаясь, не как муж и жена, а как праздник свободы и авантюры родства, чем и была эта роспись.

Да, я ведь не о ней собирался сейчас говорить, а об Олесе, заговорился. Олеся возникла не помню как. Кажется, на одном из перформансов моей «Игры в дым», и осталась у меня на какие-то дни. Образ ее, помнится, был сродни лесной мавке, но тепло-прозрачный, сентябрьский. И еще осталась память об абсолютной гармонии с ее лоном, такой естественной, простой и чудесной, каких, кажется, не бывает. Что же тебе мешает, — сказала она, листая у окна мой паспорт, — вот этот штамп? — и с дивной медленной улыбкой отрывает страницу и опускает ее за окно. И я вижу, как этот листик летит, кружась...

Страничку я вклеил, Олеся исчезла, с женой мы развелись, но много лет и листьев спустя.

Близнец

Не живем ли мы с незримым близнецом внутри нас? Я имею в виду, способны ли мы различать то, что не имеет отличий от нашего ощущения (недискурсивного "знания"? — сложный момент) себя? В отличие от "других" в себе, которых различаем и выстраиваем отношения. И не являются эти "другие" посредниками между нами и этим "близнецом" в слепом пятне?

Ковчег

Киев, середина 90-х, ночь. Институт археологии, актовый зал, в дальнем углу — верещагинская горка черепов с цифрами на лбах и метками на затылках. В другом углу — вязанки костей. Между ними — допотопный ксерокс, из-под крышки которого торчит веник. У стены — длинный «президиумный» стол с бурлящими колбами, книгами, порошками, суспензиями и пр. алхимической ересью. Пол застелен бумагой А-3 формата с наклеенными поверх, встык и внахлест фрагментами текста и графики. Между указательным и большим пальцем он держит букву. Или не букву — какой-то смысловой завиток. Вглядывается в лежащий на полу разворот страниц, там два с половиной тысячелетия, девять языков, 12 государств, 29 авторов. У каждого — своя среда. Семь каллиграфов работают над образами отобранных текстов. В углу стоят рулоны каллиграфии. Около тридцати метров, написанных от руки. Это было б страниц десять на компьютере, от которого он отказался, используя его лишь для подсобных работ, нетворческих. Внутреннее развитие некоторых текстов требует смены характера записи, а порой и материала. Тушь, сухая игла, утюг через копирку, сапожный клей по факс-бумаге,

растворы, затирки, вода, огонь, термические хитрости. Но перед тем — работа с бумагой, то есть миром, куда войдут, обживая его, персонажи. Потому что страница — не подстилка для текста. Значит, прежде нужно создать, найти свойственный именно этому тексту ландшафт, климат, визуальную акустику восприятия. Например, к этому выпуску собран архив узлов и разрывов, отпечатков волос, веревочных лабиринтов, линий ладоней, радужных оболочек, клейких путей улиток, нитяных мотлохов, увеличенной на ксероксе жизни ткани. Речь о дискретности, о белом письме, о слепых пятнах теста, о синкопах синтаксиса, о семантических задержках дыхания, о пранаяме слова, о нитевидном времени, этимологически восходящем к веретену. 29 авторов, из разных времен и углов света, будут неявно, исподволь говорить об этом, и тексты их будут перетекать друг в друга, не смешиваясь, но и не отгораживаясь от симультанных отсветов. Незримые голосники, вмурованные в бумагу, суггестивные переходы смыслов — от влажных к сухим, от света к тени, от дворика к дворику, как в каирских кварталах. Чье-то белье на веревке, граффити на камне, голоса с улицы… Тексты, графемы — и крупные и крохотные, величиной с детский ноготь, наклеиваются на страницу, которая о временем превращается в многоярусный палимпсест. Наконец, он вклеивает и эту, последнюю, буквицу-небылицу, похоже, там, где ее никто и не увидит. Но без этого, почти недоступного зрению, визуального обертона, как мнится ему, не придут в движенье все елки на свете, все золотые шары… А в жизни разве иначе? Линейно, последовательно? Это потом Ламарк приходит, лесенкой обувь выстраивает. А вот безвестный Караманов, композитор, с которым Шнитке учился, считая его гением, а себя головой пониже, живет (умер недавно, — С.С.) в симферопольском пародонтозом дворике и пишет симфонии, для исполнения которых необходимы девять больших играющих одновременно оркестров. Кто слышит его музыку — ангелы? Рыбы? И кому нужны эти нотные лестницы Иакова? Нужны, значит. Недешево я беру, сказала ведьма русалочке. Может, пришла пора схимы культуры, нового средневековья? Куда пришла? К кому? Здесь не живут такие, съехали.

Снег сыпет в окна. У входной двери — привратник, спит, опустив голову на стол. Все, что осталось от института археологии — бесхозная горка черепов из прошлогоднего раскопа. Тусклый мигающий флуоресцентный свет. В дальнем конце зала, в полутемном углу сидит фигура с неясными чертами лица. Сидит на корточках, молча наблюдая за ним уже не один час. Теперь, когда за окнами уже светает, фигура встает, подходит, протягивает руку. «Сергей», — говорю, пожимая. «Как назовешь», — отвечает. Странное лицо. Между инком и иноком. Чуть женственное? Да, быть может. Но как бы сквозь опиумную дымку. Креол? Перуанец, сошедший с гор? Легкая, пружинистая походка, чуть раскачиваясь, будто нога еще помнит тропу. Длинные черные волосы, убранные назад, за спину. Быстрые, точные движения, оттого кажутся как бы замедленными. Одежда, шитая, видимо, им самим, сумчатая, лоскутная, как легкий пешеходный домик с флигелями и тайниками. Ждет с улыбкой. Не лицо, а книга перемен. «Дзын», — говорю. — И. Дзын». — «Хорошо, пусть будет Игорь Дзын». Так стало нас двое.

А потом, что ли месяц спустя, возник Варел, и мир потек через край, четвертому в нем уже не было места. Пришел он, как и Дзын, ниоткуда, на свет в окне. Длиннополый холщевый хитон, на боку — меч, за спиной — барабан. Китайский монах, воин, сновидец. Один глаз — вперед вперен, другой — чуть закатившийся вверх, к небу. Тот, что к небу, кажется, лет на пять старше. «Да, — говроит, глядя на ковчежные листы, рассыпанные на полу, — похоже на лесбийскую свадьбу вавилонской башни с башней слоновой кости». Чуть запрокинутая голова и этот легкий посвист на вдохе — будто выуживает из воздуха

эти, еще не легшие на язык, слова. Он ходил по утрам на Лукьяновский рынок, бил в барабан, дул во флейту, брал овощами, клал их в ту же котомку, где лежал томик Хлебникова и Сковороды. Возвращался в отгороженную коморку, писал картины а ля таможенник Руссо. По сравненью с его речевым запасом, ящик Пандоры казался паинькой минимализма. Но на волю слов он отдавался не с каждым. Напротив, производил впечатление молчаливого, чуть юродствующего в своей косноязычной замкнутости человека. За отсутствием равного собеседника его кромешные речевые игрища проходили наедине с собой. Его скорость ассоциаций в деле напоминала разгар сабельного боя. При том, что там, в гуще, в мельтешении сабель, его никогда не было. По весне он шел сквозь город по реке, прыгая с льдины на льдину, с самурайским мечом на боку. А потом, в небе, на вершине ржавеющего лыжного трамплина, покрывал возлюбленную подснежниками, приговаривая: «Не все на свете так умопостижимо, не все…».
Дзын рос в Алжире. Вслушивался в рост растений. Долго. Как обычно не происходит у большинства из нас. По слогам читал воздух, свет, воду. Учился каллиграфии внимания, учился чтению — медленному, как минерал. Присматривался к ремеслам. Руки жили чуть впереди, с делом. А тело жило с собой, как брат с сестрой. А голова была к небу развернута, которое не всегда вверху. Письмена читала, травку покуривала, со звездами говорила. А ноги выхаживали бездомье. Варел тем временем осваивал духовные практики Китая, родил трех сыновей от разных стихий, издал тезаурус своих сочинений, продолжал занятия живописью и архитектурой, ездил на семинары по работе с тонкими энергиями, перемещал облака. Дзын двигался в сторону Киева, приращивая территории ручного ремесла и обиходной магии, на ходу перерастая персонажей Коэльо.
Радость, ни с чем не сравнимая — от этого дара встречи, когда трое стали одним в этой ковчежной лодке.

Язык и небо

Подумал, что всю жизнь — с детства — был счастлив. И в отчаянье тоже. Хотя бы тем, что всегда и только — делал лишь то, что хотел и любил. Что никогда не был зависим ни от чего. Что всю жизнь шел один. И жил там, где хотел, но и не придавая этому особого значения, понимая, что все эти "там" — будь то Россия, Индия, Украина, Америка или Европа — не более чем психоландшафты (до тех пор, пока не отстреливают). А здесь — лишь язык и небо. И за все это счастье расплачиваешься соответственно.

Ссылка

Сегодня ночью Данте Алигьери дал ссылку на свой развернутый текст о моей книге "Ее имена". Ссылку не виртуальную, а буквальную, по которой надо идти дорогами и тропами... Никогда мне не снился ни Данте, ни книги мои, настолько странно, что я, перевернувшись, отвлекся на другой сон.

Третий путь

Я попробую сказать об одном из самых сильных, неизъяснимых, интимных переживаний в моей жизни. Не думаю, что я слажу с этим, тем более, в двух словах, и буду при этом хоть сколько-то правильно понят. Но рискнем.

Середина 2000-х, зима, гуляем с моей 19-летней дочерью по Замоскворечью. (Здесь небольшое отступление. Был у меня когда-то милый короткий роман в Киеве. А семь лет спустя — звонок в дверь: она, с шестилетней девочкой, до одури похожей на меня. Она с мужем теперь в Москве, а девочка — в Киеве, с бабушкой. Мы подружились, очень, хотя до своих 12-и она не знала о том, что я ее отец. Пока однажды в Гурзуфе мы с ней не укатили на водном велосипеде далеко от берега, и она там все выспрашивала лукаво: а что это мы так похожи с тобой? И здесь, и вот здесь… и любим с тобой одно… И так далее, пока прямо не спросила о главном. И от счастья свалилась за борт, и там, уже оба мы — тонули и всплывали с этой безудержной радостью, и лупили ладонями по воде. Ну много всего было потом — и походы, и пещерные города, и тьмы разговоров и приключений… Затем она переехала в Москву, поступила в универ на лингвистику, встречались мы реже.) Да, так вот идем мы по Замоскворечью, подмерзли немного, поздний вечер, зашли в клуб «Третий путь» (полуквартирник такой был, не знаю, есть ли сейчас), музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное — одно, другое, и как-то так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами — сидеть, разговаривать, улыбаясь, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, — говорю ей. Иду в туалет, выхожу, а там, на выходе, тамбурок такой полутемный — между баром и танцевальным залом, где какой-то блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И как это произошло, я не знаю. Просто была одна жизнь, и кончилась, я вывалился из нее, из времени, из всего, что было со мной связано. То есть не со мной, потому что только сейчас я нашел ее — эту женщину, такую родную, такую мою, что если б я мог заплакать, они б, эти слезы, текли ручьями — от счастья, от нечеловеческого счастья этой встречи, этого дара, которым, наверно, нельзя так людей испытывать. С такой сметающей всего человека силой нельзя. И вот мы стоим в темноте, прижавшись друг другу, еле касаясь губами, ресницами — так, что лица я ее не вижу, но и видеть не нужно, — может быть, и прикрыты они у меня, глаза. Потому что все уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, и это уже навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Да, быть может, но не сейчас, потому что в этот миг — чуда — это совсем не важно. Неизъяснимое чудо — вот и вся недолга. А я, грамотей, дурачина, думал, что-то должно предшествовать — тропки-дорожки, вглядыванье, узнаванье… Нет же! Вот так, и только — вдруг — чудом. Кто ж эта женщина, которую чувствую каждой клеточкой тела, с которой живу и стою здесь прижавшись вот уже тысячу лет? Точнее, лечу в этом звездном потоке, — земли и в помине нет под ногами. Кто она — с моими ладонями на ее щеках, или ее ладонями на моих? И я все стою с закрытыми глазами, а она тихо так отдаляется, как отплывает, но мне не страшно, то есть светло и страшно, но лишь потому, что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять… Она где-то здесь, как и я для нее — где-то здесь. Мне спокойно, так светло и спокойно, как никогда, только сердце дрожит, но не от тревоги, от счастья. И я возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чем-то разговаривать с дочерью, что-то еще заказываем, я вижу ее губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет — меня относит туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь,

— говорит она, — где ты? И я рассказываю ей — сбивчиво, об этом. У нее такое лицо изумленное. Разве ты, говорит, не понял? Это же я была.

Дикий Кур

А знакома ли вам эта бездна между просто ужасом и ужасом тихим? Я ступил в нее в четырехлетнем возрасте вслед за Диким Куром. Не больше страницы занимал этот Кур, но застил весь свет — и тот, и этот. Куд-куда, куд-куда… — вьется Кур у ног путника, заморачивая его, сбивая с пути, уводя все дальше. И вдруг озирается человек и видит: бездна — и под, и над, и во все края. А где ж дорога? — спрашивает он. — А нет ее, — шепчет Кур. — А где ж мы стоим? — обмирает человек. — А нигде, — водит глазами Кур, растворяясь во тьме.

Эту русскую сказку, переписанную Алексеем Толстым, я просил отца читать мне перед сном снова и снова. И все попытки его прочесть мне других сказочников — Андерсена, братьев Гримм — ни к чему не приводили. Кур вился у ног. Куд-куда? Куд-куда? На Кудыкину гору — отвечай, чтобы не сглазить, не закудыкать дорогу. Пока не поздно. Мне уже было поздно — в четыре.

Борхес

Наткнулся в сети на давнее интервью Алеши Парщикова — тех времен, когда он, помимо прочего, был занят в Кельне англоязычным интернет-проектом "Стихотворение на каждый день", а я в Мюнхене занимался проектом гигантского города-лабиринта "Фигура Времени" и писал книгу "Книга":

"Посещая сайт “Слово в день”, я начал замечать разного рода совпадения. Есть такой поэт Сергей Соловьев, который болен борхесовскими лабиринтами, пишет о них книги. В день, когда он приехал ко мне в Кельн, чтобы ехать дальше в Амстердам, пришло слово “лабиринт”. Хорошо. Соловьев заказывает машину, чтобы ехать на вокзал. А там форма заказа, что если частная машина едет мимо, она тебя подбирает, а ты потом расплачиваешься как за такси. Ему попадается какая-то женщина, которая везет его. Приезжают на станцию, она заполняет бумаги и в графе фамилия пишет — Борхес. Она танцовщица в каком-то театре и понятия не имеет о писателе. Сережу это потрясло. А вообще такие совпадения, которые ты, радуясь, воспринимаешь в течение дня, очень быстро забываются. Как добрые сны, как приснившиеся стихотворения".

Не она

Второй день не могу справиться с неизъяснимым потрясением, просто тихо скольжу в эту бездну. На "Культуре" показывали фильм о Льве Толстом. Он женится — как-то второпях,

за две недели, ему 32, Софье — 18. Наутро после свадьбы он пишет пять букв: "Не она". Вот если б Господь на утро седьмого дня сказал, глядя на мир: "Не он", я бы особо не удивился. А тут... Для тех, кто понимает.

Крым

Когда в 1989 я махнул свою киевскую квартиру на Гурзуф (кстати, до сих пор прописка у меня крымская), я ухнул в одни самых счастливых лет своей жизни: бродил по яйле в стадах оленей (тогда живых еще), втыкал палки в свалившийся на меня при обмене огород, и они расцветали — то инжиром, то персиком, а семена проступали то дынькой, то хреном, мускат стоил 2.50, я писал книгу «Дар смерти», которую потом набирала в крымской степи под Белогорском наборщица-доярка, а мы с редактором возили ей в сумке свинцовые буквы латиницы, море, по Чехову «пахло арбузом», мы с моей рязанской женкой тонули в кисельном счастье и совершенствовали камасутру повсюду — от ветвей деревьев на спине Аюдага до обочин дорог, а когда в нач. 90-х не стало вначале горячей воды, потом холодной, потом отопления, потом электричества, и зимним штормовым ветром высадило окно квартире, и начало ее вместе 5-летним сынишкой засыпать снежком, мы весело ее бросили и сняли курятник в Ливадии, который оказался пристройкой к бывшей конюшне Николая II. Так вот, несколько позже, когда я уже был один, в зимнем Гурзуфе, и электричество давали ровно с 6 до 9 вечера, и все в этот момент одновременно включали в сеть все, что только можно (при отсутствии отопления и газа), и тут же, электричество вырубалось, не выдерживая напряжения, а электрика ждать можно было неделями, я помню, как повесил в своей парадной объявление — мол, давайте соберемся у меня сегодня в 19, дверь открыта, я знаю, как решить проблему — хоть отчасти: создадим график, чтобы не одновременно вышибать пробки. Как говорил Маяковский: «В семь, сказала Мария. Восемь, девять десять…». Так никто и не пришел. И стояли у окон всю зиму, как в летаргии, в телогрейках, прижимая детей к груди. 8 месяцев летаргии, 4 — сезон. Это и есть время, крымское. Другого нет, часов тут не носят за ненадобностью. Индусы тоже не носят, но по-другому: нет начала времен, нет отсчета, есть 12 календарей — вроде комикса. Но чтут письменность, в отличие от. В те же годы я много писал о Крыме (потом это собралось в книгу «Крымский диван»), сегодня всплыло одно шутливое стихотворение оттуда — сегодня оно читается уже несколько иначе.

Крым похож на цветущий лобок.
Тайна ног — в пучеглазой пучине.
Вероятно по этой причине
Здесь бывали и Пушкин и Блок.
Его бедра — крутой Тарханкут
и крутой Казантип. И попарно
там росли созревая татары,
плодоносил кацапокугут,
в море греки впадали, и Грин
разбавлял феодорино горе,
минотавры паслись на просторе
и щипали плакучий раввин.
Много леты текло. И у скал -
В красной шапочке солнце оскал

волка черного моря в овчине
пены разоблачило. В ночи не
шевельнется ни дьявол ни бог.
И ни Запада нет, ни Востока.
Остывает цветущий Лобок
и целует звезда между ног
его в родинку — в Севастополь.

Тарарахнул занзивер

Скажу о том, на что не оглядывался. Но и теперь не собираюсь искать подоплеку и объяснения. Просто скажу о факте. Треть жизни я отдал смеху. Как омуту, с головой. Кульминацией этого смеяльного столпничества был период где-то с четырнадцати до двадцати пяти лет.

В ту пору нас было пятеро неразлучных друзей, смеялись мы до упаду дни напролет — по поводу и без, надо всем на свете, и подо всем, и сбоку, и со всех сторон, до колик, до изнеможения. Это, конечно, не отменяло и других состояний ума и души, но воздухом, которым дышали, был именно смех. Чтобы быть правильно понятым: от нормы веселого и крайне смешливого человека это так же отличалось, как от камень от лошади. Двадцатилетний гомерический марафон. Путешествуя товарняками по бывшему Союзу, наряжаясь фриками с раскладушками вместо рюкзаков и в комнатных тапках в тридцатиградусный мороз отправляясь в бесконечные походы, и в тех же тапках полуголые, хохоча, взбегая на Эльбрус, угоняя «кукурузник» и рея на нем, изнемогая от хохота, над степями Украины, срывая ночью красные флаги с домов на центральной улице в канун Октября, перешивая их на походные балахоны, собирая веселую милостыню в электричках, бесчинствуя и лицедействуя повсюду, вплоть до священных государственных границ, умирая от смеха в «обезьянниках» и на допросах, но и без всего этого — в пустоте, в темноте, при одной только мысли друг о друге или о себе, или о жизни в целом — мы уже наполнялись смехом.

А началось все, когда меня восьмилетнего перевели в другую школу в связи с переездом родителей. Я вошел в класс и увидел вдали мальчика, окунавшего перо в чернильницу, встретились взглядом и рассмеялись так безудержно, что как нас ни выставляли за дверь — обоих и поочередно — остановиться мы уже не могли. На многие годы. Мы и сейчас, не видясь лет пятнадцать, встретились этим летом в Киеве и не могли толком не то что поговорить, а и разглядеть друг друга — как тогда, с этим пером, тюкнувшим в чернильницу.

Где-то с класса пятого-шестого в школу мы уже не ходили, а наведывались временами между нашими странствиями — ближними и дальними. Помню, как-то вхожу — урок географии, Индию проходят. Старенькая, оплывшая географичка в черепаховых очках, сама как Индия в тумане. Я начинаю: «Индия, о высокочтимый мой Учитель, находится почти на самом краю земного диска и населяют ее золотоносные муравьи…» Ну и так далее — из той пластинки про Хотабыча и Вольку-ибн-Алешу. Она еще как-то пытается

поначалу держаться, но я уже, войдя в раж, несу такую околесицу под улюлюканье класса, что она тихо оседает на стул, бледнеет, приезжает скорая… Нет, все обошлось тогда. Стыдно, конечно, оглядываясь, но уже не вычеркнуть.

Или вот в классе восьмом, кажется, прихожу в школу — садху такой, в патлах, чумазый, одет во что-то несусветное. Директриса меня затаскивает к себе в кабинет, а я медленно так хладнокровно довожу ее до истерики своими репликами, она в ослеплении пытается сорвать с меня одежду: мол, голый будешь ходить у меня! Ну-ну, говорю, помогая ей, посмотрим. А несколько дней спустя я устроил ей пышные похороны — по высшему разряду. Соорудили гроб, положили в него ее муляж — голый, чуть прикрытый, на удивленье удавшийся, вплоть до лица и прически, украсили цветами и понесли вокруг школы — круг за кругом, ясным погожим днем. Самодеятельный оркестр, процессия, рыдания в голос, причитанья навзрыд, распахнутые окна, запруженные школьниками… А по окончании школы, после моего очередного перформанса на вступительных экзаменах в Художественный Институт, когда я вынудил опешившего преподавателя истории СССР поменяться со мной местами, поскольку теперь у меня к нему оказалось пару вопросов, я уехал на два года в Почаевскую Лавру работать художником-реставратором. Жил я там же, в монастыре, и практически делил с монахами весь их быт, что было, конечно, с моей стороны идеологическим предательством по отношению к направившему меня советскому учреждению. Поначалу было чудесно, но и невыносимо, поскольку нас там со смехом было только двое. Вскоре я сошелся с одним дьяконом (по кличке, данной ему самими монахами, — «комсомолец»), и мы с ним, выбираясь через окно барабана на крышу высоченного Успенского собора (я по лестницам, а он, в рясе, по решетке лесов, подтягиваясь с переворотом), гоготали там, распугивая ворон и высматривая в бинокль хорошеньких прихожанок.

Увольняли меня из этой эпохи реставрации не раз. Бригадир-партеец (с фамилией — и это чистая правда — Честнейший) вручал мне докладную записку на меня, которую я должен был передать в Киеве начальнику. Я брал ее и ехал во Львов на неделю — гулять-веселиться. Благо, денег у меня было тогда — хоть самолет покупай, поскольку после дневной работы я тайно расписывал одну хуторскую церквушку, и прихожане были щедры (однажды они выдали мне месячную сумму монетами — пришлось везти эти неподъемные килограммы денег на строительной тачке ночными дорогами, чтобы к рассвету доволочься к монастырю). А на обратном пути из Львова я дописывал на той докладной слегка изменившимся почерком: мол, идеологическая работа с Соловьевым проведена, взыскание наложено, рекомендовано приступить к выполнению обязанностей с такого-то числа. Подпись (начальника). И, вернувшись, продолжал танцевать свое авантюрное счастье на двоих, дожидаясь приезда друзей, когда мы ночью уведем из монастырской конюшни исполинских огненных лошадей и с дурацким хохотом ускачем в счастливые дали…

Так продолжалось где-то до тридцати, потом я переехал в Крым, но и потом, во второй половине жизни это «перо с чернильницей» никуда не делось, просто играло на других полях. И еще лет пять назад я просыпался в слезах от смеха или вдруг падал, левитируя во сне, от него же. Как когда-то в детстве, помню, снился мне в течение нескольких месяцев кряду какой-то сон-сериал, выдуманный, уморительный, продолжаясь на следующую ночь ровно с того места, на котором прерывался, настолько смешной, что я вываливался

из кровати и находил себя наутро в разных углах комнаты, и от этого каторжного смеха за ночь все тело ныло и жаловалось: больше не надо, выключи!

Ну теперь с этим, слава богу, полегче. Хоть с этим. Не вываливаюсь из кровати.

Где ты, жизнь? Мисюсь, где ты?

Связь

Мир природы — от Бога, а мы от демона — того, поверженного. И еще вопрос, чья отцова травма глубже.

Нольдистанция. Игра в Дым

Я в растерянности. В двух словах не скажешь, об этом надо бы книгу писать. Но я мало что помню (как-то всю жизнь с азартом в будущее вглядывался, ближайшее, а прошлое гуляло само по себе, без поводка). Островки, вспышки. Странно, ведь это было, наверное, одной из самых чудесных творческих авантюр в моей жизни. И, надеюсь, не только в моей. А никаких следов. Даже фотографий не осталось. Те несколько, кот. нашел, — не дают никакого представления ни об атмосфере (переполненных залов, когда публика висела на окнах, теснила нас со сцены, ни о самом «театре» — действо состояло из нескольких «спектаклей», идущих одновременно на сцене, в зале, над залом, за его пределами и составлявших единый спектакль, который постоянно находился в стремительных изменениях, опережая не только возможность адекватного считывания, но и свои очертанья, перерисовывая их на ходу. Назывался он «Игра в дым», а театр — «Нольдистанция». Было это в Киеве, в 1986, возник спонтанно — после одного из моих поэтических перформансов, объединились и двинулись. В качестве текста взяли мою поэму — задиристо ироничную — «Игра в дым». Вскоре город залихорадило нашими постановками, началась истерия в газетах, угрожали Сибирью, вились гэбэшники, перекрывали пути, но мы все это как-то весело смахивали и продолжали «брать» город. Черт его знает, почему год спустя мы остановились. Может, на слишком больших оборотах начали и надо было переходить на более спокойный режим. Ведь в основном публика шла на нас как на скандал, на шумный прорыв в махровом застое тогдашней жизни, и упускалось все то, что хотелось донести — поиски новой эстетики, образный ряд, какие-то тонкости и пр. Но перейти на этот спокойный режим тогда, наверное, было непросто — в том полулегальном положении и при тех наших амбициях и кураже. А произойди это, думаю, возник бы совершенно новый театр. Во всяком случае, все, что я за эти 25 лет после «Нольдистанции» видел у нас и Западе, оставляло за тем началом большие преимущества, похоже, никем не наверстанные.

Пригов

Смотрел вчера лекцию Михаила Ямпольского о концептуализме и Пригове, и вспоминал наши с ним, Приговым, встречи. Среди разных и в разные годы, был такой странный период в 2005, кажется, когда мы встречались чуть ли не ежедневно, приходя в клуб Дом задолго до начала каких-то мероприятий там, и слонялись с бокалом чего-нибудь, каждый в своем межвременье, — видимо, оба мы тогда что-то похожее переживали. А когда траектории пересекались, останавливались, улыбались друг другу, испытывая какое-то особое расположение, доверие, которое хотело говорить, как с очень близким, но всякий раз откладывало, ограничиваясь какими-то малозначащими фразами, которые так же, как мы, потом слонялись по еще пустынному залу.

Как-то я попросил у него тексты для "Фигур речи" — альманаха, который издавал в те годы. И вот в Доме он спрашивает: ну как там мои тексты, напечатали? Нет, говорю, я их не взял... И улыбаемся, и расходимся. А потом сближаемся на втором-третьем круге: это, говорит, мне нравится — что не взяли, очень нравится. А я: ну не то чтобы не взял, даже наоборот: взял и напечатал. Но не там. Вот именно, говорит, очень, где же? В Речевых ландшафтах, говорю, в Оргазме и катарсисе. И расходимся.

А как это вы, Сережа, говорит он на следующем круге, умудряетесь покидать Москву на столь длительные периоды — в Индию или еще куда? Я вот, когда отлучаюсь, крайне волнуюсь — разве можно? Это ведь все время надо поддерживать, Вы не находите? Да, говорю, только вот с какой стороны? И расходимся...

И еще вдруг сейчас вспомнил, как он звал меня на свою выставку, проходившую где-то на краю города. Пожалуйста, Сережа, мне бы там очень хотелось Вас видеть... Как-то так беззащитно и одиноко тепло...

Дом композиторов

Давно это было, тысяча и одна ночь тому, в зимней Москве. Встретились мы на каком-то шумном вернисаже в Москве. Точней, столкнулись в толпе — и взглядом и фужерами. И прошила оторопь — обоих — телесная и та, что над. Вышли, ни слова, кажется, не произнеся. Ночь, метель, долго кружили по заснеженному городу, замирая, вглядываясь друг в друга и прижимаясь. Ее полумуж видел, как мы ушли, и рыскал по улицам со своими друзьями-кавказцами. А мы оказались в каком-то дворике на Тверской, у Дома Композиторов, вошли с черного хода, поднялись куда-то, ткнули дверь и прикрыли ее за собой. Полутьма, жиденький свет фонаря за окном. Огляделись. Это был склад муз. инструментов. Валторны, трубы, контрабасы, они лежали на полу, вповалку, накрытые какими-то блеклыми одеяльцами, чуть выглядывая из-под них, мерцая. В дальнем углу — припавшее на бок фортепиано, нотные листы, рассыпанные повсюду. А на стенах — портреты композиторов. Суровые, задумчивые лица в тяжелых позолоченных рамах. Глинка, Чайковский, Мусоргский... Со зрачками, как водится, ровно по центру, чтобы видеть тебя, как бы ни уворачивался от взгляда. И вот мы лежим посреди этой комнаты, на полу, на сдернутых с музыки одеяльцах, обнявшись, прижавшись друг к другу, и я смотрю поверх ее голого зябнущего плеча на эти стены, откуда не сводит с нас глаз весь этот сонм композиторов, весь их 19-й век. И от покачивающегося за окном фонаря и

света, скользящего по их лицам, они кажутся не менее живыми, чем те, на кого они смотрят.

Книга

В конце 90-х я написал книгу, способную лишить разума, похоже, любого, различающего буквы. Буквы, изображения и числа. Она так и называлась: книга. Без имени автора на обложке. Написана она была довольно быстро, но подготовительная работа длилась четыре года — круглосуточно. К счастью, вышла эта книга мизерным тиражом: в Москве продавалось, думаю, несколько десятков экземпляров и в Киеве столько же. В Сети книги не было и нет. «Комментарии», М., СПб., 2000., 150 стр. плотной оберточной бумаги, формат книги — квадрат.

Аннотация — с крайне серьезным лицом, едва сдерживая эту мину — предуведомляла: «Полиморфная история странствий намерений и языка, развернутая вокруг авторского проекта Фигура времени, образует четырехъярусную одиссею книги. Травестийная дискуссионная группа, заточенная в один из ярусов, вступает в виртуальный обмен с Фигурой, являясь своего рода читательской проекцией происходящего».

В ту сторону, куда двигалось развитее проекта, указывают две цитаты: «Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который бы охватывал прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю вселенную… Потеряв ощущение времени, я почувствовал себя самим сознанием мира» (Борхес) и «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие вкусят от плодов его» (Соломон).

История создания самого проекта лабиринта дана ниже, после этого текста (я написал это здесь, в фб, 2 года назад, сопроводив снимками). Сейчас я к тому альбому добавил несколько сканов самой книги и попробую о ней сказать несколько слов.

Книга начиналась с раздела «Дромос» (то есть вход в лабиринт): 20 страниц сумрачной графики на мелованной бумаге — медитативная адаптация зрения, восприятия. Прерванная посередине несколькими фрагментами текста под номерами 35.6, 35.7… — видимо, из другого раздела.

За ним — протяженный текст «Четверг обитания», сказать о котором я ничего не могу, просто не нахожу себя достаточно подготовленным. Формально — это некие фрагменты речи под номерами, разножанровые и разностилистические, где-то рваные, где-то тщательно вменяемые. С большим разлетом — от сухо интеллектуальных до — «вихрем жалобным и воем», от стихотворной ткани до мистериальной госсолалии (той «дискуссионной группы», в которую входят некий Дзын, Варел, Патрица, Третий во мне, Мария Атоповна и др.). Отчасти это похоже на дневник трудов и дней человека, челночащего меж двумя реальностями: бытовой (лирической) и на глазах создаваемой реальности будущего лабиринта «Фигура времени». На полях и разворотах книги все чаще появляются чертежи, расчеты, графемы.

В третьем разделе дан сам проект — архитектурные выкладки, описание и два возможных опыта прохождения человеком этого лабиринта (один — среднестатистического посетителя — дан обычным способом, по ходу движения страниц, другой (видимо, авторский) — обратным течением, вспять, на нечетных страницах, вверх ногами. В

последнем разделе — 3-D изображения Фигуры как уже существующей. И завершается списком благодарности тем, кто содействовал развитию проекта: японскому ордену Ниподзин, профессору Галимберти, Питеру Гринуэю и др.

После выхода книги я снова бросил писать и на годы исчез из поля видимости. Тем временем появилось четыре отклика на книгу: три — по горячему следу, и один — лет пять спустя. Но можно сказать, что и ни одного. Последний написан Алешей Парщиковым и входит в его книгу «Рай медленного огня» (его тоже нет в Сети, а жаль, что НЛО не выкладывает книг даже многие годы спустя). Это эссе, скорее, не о самой книге, а о проекте лабиринта. Не потому, что книга его не достаточно заинтересовала. Напротив: он считал ее уникальным событием и не раз сетовал, что «круги» ее проморгали, в частности, круг премии Белого. Просто в этом эссе и тема и задача у него была другая. Первым был краткий отклик Дмитрия Бавильского, где он пишет, что я мыслю уже не строфами, но громадными массивами лирической прозы с троюродными отношениями между означаемым и означающим, тем самым «обретенным временем» вечного становления. И заканчивает тем, что прочитать эту книгу невозможно — ни разом, ни по частям, изменчивым, как калейдоскоп, с финальной фразой из Пруста: «Сколько великих соборов осталось незавершенными». Между ними — две довольно протяженные рецензии. Одна — Александра Касымова в «Знамени», где он блуждает в лабиринте книги, в этой, по его словам, литературной башне Татлина, и рецензия Александра Уланова в Русском журнале.

Оглядываясь

Когда-то по молодости я сказал, что мир спасает не красота, а разлад — потому что дух с ним в работе, а в красоте отдыхает. Ох не знаю, не знаю теперь.

Аахен

Пограничный с Голландией немецкий городок проституток и сифилитиков (18-19 в.), а в прежние времена известный своей королевской резиденцией Карла Великого, дух которого наматывает уже вторую тысячу лет в одноименном соборе, а волшебное кольцо Карла, спрятанное в пригородном замке, до сих пор в розыске.

О Карле, среди прочего, любопытна и такая история: лет двести спустя после его кончины, пришел варвар с севера, захватил земли и для пущей важности влез в гробницу к Карлу и выдрал у него зуб. Карл, по словам свидетелей, сидел в гробнице со скипетром и в мантии, как в кресле стоматолога. Варвар вставил себе его зуб и подписал: «карл». Это был последний из подписных зубов его широкой варварской улыбки.
Где еще, как не в этом городке, встретиться к Катей Дробязко и маленьким Матвеем Парщиковым.

И вот идем мы по заснеженному безнебесному Аахену и решаем с малышом, какой леденец преподнести духу великого Карла — лимонный или апельсиновый,

останавливаемся на каждом перекрестке, пересчитываем леденцы, он шевелит губами, перебирая варианты возможной речи, обращенной к духу, переспрашивает меня, будет ли он один или со своей королевой и пр. Мы очень увлечены, мы приближаемся к Карлу. Как когда-то приближался — к другому Карлу — его отец, Алеша, живший на поле полтавской битвы. И, возможно, так же шевелил губами, подбирая слова.

А тем временем мы перекидываемся репликами с Катей о поразительном сочетании христианских реликвий, угораздивших этот вздох-городок. Здесь хранятся — буквально, через запятую: платьишко Марии (в котором она рожала), пеленки Иисуса (но не нижние), набедренная повязка его, повзрослевшего, и тряпка, в которую была завернута голова Иоанна Крестителя. Все святыни — х/б.

В собор мы вошли с леденцами за щекой, а третий — в руке маленького дароносца, который был очень взволнован и все переспрашивал: а достаточно ли одного зеленого леденца или добавить пакетик сахара и лимонной воды, умыкнутой нами из булочной. Хотя, вздыхал он, ты говоришь, что он тысячу лет не видел леденца… Долго искали, где ему оставить его. Наконец, сошлись на кадке с какой-то зарослью у алтаря, которую сторожил грифон. Маленький Парщиков стоял, сунув руку в эту зелень и что-то шепча, зажмурившись в сумрачном витражном соборе.

Из переписки

Как-то мы решили с Михаилом Шишкиным затеять своего рода эпистолярную одиссею — о буднично вневременном. По иронии судьбы, начало переписки пришлось на конец февраля, накануне роковых событий на Майдане. Я успел написать первое «вневременное», письмо Миши уже целиком был развернуто в сторону Майдана. Я ответил, после чего мы решили отложить нашу затею до лучших времен. И вот, четыре года спустя перечитав эти письма, я думаю, можно показать их, опустив Мишино письмо — без его согласия делать это я не вправе, но и по его публичной позиции и по контексту понятно, какое оно. Вот мои два — до и после.

19-02-2014
Я помню, Миша, как однажды в безвременье между Старым и Новым я приехал к тебе в тихую деревушку, где ты поселился, назвав ее своей «ясной полянкой», и каждый день мы выбирали, куда пойдем: направо — в Швейцарию, или налево — во Францию, потому что деревушка эта находилась ровно на границе, но никаких примет этой границы не было. И вот мы ходили по горам, то разговаривая, то молча, то останавливаясь у неожиданно встречавшихся на пути лам, глядевших на нас, как венеры в мехах. Кстати, знаешь ли ты, что антропологи обнаружили у Милосской неправильный прикус? Вот тебе и «плохая физика, но какая гармония!». А потом возвращались, стряпали, читали (ты уходил на мансарду), а к вечеру садились у камина, открывали бутылку хорошего вина, расставляли шахматы, и разговор шел своею дорогой — мимо шахмат и огня, а порой казалось, и мимо нас — сам себе человек. Вот и сейчас, Миша, давай расставим шахматы и посмотрим, в какое «никуда» он пойдет. А для первого хода — такая картинка.

Смотрел я вчера на ютюбе двухчасовую речь Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине мира, об отсветах Киркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной вахане, способной приблизить нас к неименуемому, настоящему, попросту говоря — к озарению жизнью.

Смотрел, а в глазах всплывала земля Семи сестер (это в Ассаме, юго-восток Индии), куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. И вот в глухую деревушку рядом с одним заповедником у Брахмапутры, где я пару недель жил вылазками в джунгли, приехал передвижной театр — вроде индийского «Глобуса». Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с джунглями, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями, или садились просто на траву. Моими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с шарфами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полутораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшем в джунгли или с диспетчером (двумя днями ранее я ходил в ночную с таким патрулем: когда наутро мы возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов. Кончив, они допилили рог у полуживого носорога и исчезли). Спектакль длился часов 5-6. На местном наречье. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и пр. А за спиной — но еще далеко — горели джунгли. И огонь стремительно приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот, погруженный во тьму, зрительский островок находился как раз между двух этих освещенных сцен: актерами перед лицом и горящей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей — ладонь женщины, силуэт которой во тьме. И во тьме ее живота — наш ребенок, зачатый в джунглях, в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И вот я думаю, эта неясная полянка между мирами — там, в земле Семи Сестер, на чужом наречье, с этой ладонью в руке и заревом за спиной — и есть я, дом, род, родина, здесь и сейчас. Ведь родина — не земля под ногами, не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распахивается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновенье и где угодно. И так же безотчетно покинуть — до следующей встречи, непредсказуемой и иной. И этим окном может стать вечер, ладонь, зарево за спиной… Душе ведь закон не писан, и родина ее не здесь. А как ты это чувствуешь? Наверное, по-другому? Ведь при всей нашей чуткости друг другу, есть и естественная разность: здесь, например, как между странничеством и уединенностью.

И еще. Вот Кафка говорит: «Есть цель, и нет никакого пути. Путь это наши сомненья». Как ты думаешь, о какой цели тут речь?

23.02.2013

(…) Вот, Миша, думали поговорить «в стороне от мира», да видно нельзя никак. Да, в эти дни мир стал другим, Украина — другой, но и мертвых не воскресить. Ты вспоминаешь маму, ее связь с Украиной, а я киевлянин с головы до пят, в нескольких поколениях, и родился и вырос Киеве. И вот смотрю я в свой паспорт гражданина Украины, в паспорт человека, о котором нельзя сказать ни что он не живет на Украине (поскольку живет), ни что он эмигрировал (поскольку не живет там, куда вроде бы переехал), ни то, что он в Индии (поскольку для него это, скорее, не страна, а наиболее близкое состояние), смотрю

и думаю, что сильно меня отнесло за годы странствий от этих, да и других берегов, что нет никакой родины, нет никакой борьбы за «светлое будущее», нет коллективной свободы и нет смысла ни в чем, приносящем жизнь в жертву подобным фантомам. Ни одна война, ни одна революция, ни одно религиозное движение не оправдало благих намерений. Все они обернулись дорогой в ад. Так устроена наша людская общность, и исключений в истории не было. Да, я понимаю, что не все так просто и однозначно, что есть границы терпения, унижения, хамства, что вымести мерзавца с его кровавой бандой из своего дома — дело даже не чести, а естественного права на воздух, которым дышишь. И что порой чаша эта переливается, объединяя людей. Не только понимаю, но и, сколько помню себя, жил с этим «майданом» внутри. И в 1970-80-х — не только внутри, а и срывал флаги с домов в дни годовщин и швырял камни в здание КГБ, и писал, и читал на площадях, и много еще чего. И дело не в том, что с возрастом стал скептичней, равнодушней и пр. Нет. Чувство свободы и ее достоинства по-прежнему во главе жизни. Но не ценой этой жизни — ни своей, ни другого. В мирное время это извечное противоречие, этот проклятый вопрос — с трудом, с компромиссами все же решаем, не целиком, но от шага к шагу, продлевая это шаткое равновесие. В не мирное — нет решения, есть сплоченье в эмоциональном порыве, есть чаянья — чистые, праведные, и есть их последствия. Как показывает история, не оставляющие от этой чистоты и следа. Ни один жест, даже индивидуальный, в этом поле чудовищных многослойных искажений, где видимая часть — ничтожна по сравнению с иезуитскими коллизиями закулисья, невозможно удержать не то что в чистоте, но и вообще контролировать: любое движение в этой среде попадает в поле дурной бесконечности превращений, присвоений и — в лучшем случае — утрачивает с тобой связь. В этом смысле, Майдан уникален: ему удалось исторически невозможное — в течение трех месяцев удерживать свой жест в его чистоте и адекватности, не позволив его замарать и не пролив ни капли крови, и где — на главной площади страны, в ее голове, в кроваво грязном хороводе кривых зеркал власти и т.н. друзей народа, которых еще поди отличи от оборотней, да и сам народ на Майдане не однороден ведь, при том, что и цель, которая привела его на Майдан и сплотила, не была предзаданной, да и потом не стояла на месте. Все это невероятно и непредставимо ни в одной стране, и не потому, что власть там сразу применила бы силу, а именно вот это сохранение достоинства многотысячным лицом как одним человеком, и не в минутном порыве, а в течение трех месяцев, целой жизни, да еще и в условиях, по определению, не оставляющих на это шансов. И это даже уже не подвиг, а что-то за его пределами, одиноко стоящее, как Слово о полку Игореве.

Всё так, но потом приходит февраль и приближается к 20-му. И вот ты говоришь, что на Украине «национальное движение, захватившее всех, сверху донизу, поэтому там с одной стороны горящих баррикад весь народ, а с другой — прорусское проворовавшееся начальство...», но там, где ты располагаешь народ, уже два народа: майдан и отшатнувшийся от него юг, юго-восток Украины. И эта трещина растет. И учитывая, что ни лидеров у страны, ни программы действий нет и взяться им неоткуда, что все варианты перетасовки власти не оставляют ни одного (достаточно посмотреть на парламент — не надо быть большим физиономистом), что по закону маятника власть перейдет к такому же «януковичу», но теперь с прозападно-украинским гонором, при всем при этом остается только верить, что страна не рухнет в бездну смуты, разламываясь пополам.

На сегодняшний день президент в розыске, апостолы отрекаются, казна пуста, страна банкрот, Тимошенко выкатывается на Майдан, по которому плывут гробы, Верховный совет подымает вопрос языка, усугубляя трещину, Россия молчит, Запад действует

заведенными за спину руками, Украина верит в победу, не уступаемую ни фарсу, ни трагедии. Дай же Бог.

Ты говоришь о стыде за пресловутое долготерпение русских, об их бесконечной щеке, которую они подставляют вместе с головой. Наверное, не совсем так, хватало в истории России и других примеров. Да и не только у русских такая щека, есть и шире: индусы семьсот лет были закатаны под асфальт мусульманами; отнят язык, выкорчевана культура, насильно впихивали в рот куски говядины, отсекая от веры. И — никакого сопротивления: семьсот лет спустя, как трава, проросли, поднялись, нерастрачены. Да, и это тоже не путь. Возвращаясь к Кафке, нет не только путей, кроме сомненья, но и наличие цели сомнительно. Несомненны лишь лица погибших. И я не могу — физически — глядя в их лица, кричать: слава героям. И если говорить о стыде, то испытываю я его скорее оттого, что умом я с Майданом, а сердце не принимает этот путь, предчувствуя, куда он ведет. При том что и других путей вроде бы нет. Но что есть ум — майя, головная боль без головы. Впрочем, и выборы — в мае. Остается надеяться лишь на молодых, но будет ли оно допущено, и будет ли найдена фигура равновесия между Западом и Востоком, и какой ценой?

Я рад твоему ночному счастью — в любви с любимыми.

А помнишь, в той новогодней яснополянской сказке, за шахматами, у камина, я сказал, глядя в окно: какой тихий райский тут уголок. На что ты ответил: да, вот в соседнем доме человек повесился, и очень, очень не скоро его обнаружили.

Растождествление

Просто паришь с разведенными руками, ложась на ветер. Которого нет. В пустоте. Как после смерти. И чувство такое, что это уже без «как». И, кажется, понимаешь, почему отсюда не возвращаются. От растождествления. С собой, с людьми, с жизнью. И единственное, что еще удерживает — и уже не удерживает — письмо.

В Некрасовке

На вечере в Некрасовке. Еще раз — спасибо всем, кто был. Там на экране — снимки из Индии. Я в той же одежде, в которой ходил в джунгли, за исключением свитерка, который держал для особых визитов к чиновникам Лесного Департамента. А на столе там — бутылка гималайской воды, купленной за последние 40 рупий в аэропорту. На обратной стороне этой бутылки уже в Москве я прочел странный и чудесный текст, написанный от имени этой воды — человеку (но это не сразу и не до конца ясно), мол, я, собиравшая себя по капле и томящаяся в этой преходящей форме, обращаюсь к тебе, создателю миражей... И заканчивается: давай, насладись своей иронией!

Черт его знает, что со мной делает Индия. Кажется, я постарел на тысячу лет и помолодел на две.

Гудрун

Есть такой древнегерманский эпос «Гудруна». Двадцать лет моих отношений с мюнхенской разгуляйкой, заквашенной на временах битников, бесцеремонной чертовкой и умницей с лицом брейгелевского мужичка и хрипловатым голосом — Гудрун, конечно, не тянут на эпос, но и лирикой их не назвать.

Познакомились мы в 1992-м, когда я, учась в мюнхенском Гете-институте, искал себе квартиру. Спросили: какие предпочтения? Сказал: Швабинг (район, типа Монмартра), женщина (хозяйка), курю (я). Полистали предложения, вот, говорят: женщина — сдаст — студенту Гете-института, предпочтительно русскому, творческому, можно курящему, Швабинг.

Пришел, старинный особняк возле Английского сада, верхний этаж, мансарда, утро. В дверном проеме стоит она (или он, или оно, — это не сразу идентифицируется), в ночной рубахе набекрень, волосы — в неуверенном порыве ветра снизу, в руке — бокал красного. Смотрит на мою ладонь, на пальцы и говорит: да. Идет нетвердой походкой к столу, наливает второй бокал — мне.

Через пару дней нас уже сдуло из Мюнхена. Австрия, Италия, Франция, какие-то озера, яхты, горы, горящая карусель дней, кто ж это помнит теперь. Она, разве что. А тогда, перед тем, как сдуло, повел ее по магазинам — приодеть. Помню две пары туфель — голубые и зеленые, на левую, говорю, голубую, на правую — зеленую. Юбочные штаны в крупный горох, ч/б, блузу не помню, ремень, покрасил ее и постриг. Она скупо всплакнула и повязала косынку (хотя потом, годы спустя, стриглась именно так, у лучших паркмахеров).

Мне 33, весел, бессмертен, жонглирую звездами и собой, все возможно — и в прошлом, и в будущем. Она — лет на десять старше, но это по метрике, а на самом деле — черт его знает, сколько лет персонажам Брейгеля? Жизнь ее за год до нашей встречи слегла в кому: ее друг, с котором делила долгие годы, узнав, что у него рак, исчез на остров, без вести, встретить смерть без посредников. Я, в этом смысле, появился в ее жизни почти вовремя, вынул ее из этой комы. Отношения у нас сложились легкие дружеские, по жизненным ритмам — и бытовым, и шире — мы во многом были созвучны. Похоже, она тяготела к большему, чем дружба, и порой теребила эту неочевидную черту, но благодаря обоюдной смышлености и раскованности это особых осложнений у нас не вызывало.

Вообще, у нее была очень упругая мышца жизни, ни жира, ни пролежней. И стремительность. Цак-цак-цак, говорила она, показывая, как легко и быстро решается любая проблема. И в этом мы были схожи. Цак-цак-цак, поддразнивал я ее, называя так вместо имени. И учил английскому, сносным манерам и рисунку внимания при осмотре музеев. А она меня радовала всем остальным, которое, по преимуществу, было общим. А, вспомнил: радивость — вот это качество, ушедшее как-то на периферию жизни и языка. Радивость во всем — в мышлении, в жесте, в деле. Но легкая, стремительная, без

занудства. Цак-цак-цак.

Да, перед тем, как нас сдуло из Мюнхена, был у нее день рожденья, на который ввалились в ее мансарду человек сто — из окрестных улиц, вся тамошняя богема и умеренно фрикующие бюргеры (на следующий д.р. мы арендовали с ней пароход на альпийском озере, т.к. мансарда уже всех не вмещала).

И вот катим мы на ее фиате (была она не богата, но безоглядна, хотя и с прищуром, сводила концы, сдавая угол студентам и подрабатывая свободной журналисткой), нога в зеленой туфле заброшена на панель у лобового стекла, я вожу пальцем по карте. Это мы уже возвращаемся, и нас тормозят на границе Италии и Австрии, что-то там с визой моей, мол, надо вернуться в Милан и продлить, говорят пограничники, иначе в Австрию не въехать, — не помню уже подробности.

И вот распили мы бутылку вина с ней в нейтральной зоне между этими странами, и я говорю: давай въедем по какой-нибудь второстепенной дороге, смотрю в карту, вот она, неподалеку.

Подъезжаем, уже смеркается, а погранцов там еще больше, чем на главной дороге, и тишь, никого кроме нас. Слева альпийские горы взметены, справа — железнодорожный узел, залитый прожекторами, с десяток путей, за ними насыпь, а за ней тот самый погранпост, который мы покинули.

Я говорю: давай так — я перебегу и махну тебе рукой уже оттуда, с австрийской стороны, если меня не подстрелят по дороге, а ты тогда здесь проедешь, набросишь петлю и подхватишь меня там, в Австрии.

Бегу, переметываясь от столба к столбу, как под пулями, взобрался на насыпь, смотрю: я на нейтральной полосе, ошибся, въезд в Австрию — далеко впереди. Бегу назад, вернулся, говорю: знаешь, пойду-ка я через горы, часа три-четыре, думаю, займет, обогну границу поверху и спущусь, а ты поезжай — через пару километров остановись и жди, периодически помигивая фарами.

Выпили с ней еще на дорожку, стоим, я одеваюсь потеплей, напяливаю на себя и какие-то из ее вещей, беру фонарь, она будербродцы мне завернула, обнялись… и как раз в этот момент проезжает машина и высвечивает фарами этот погранпост, который оказался куда ближе, чем мы думали, и стоят там эти погранцы и смотрят на нас с большим интересом, обсуждая, видимо, и то, как я перебегал туда-сюда, и как переодеваюсь, рисуя пальцем путь через горы... Стоят, смотрят, и мы — на них, между нами шагов двадцать.

А давай, говорит она, просто сядем и просто тихо проедем сквозь них. Сели, едем, они расступились — цак-цак-цак — даже паспорта не спросили, провожают взглядом.
А потом, помню, рассказывал ей о Гурзуфе, приезжай, говорю, как-нибудь. Легкий такой, с юмором разговор, о том, о сем. И опять о Гурзуфе. В сентябре, говоришь, в начале? Да,

говорю. Числа, скажем, 5-го? Ну, например, говорю. Самолет до Стамбула, а потом на корабле в Ялту? Да, говорю, еще ходит одна калоша на крыльях, набитая нашими челноками в семь этажей. Во! — обрадовалась, — то что нужно, экспириенс! И забыли об этом. Почти год прошел, я в Гурзуфе, начало сентября, и вдруг — среди ночи — вспомнил. Какого числа — пятого? Звоню в порт: ходит еще этот лапоть? Да, отвечают, прибыл, выгружаются. Да нет, думаю, бред, но еду в Ялту. Сидит на скамейке, машет мне бутылкой вина.

Историй с ней у меня тьма была. Вот вспомнил еще — в связи с Гурзуфом. Зима, ветер воет, безлюдье, свет отключен и отопленье, кукую в ватнике, благодать, читаю Флоренского, вслух разговариваю. И вдруг звонок в дверь. Человек, наш, передает сверток: вам из Германии, говорит, и исчезает. Разворачиваю: копченая макрель, одна, мерцает, тициановка! (Знала, что я люблю. Но не настолько ведь, чтобы передавать из Мюнхена в Крым — перекладными — месяц плыла рыбка!)

Гудрун… 20 лет прошло. Ничего не изменилось. Вчера звонила.

Бал

На венском бале в нач. 2000-х. Попал я туда с немецкой группой женского хора возраста осеннего разгула. Около 30 женщин. Их пригласили выступить. Каждая могла взять на бал одного кавалера. На весь хор нашлось двое — я и один затерявшийся в Германии новозеландский тенор. Пока добрались до Вены, весь хор был уже вдрабадан. Нам с тенором поручили раздобыть еще водки и как-то пронести ее во дворец. Уже проникнув внутрь вместе с шестью бутылками и блуждая в лабиринте коридоров, мы ткнулись в какую-то дверь и... ослепли. Это была гардеробная юных принцесс, открывавших бал, они спешно переодевались, готовясь к выходу. Две сотни ножек и рук мелькали в толчее и птичьем гомоне, вскидывая платья, примеривая короны. Какая-то дама-гусыня, указала нам на шкафчик, где, по ее мнению, стоило переодеться и нам. (...) На снимке это уже далеко позади, бал закончен, отдыхаем с хористками, тенор на дальнем плане.

Затруднение

Вот умирает на твоих глазах самый близкий тебе человек — любимый, единственный, последний. И все так разорено внутри, что кажется, тебя нет, и уже никогда не будет, контужены чувства, слепнет память, ты себе невыносим живой. И вот, в эти дни, когда смерть (его и твоя) еще не остыла, ты отдаешься другому человеку — со странной, нарастающей страстью, возможно, переходящей в любовь. В эти же дни. Не слепо, без воя, не так, как затыкают рану в животе. Хотя, наверно, и это тоже. Но — с открытыми глазами, чуткой кожей, всем тем, что отличает живое чувство. Нет, ты не животное, и времени не прошло еще столько, чтобы как-то поутихло все это, затянулось завязью новой жизни. Значит, ты уже другой человек, твое прежнее имя стерто, и смерть не лежит в

соседней комнате? Или не значит?

Этот вопрос возникает дважды — в двух фильмах Бертолуччи: «Под покровом небес» и «Последнее танго в Париже». В первом — это происходит с женщиной, во втором — с мужчиной.

И вот я думаю: может, я задаю этот вопрос из какой-то изначально неверной точки в себе — неверной по отношению к психологии этих двоих? Может, все проще, и речь идет о другом типе психики, поведения, характера, мне не вполне свойственных, и отсюда это мое затруднение в понимании?

Шаня, свидетельница Адама

На подъезде к Сергиеву Посаду есть остановка Лакораска. За маленьким спившимся поселком начинаются дачи. При входе — указатель: «Стрижки в сторожке». Наша облущенная завалюха (в крокодиловой коже) была крайняя к лесу. Облака зависали над ней, подымая ногу, все время лило. Там я и начал писать Адамов мост.

Из живности в этом унылом краю у нас было:

Morning — нептичка, с легким характером и упоительной речью, по утрам на веранде заглядывала в монитор, а потом в саду помогала посуду мыть.

Фирс — стоеросовый, еловый, с рукомойником на ноге.

Андрей — цветок, найденный посреди черного вспаханного поля, он лежал на спине, как Болконский, глядя в небо. Я принес его, посадил в саду, укрепил щепкой, он распрямился, ожил.

Хичкок — приходил по ночам, лязгал миской, сопел, требовал.

Шаня — брошенка, разгуливала по округе, наведывалась, не прикасалась к еде, не давалась в руки, но в глаза смотрела, когда писал, и исчезала.

Мальчик

Мальчик, я говорю себе, не сетуй, что никого нет рядом. Иначе бы этого не происходило. И еще: отойди от себя, так просто это не кончится. Было б куда.

Авось

Было это в конце 70-х, кажется. Приехал я к Вознесенскому в Переделкино, поздний вечер, темные окна, участок, заросший елями, а в глубине сада сидит девочка, ждет поэта. Познакомились, ей около 19-и, сверстница, москвичка, первокурсница Литературного.

Вынула бутылку коньяка, прихлебывает, делится, зябнет. Поэта нет и когда будет неясно. Развел костерок, сидим.

Она с ним незнакома. У меня же к этому времени были уже довольно близкие отношения с ним. Еще мальчишкой я приехал из Киева к нему со школьной тетрадкой стихов и, проскользнув мимо консьержки, ждал, расположившись на этаже у квартиры. Он заскочил на несколько минут и помчался в аэропорт, прихватив меня. Всю дорогу в такси я мало что соображал, отвечая на его вопросы, что-то рассказывая, при этом глядя на него с блаженно идиотским выраженьем лица. И вот он спрашивает меня, например: «Ну как там ваш Драч?» О, говорю, драч у нас на слободке тот еще, смертный! А сам думаю: странно, с чего бы это его так интересовало. Ну и в таком духе едем мы в аэропорт. А потом я получаю открытку из Антверпена, от него. А на ней факсимиле:

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой.
Ну что за город глухой, как чушки,
где прячут чувства.

А на обороте: «Дорогой Сережа, о стихах пока сказать трудно. В них есть порыв, но нужна еще и дактилоскопия только Вашей личности. С радостью вспоминаю Ваше милое лицо». Что-то еще там было, но примерно так, кажется. А потом мы уже часто виделись и еще чаще разговаривали по телефону. И я помню, когда работал уже реставратором в Почаевской Лавре, чуть ли не ежедневно спускался с лесов в обед и шел в красочной и пахучей робе в поселок на переговорный… И как-то со временем отношения наши стали едва ли не отцовско-сыновьими. А потом с его помощью появилась первая моя публикация — роман в стихах, и чуть позднее — его речь в мою защиту на каком-то предперестроечном съезде. Ну и не только, и не в этом, конечно, дело.

Так вот, сидим мы с этой девушкой во тьме, ждем. Ночная прохлада, костерок. Она уже хорошо во хмелю. И говорит: давай перейдем в дом. Это, говорит, по-московски вполне нормально, разве не знаешь? Я как-то посопротивлялся, недолго, правда, вскрыл форточку и отворил в окно. Она допила коньяк и легла в кровать поэта, а я включил настольную лампу и сижу за столом, листая книги. И не услышал, как они подъехали — он и Зоя Богуславская, и, заметив свет в окне, заглушили мотор. Хотели вызвать милицию, но передумали, входят, бесшумно, стоят в дверном проеме, переводят взгляд с моей спины на похрапывающую в кровати девушку. Медленно оборачиваюсь. Немая сцена.

Зоя отвозит нас на станцию, скоро первая электричка. Весь путь до станции — молча. Ужас, слов не найти. Девушка едет в Москву, я остаюсь. Подбадривает на прощанье: да брось, все рассосется…

Да, эта ночь потом рассосалась, и даже со временем стала милой присказкой, Зоя ввела этот эпизод — под вымышленными именами — в свою повесть. А девушка — не связи, слава богу, с этой историей — выбросилась из окна, насмерть.

Круиз

Значит, 14-палубный младенец, в утробе которого я нахожусь, называется «Коза Ностра», или что-то в этом роде. Капитана зовут Николантонио Паламбелло, сегодня в 17.45 он приглашает на мальтийский (поскольеку завтра мы в Мальте) коктейль, форма одежды, видимо, масонская, придется надеть подвязки.

Утреннюю Грецию я проспал, переведя часы не в ту сторону. Но все же вышел на набережную потоптаться. Обведя взглядом, больше там, похоже, делать особенно нечего. А мог бы жить здесь, на Корфу, как Даррелл (старший) с домашним питомником говорящих евангелистов природы, и перечитывать Даррелла младшего — про любовь с Клеа. Вернулся на корабль, влез в джакузи, немцы идут, закутанные, палец суют, «Оооо» — поют.

Ночью в Триесте видел посреди площади памятник — величиной с дабл-Пушкина (на Тверской), весь обвит то ли музами, то ли вакханками (на снимке — одна из них, снизу, с пяток), освещен, голова гордо вскинута, вся в голубином помете, — кто такой неизвестно. Спрашиваю прохожих — никто не знает. Уж в азарт вошел, пытая. Наконец, старик один — долго вглядывался сквозь моросящий дождь: а, Россетти!

Покачивает, легкая волна, в ритме танго.

Нашел маленькую сауну на верхней, 14-й палубе, хожу туда — ни души. Сижу в небе, в покачивающейся сауне, а подо мной — театры, каюты, фортепианы и Паламбеллы, под которыми — дельфины во тьме поцокивают улыбками.

А вчера был Бари. Где мощи Николая Угодника покоятся. Зашел-вышел, не трогает. Разве что, строители под сводами хороши, в масках, чудотворцы. И вокруг хорошо: узкие улочки, дождь, белье на веревках, накрытое полиэтиленом, макароны на керосинке у крыльца готовят, пар, запахи, а в окошках — Николка. У итальянцев, у всех. И скрипач на площади у храма наяривает под дождем, экскурсантов за рукав хватает, денежку просит. И старуха на крыльце голосит, развалившись.

Пойду кофе сварю, тут он круглосуточно и бесплатно — повсюду, но кофе — святое, ручная работа, с кипятильничком.

. . .

Мальта похожа на этот восход — со зрачком, глядящим из-под черного века. Снимки этого дня оказались точней слов, которые я пытался подобрать, бродя по этому городу и лишь повторяя овидиево о критском лабиринте, о каменщике Дедале: свой воспаленный мозг он высек в камне... Свет мутился сквозь замочные скважины улиц, дома стояли с плотно сжатыми ртами, проглотив ключи. Корабли замерли в небе, не касаясь этого острова с выжженным языком и проклятыми деревьями. Где ж еще мог возникнуть этот сновидческий остров-череп как не между Сицилией и Африкой.

. . .

Я в растерянности. Плыву по Средиземному на посудине размером в пол Монте-Карло. Смотрю с 12-го этажа вниз, а там –дух над водами. Спустился в свою каюту, а там нас десятеро, и все они — я, размноженные в зеркалах под разными углами. И окно во всю стену с плывущим морем. И кровать свадебная, и светильников — на городок хватит. Здесь бы любить — как говорила героиня Адамового моста — насмерть… Но кого же? 10

нас. Групповая автофилия.

Зашел в один из ресторанов: 727 блюд в меню, ешь хоть все 727, и столько раз в день, сколько хочешь — всё бесплатно. Вышел на палубу: девочка стоит, солнце в море ложится, вот-вот скроется, дельфины плывут, фотографирует. Остановить? — спрашиваю. — Кого? — Солнце. — Да, — смеется. Разговариваем. Она из Нью-Йорка, 16, выглядит старше, пишет-рисует-дышит-танцует, тоска, говорит, эта их жизнь — карьера-семья-могила. Солнце ушло. Человек во фраке приблизился: можно, говорит, вас сфотографировать? Берет у нее камеру, мы поворачиваемся к нему лицом… Нет, говорит, спиной — как вы стояли. Такое счастье, говорит она, прощаясь, такое счастье вся эта жизнь — как это море. И обернувшись: а какая музыка подошла бы сейчас к этому морю? — Майлс Девис, говорю. Да, кивнула, Фрэнк Синатра.

В Барселоне встретился с Мартой Бинетти (аргентинской танцовщицей, о которой писал в фб). Мы не виделись 15 лет — с тех пор, как она покинула Мюнхен, где ей все же удалось подорвать некоторые его устои, в чем и я поучаствовал. Живет она на Рамбле, почти в доме Гауди, за его спиной. Показывал ей наш альбом с Er. J Orhestra, очень воодушевилась, хочет приехать, вместе перформанс делать, потанцует, попоет, поимпровизирум… Поразительно, почти не изменилась. Не получилось выйти в интернет в Барселоне — загулялись с Мартой, едва успел на такси к поднимаемому трапу. Отправлю уже из Пальмы.

Проснулся: вот и Пальма. Тут приятель ждал меня с большой яхтой, да смс прислал, что срочно в Москву вылетел. К счастью, думаю, иначе сегодня уж точно к отходу не вернулся бы. Пришлось бы где-то в Валенсии догонять корабль.

Завтракал в другом ресторане, где самообслуживание, еды не 727 наименований, а буквально несметно. И вся летит в рот, как гоголевские галушки. Глаза у едоков вращаются все быстрей, и выползают эти вздувшиеся человеки на палубу, как ящеры острова Комодо — и в бассейн.

Обслуживающий персонал, которого здесь, кажется, не меньше, чем пассажиров, выплясывает перед каждым танцы народов мира, у каждого за плечами, похоже, цирковая школа. Может, у них и наказ такой — тормошить каждого всеми способам, чтоб не сдох от скуки.

Сегодня в мою каюту прорвался стюарт — караулил меня — взвинченный, горланящий что-то островитянское, сэр, кричит, я всю ночь думал о Вас, всю ночь! Много думал, и понял: вы не любите, чтобы подол одеяла был заправлен под матрац! — Тонкое наблюдение, говорю. — Да! — ликует, — и оставил его незаправленным!

Надо бы каюту сфотографировать с этими инцестуальными зеркалами. Да и корабль хорошо бы. Потом. (У Еременко где-то было «броненосец «Потом»). Пойду на берег высажусь. Тут цаки выдают, чтоб потом признать возвращенцев.

На корабле в основном средиземноморцы и американцы, русских и немцев пока, благо, не видел. А лифты тут фирмы Шиндлер. Всё, пошел к майорке, под пальму.

А вчера к ночи было забавно — вдруг забыл номер своей каюты, подхожу, вставил карточку, не открывается... А, думаю, не 3058, а 3558, нашел, а там в двери записка: просьба не беспокоить! Ну всё, думаю, приплыли — мало того, что нас в каюте десятеро, так еще и не беспокоить ни одного из них, чем же они (я) занимаются?!

Вспомнил, как отец меня, шестилетнего, пытался в школу определить. Только, уговаривал меня по дороге, не пой, умоляю, и стихи — попроще читай, если попросят. И вот входим к директору, ну, мальчик, какой стишок ты нам расскажешь? Уильям Блейк, говорю (нет, другой британец, выпало сейчас его имя) — "Морская лихорадка". И начинаю: "Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода, мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда..." Ну потом я, конечно, не удержался и спел ей (точней — проорал) эту душераздирающую телегу про ишака: "Мы купили ишака — и! — а! — за четыре пятака — и! — а! — захотелось ишаку — и! — у! — переплыть Москву-реку..." Длинная песнь, почти Илиада.

В школу меня, конечно, не взяли. Но с тех пор я с ослами в дружбе, а теперь еще и на корабле высоком.

Брошюрка

Мама вчера протягивает мне брошюрку: это твоя? К брошюрке этой я вернусь чуть ниже, а пока нужно кое-что рассказать, припомнить.

Жил в Киеве русский поэт Леонид Вышеславский, лауреат премий, член президиума, тот, чей сонет летал во рту Гагарина в космос. Положение его в тогдашней Украине было двояким. С одной стороны, официальная фигура №1 со всем полем почестей и возможностей, с другой, крайне подневольное положение — в том общем холуйном режиме страны и в ее отношении к русскоязычной литературе как содержанке и падчерице в частности. Всё это он хорошо понимал, а при том, что сердце у него было добрым, а порой отчаянно добрым, проходить меж двумя этими полюсами и совершать самостоятельные поступки было ему непросто, однако в критические минуты он это делал.

1978 год, мне было 19, я работал в бригаде художников-реставраторов настенной живописи в церквях Киева и Украины. Написал поэму, которую хитро, учитывая цензуру, назвал как производственную: "Я работаю". Сейчас даже нам, кто помнит это время, трудно представить ту жалкую абсурдную меру свободы, позволяемую в печати. Напр. слово "храм", "церковь" просто вычеркивалось цензурой — даже употребленные в нейтральном смысле — как сооружение. Не говоря уж о слове "Бог". Я помню, в эту же пору Андрей Вознесенский, даря мне свою книгу, авторучкой поправил в программном своем тексте, давшем название этой книге, "Ностальгия по настоящему" — по настаЮщему, даже ему и даже такие безобидные вещи не удавалось отстоять. В этом

смысле поэма моя выглядела отъявленно антисоветской и вопиюще непечатной. Вся она происходила в храме, где я реставрировал Бога, время, речь, память, и вообще все то, что потемнело под грязью и уже едва различимо. Начиналась она так:

"Я работаю в храме Рождества Богородицы,
сквозь разбитые стекла — как весла лучи,
я не ангел в библейской спецовке,
просто делаю то, что меня научили:
реставрирую сердце Михаила Архангела..."

Ну и т.д., с перекурами. Но главное было не словах, а в той молодой безбашенной свободе формы, интонации — совершенно не от мира того, цензурного. И вот эту поэму Вышеславский добивается опубликовать со своим предисловием в самом махровом и подневольном, единственном русскоязычном журнале "Радуга". И публикует.

Второй случай более удивительный. Прошло несколько лет. Моя первая книжка стихов уже годы лежит в комсомольском издательстве "Молодь". Каждый год ее анонсируют, магазины собирают какое-то немыслимое количество заказов (настолько, что именитые украинские письменники просят меня посодействовать, что бы и их книги хоть как-то заказывали, думая, что у меня там всюду "свои люди"), но выход ее всякий раз переносится на следующий год. Заведующая редакцией поэзии — Любовь Голота. Над ней начальник с еще более красноречивой фамилией Затулывитер (заслони ветер). Ее, книгу, вообще бы не рассматривали, если бы не заступничество из Москвы (Вознесенский и др.) и Киева — Вышеславский и вроде бы первых лиц украинской официальной литературы — Драч, Олейник, Мовчан... Так вот, в какой-то день, когда уже совсем стало невмоготу от этих кафкианских коридоров вокруг книги, я — уж не знаю, как это у меня получилось — собрал в Союзе писателей весь генералитет их, впрямую или косвенно связанный с подобными решениями. (Вообще тогда я думал и вел себя так, что это моя страна, моя культура, мой дом, и вся так называемая власть имеет тут не большее право решать, как жить, чем я.) Перед тем поговорив с ними (по одному), что, мол, может, хватит говорить мне одно, кивая при этом на "непреодолимые обстоятельства" в сторону "Замка", а давайте соберем весь этот Замок со всеми его обстоятельствами в одной комнате, чтобы некуда было кивать, и наконец решим в отношении книги, пусть будет "нет", но ясное.

Не понимаю, как это произошло, но все они собрались. Человек 15-20. И потекли политкорректные иезуитские словеса. В торжественном зале Союза писателей тогдашней Украины. Начав на украинском и перейдя на русский. Так длилось, пока не встал Вышеславский. То, что он говорил, эти стены наверняка еще не слышали. В гробовой тишине. После такого, казалось, ни о своем членстве в президиуме, ни вообще в сообществе — и не только писательском — уже речи не могло и быть. Голота вылетела из зала, хлопнув дверью. Драч сидел, обхватив опущенную голову руками. Сам Вышеславский был, похоже, близок к сердечному срыву. Это был отчаянно сильный поступок. Другое дело, что ни к чему, вопреки ожиданиям, это не привело. Промоина в болоте без труда затянулась. Книга еще через неск. лет все же была выпущена. Точнее, не

книга, а узник концлагеря, едва узнаваемый.

И вот мы возвращаемся к брошюрке. 90-е годы. Я издаю в Киеве негазету "Ковчег", приходит Вышеславский, мы много лет не виделись, ему под 80. Он хотел бы издать маленькую книжку свою. Нет денег, вообще ничего нет от того мира, в котором мы еще недавно жили. На издание нужно 50 долларов, тогда это примерно было месячной зарплатой, чуть выше средней. Я нахожу эту сумму, звоню ему, предлагая завезти ему в конце недели, поскольку меня нет в городе, но деньги есть, лежат дома — у мамы. На левом берегу, у черта на куличках. Он вызывается приехать. И вот они сидят с мамой, чаевничают, он дарит ей эту тихую брошюрку Запорожского университета о его поэзии, подписывая: "Глубокоуважаемой Майе Львовне — матери веселого хозяина на великом пиршестве бракосочетания слов".

Через несколько лет его не стало. Старика избили какие-то уличные подонки.

Рим за шесть неторопливых часов

Конечно, и только потому, что с Сашей Сергиевским. Лингвист, историк, переводчик, москвич, гражданин Рима, живущий в нем уже 20 лет и знающий его как мало кто из коренных римлян… Нет, конечно, не только поэтому, а еще и единый круг, к которому мы принадлежали, единый язык и та скорость ассоциаций, которую Набоков и называл культурой, — это и позволяло нам двигаться между и поверх шаркающих слов и срезать углы между зреньем и виденьем.

Как ни парадоксально, за почти 25 лет, в течение которых не виделись, мы стали не дальше, а ближе, и это с удивительной чуткостью и как-то совсем по родному обнаружилось с первых же минут. А через полчаса мы уже сидели в кафешке у Колизея (а лучше бы — с двумя «л») и дивились тому, что Рим вымер — ни людей, ни машин. И потом, уже обойдя весь старый город, где обычно толпа плывет в три этажа, Саша признался, что такого он не видел за все 20 лет. Ну да, суббота, жара, горожане за городом, но где туристы? Были, но совсем не много. То есть даже не шесть часов — два из них мы просидели в таверне за Тибром, на острове. И говорили о своем, о нашем — об Алеше Парщикове, о Москве, Риме и Индии.

Из неизвестного известного о Риме меня привлекли три момента.

1. Квартирка Клеопатры, которую ей снимал Цезарь в жилом квартале, и откуда она бежала после его гибели. (А сам он жил в квартале магов, проституток и нищих интеллектуалов — по ту сторону стены, за которую благородные граждане не хаживали).

2. 6-8-этажные дома, в которые римляне жили в начале эры (мы перешли в них лишь после Хрущева). А туалеты горожане по-прежнему выносят глухим балкончиком, прилепленным к фасаду — это на каждом шагу в «старом фонде». И главное: не строится

ничего нового, а пере-до-при-у-страивается из старого — дома, как палимпсесты.

3. Колонна Траяна. Она «спелената» барельефами, изображающими его войны с даками. Ювелирные миниатюры, «бинтующие» всю колонну, уходящую на 50 м. вверх. Понятно, что в те времена невооруженному глазу были доступны лишь нижние 3-4 метра. Для кого ж этот изысканный бисер, текущий в небо на протяжении 45 метров? Для неба? Вот так и надо писать — на девять десятых ни для кого, с такой же, если не большей самоотдачей, чем нижняя десятина. И не потому, что почти две тыщи лет спустя влезли и разглядели.

На спине

Проснулся сегодня и вспомнилась одна история, из крымских, вроде бы ничего особенного, одна из многих. Но вот ходит за мной весь день, как собака. Выйду в дворик покурить, и она за мной, ляжет у ног, чуть отвернувшись, голову на лапы положит, вернусь, и она за мной. Так и хожу с ней, как дама с собачкой. Как бы мне рассказать ее в двух словах, не отвлекаясь на все то, без чего, казалось бы, и не будет ее, стоит лишь умолчать. И все же попробую.

Вот бывает такое: подходит человек утром к окну, смотрит и не понимает, что он тут делает и зачем, и вот он, назовем его Антон, уже на вокзале и садится в поезд, и ему все еще непонятно это «что и зачем», а он уже едет в Крым, например, из Москвы, и в купе входит девушка Алена с точно такой же историей этого дня. А по дороге, на одной из станций, скажем, в Туле, к ним подсаживается Наталья — из этих же «совпадений». А тем временем в Киеве в поезд садятся двое парней — Вова и Лёха — странно, но тоже из этих же. И вот эти пятеро по какому-то наитию оказываются в Гурзуфе и сходятся у калитки дома №13 по улице Крымская, где живет высокий ладный человек с тихой, чуть застенчивой улыбкой. Я сижу с ним в тени инжира, мы смотрим на море, вино на столе, виноград. Конец сентября, когда Крым, после летнего сна, наконец, возвращается в свои очертания и, как женщина у зеркала, вглядывается в себя, в свою близь — как в дальнюю даль глядят.

И вот они входят во двор, эти пятеро, спрашивают, можно ли снять жилье на пару дней. И начинается неизъяснимое: дни, недели, месяцы, а мы все не расстаемся ни на минуту, и на чем это держится не понять. Ни пространства, ни времени, ни самих нас по отдельности нет. Лишь бескрайнее и такое же прозрачное, как воздух, счастье — жить, быть — вместе. И мы без конца идем в какие-то горы, пещерные города, возвращаемся, и снова уходим, и пьем, не пьянея, в огне не горим и на скалах отвесных во тьме не падаем, сошлись и расстаться не можем.

Скоро зима, и вот остается нас четверо: Вова, Лёха, Наталья и я. Она идет по поселку, сняв легонький свитерок, который носит на голое, и пританцовывает, развихривая его над головой. У нее с Вовой любовь.

В один из дней они, наконец, отпрашиваются в Киев — за родительским благословеньем. На следующий день к вечеру он возвращается. Говорит: «Сели в вагон, вышел купить еду, поезд тронулся, я не успел… Шел пешком сюда из Симферополя, ночевал на обочине…» Ни жив, ни мертв сидит. Телефонов мобильных тогда еще не было. А адрес твой у нее есть, спрашиваю. Да, говорит. Ну так звони домой, что же ты тянешь? Звонит. Мать отвечает, что она приходила, уже ушла — на вокзал.

Я набираю справочное киевского вокзала, здравствуйте, говорю, я... И тут начинается то, что сейчас я уже восстановить в памяти не могу, а сочинять не хочется. Длился этот разговор, наверное, около получаса. Я говорил не смолкая, не зная «куда и зачем», говорил о Крыме, об этой встрече, об осени, о бог знает чем, о Данте и Беатриче, я просил ее, эту незнакомую женщину, находившуюся за тысячу километров, за стеклом, на киевском вокзале, просил ее объявить по громкой связи для Наташи, которая, наверное, где-то там сейчас, стоит в очереди за билетом в Тулу, сказать ей, что Вова любит ее, что он найдет ее и будет им счастье…

И эта дежурная в справочной, Лида ее звали, поначалу едва не бросившая трубку, отвечает все менее резко, и вот притихла совсем, и вдруг слышу — тихонько всхлипывает, а я все говорю и говорю, и она робко так, с еле слышной горечью и надеждой: «да… да, и у меня было… в жизни… но нельзя ведь, меня уволят… нет, я скажу… ну и пусть… потому что нет ничего дороже, да?» И всхлипывает. Сейчас, говорит, соберусь и скажу, не кладите трубку.

А Вова сидит в углу, обхватив ладонями голову, сжался весь и дрожит: нет, не надо, шепчет, не надо…

И тут я слышу: «Наталья... — голос, чуть изменившийся, взволнованный — по громкой связи, на весь вокзал, — ... я люблю тебя". И мне кажется, вижу, как толпа вокзальная вдруг стихла, замерла. И девочка в свитерке у окошка кассы медленно оборачивается, не веря, не понимая, "куда, зачем?"...

А потом, что ли год спустя, я приехал в Москву и зашел к Антону — тому, первому, с которого все началось. Посидели, вспоминая. С Лёхой, как он слышал, что-то случилось, ушел из дому, зиму провел у Днепра, глядя в костер. А та девочка, Алена, с которой вернулся в Москву, теперь в Одессе, вышла замуж. Нет, о Вове ничего не известно. А почему бы не съездить к Натахе в Тулу, а? Просто приехать и позвонить в дверь.

И был день, и мы втроем где-то в пригороде, на берегу реки: тишь, запах хвои, лежим, прикрываясь ладонью от солнца, и смотрим, как с высокого полуразрушенного моста кто-то все время прыгает и летит на резинке, и, не долетая до воды, возвращается, крохотный, как брелок…

А потом какой-то бар, ночь, и я просыпаюсь в ее голой комнатке: мы лежим втроем, она между нами, на спине, глаза открыты, и тихо так — то ли мне, то ли не видя меня, шепчет: «... как черепашка, на спине… вся жизнь… и не перевернуться…»

Пишущие не спасутся

Что нужно, чтобы хоть отчасти приблизиться к слову, письму? И вообще — к реальности. От бога — понятно — допуск, "искра". А от человека? Опыт беды ("возжечь беду", Введенский)? Да, но и, что случается куда реже, опыт счастья — тот, настоящий, в котором трудно уцелеть. И путь предельной единичности — не в смысле избранности, а той, которой не на что опереться, с подвешенным в себе "человеком".
Пишущие не спасутся.

Тот свет

Сегодня я видел тот свет. Бескрайняя местность, люди стоят на разном отдалении друг от друга - по одному или по двое, может, где-то и больше, особого значения это не имеет, стоят, переминаются, изредка что-то произносят - несущественное. Ты помнишь, такую открыточку ты сделал в 1965-м, говорит мне какой-то знакомый, с которым стоим, зеленый фон на ней был, а в верхнем углу.... Да, да, отвечаю, только это было в 83-м... И такое безысходное томление - во всем, в каждом, даже не ожидание чего-то, какой-то деятельности, вовлеченности, нужности своей, а именно - едва прикрываемое от себя и от взгляда других томление, постыдное полураздетое - и это навсегда, потому что здесь ничего никогда не изменится, вот так и будут стоять, делая вид, что что-то все-таки происходит или будет, и они нужны. И тут я на полуфразе поворачиваюсь и бегу - бегу с горочки, и понимаю, что бежать некуда, и они это понимают, что это лишь симуляция какой-то цели, ее здесь нет, и там - где-то справа внизу, в заснеженной бухте, у вмерзшего баркаса сидит Пифагор, но что толку туда сворачивать, - такой же, как и всё здесь, скоро ноги устанут - может, вон на том холме...

Бирочка

Вспомнил, как еще в брежневские времена, работая реставратором, чтоб не сказать богомазом, спал я посреди страны в Рождестве Богородицы, прикрытой, как срамное место, свято-пусто. Это чтоб не вставать чуть свет и на метро не ехать через реку четырех согласных с редкой ятью, долетевшей до ее середины, приволок я кровать из отселенческих дебрей в Лавре, диванчик такой, пахнущий базиликом, чтоб не сказать клопами. Церковь была голой, и я был молод, оба мы были внутри в лесах. А живопись – обмелевшая, шелушилась, как рябь на реке под дряблым солнцем где-то вдали, за Никольской пустынью. Анны Зачатия маленькая церквушка неподалеку, как и положено. Там, из Дальних пещер, буду я выносить на руках мумии: смуглые легонькие тела, ростом 1.40 – 1.50, с живым выраженьем лиц, и кожей, похожей на корочку украинского хлеба. Илья Муромец, Нестор летописец, Агапит, врач Ярослава. Я их в дворике, огороженном, майском, клал на скамейки, тихих, распеленывал, одежку их развешивал на веревке, чтобы протряхла, а они лежали, смотрели в небо, просто в небо – тем же взглядом, что оно на них, облака развешивая на прищепках, обернувшись через плечо. А на ногах – бирочки:

Муромец, Агапит… Вспомнил фамилию бригадира, он же парторг: Честнейший. Такая фамилия. В Лавре Почаевской, где мы несколько лет работали, он строчил на меня докладные в Киев, что, мол, позорю советский облик, вхожу в контакт с монахами, ем и пью, и пою с ними, а с отцом
Валерием из окошка келии по ночам глядим в телескоп и ведем беседы. Отстранял от работы и отправлял в Киев с этой бумагой. Я и ехал, но только во Львов, предавался радостям жизни и возвращался, дописав размашисто под письмом: Воспитательная работа проведена. Приступить к работе с (такого-то). Начальник – Пилипонский. Число, подпись. И шел за монастырским квасом. к дьякону. Сидели на куполе с ним, смотрели вдаль, на поселок в несколько улочек, где на сельмаге полупустом объявленье висело: круглые батарейки выдаются только в обмен на яйца. А чего вспомнил? Бог его знает. Здесь, в Мюнхене, две эпохи спустя. Да и кто там лежит в рождестве богородицы, в этом дворике памяти, с бирочкой на ноге, на кровати, пахнущей базиликом…

Гульпен

Ходил сегодня в деревню за хлебом. Потому как хлеба в Голландии нет, есть нарезные тряпки, типа влажных салфеток цвета раскисшей грунтовой дороги. Последняя надежда была на булочную 1900 г.р. в центре этой деревни по имени Гульпен. О радость — лежит — буханочка! Беру и спрашиваю у милой конопатой продавщицы: а где тут у вас кладбище? Вслед за этим вся булочная минут десять шумно припоминала, где оно у них. Американское? — переспрашивали. Нет, говорю, отечественное, старое. То, где башня 11 века. Башня? — изумлялась очередь. Наконец, пришел я с буханкой на кладбище. Ничего особенного — башня невыразительна, могилы тоже, древней, чем сер. 19 века, захоронений нет. На обратном пути, идя через поле, разговорился с лошадьми. Две. Подошли. Не дают фотографировать — льнут, в лицо тычутся. Поел с ними хлеба. Чудесен, а! Кивают ошалело. Сейчас сижу в бунгало, пишу, а в окне три цапли расхаживают — в пеньюарах. Туман.

Поле

Откуда эти беженцы из территорий «я» под флагом поисков нового языка, новой оптики? Оттого ли, что «я» не отвечает на вызов, не держит удар? Самостояние не держит, мышление, вменяемая связь слов? Не держит. Особенно после тех, кто держал. А реальность держит? Может, дело не в кризисе «я», а в тех, кто сейчас в поле?

Воскресенье

В этот небесный день я хочу вспомнить об одном близком мне человеке. Его уже нет в живых. А началось всё в 1981 году, когда в "Литературной учебе" (где годом спустя появятся "Новогодние строчки" Алеши Парщикова, а затем "Ода" Ильи Кутика) был опубликован мой роман в стихах "На фоне неба и во всю длину". Жил я в Киеве, мне было

22, это было первой моей публикацией. И вот — вдруг — хлынул поток писем со всей страны. Почтальонша складывала их на лестничной площадке, поскольку все это в ящик не вмещалось. А полугодом спустя пришел пакет из Новосибирска, в нем письмо на 40 страниц от руки и метровая афиша Новосибирской филармонии, где в первом отделении значился Уитмен, Рильке и, кажется, Лорка, а во втором — этот мой роман в стихах. Этот годовой абонемент читал автор письма — Виктор Семдянкин. Те, кто помнит эти годы, могут себе представить, насколько этот случай невероятен... Я подумал, с чем бы это сравнить по нынешним временам. И не могу придумать. Сейчас, конечно, я с неловкой улыбкой вспоминаю этот "роман", но тогда это было одним из первых появлений другой литературы и другого, нашего, поколения, которое дальше кухонь в публичном пространстве не выходило. Потом, на протяжении 30 лет, я не раз менял свою жизнь, письмо, уходил из литературы и возвращался, менялся круг друзей, читателей, ожиданий, а этот человек неизменно был внутренне рядом. И продолжал писать письма, ради которых стоило жить. Несколько раз мы виделись. Потом он потерял сына, жену, работу. И единственное, что оставалось всегда с ним — вера в меня и любовь — внимательная и по-сибирски надежная. Он и умер, читая стихи — вдруг, тихо, дома — разрывом аорты. И это был год длиною в два, когда ушли из моей жизни самые близкие — отец, он, Алеша Парщиков... Ушла Индия и Москва. В эту же пору прервалась жизнь с женщиной, которая нежданно стала большей частью меня.

Держись, Витя. Там. И я постараюсь. Здесь.

Оглянулся

Полтора года меня не было на земле. Почти не было. Полтора года непрерывного письма. Открыл папку, ужаснулся: более трехсот стихотворений написано. Ежедневно, все световые дни напролет — у экрана. За исключением нескольких кратких отлучек. При том, что ни дома, ни семьи, ни службы, ни работы, ни проектов, ни путешествий, ни каких-либо связей с внешним миром, кроме фб. То есть по тексту в день, ежедневно, учитывая, что некоторые требовали и двадцать-тридцать часов работы. И не считая переводов Джойса и разных др. текстов. И без пресловутого "опьянения вдохновеньем", спокойная последовательная путевая работа, сродни экспедиционной. Внешне. С предельным напряжением сил. Не знаю, были ли такие случаи. Прозу, да, можно писать в таком режиме, да и то не всякую. Странно еще и то, что, казалось, к стихам уже не вернусь. После романа "Адамов мост", который писался семь лет — примерно в таком же режиме. И думал об этом спокойно, потому что в этой книге, по внутреннему ощущению, сбылось всё, ради чего я вообще жил-был. Беспокоило немного только будущее — чем его занять. И вот проходит где-то полгода и вдруг на полях дней возникает что-то вроде стихотворения, ничего вроде не обещающее в смысле продолжения... И всё. Голову я поднял лишь сейчас, полтора года спустя. И вот еще странно: я почти десять лет перед этим не писал стихов, но и тот островок был маленьким — пару десятков текстов, а перед тем — еще десять лет стихов не писал. И вообще со стихами было всё как-то неясно: будто писали их в разные периоды жизни разные, порой незнакомые друг с другом люди, и кто из них кто, и где из них я — вопрос, который вился за мной все годы, пока я не махнул на него рукой. И вот к пятидесяти годам они все сошлись и срослись в Адамов

мост. Казалось, уже не просящий никаких слов после... Тут-то меня и подгадало. Дивны дела твои, Господи. С Новым годом Тебя.

Касис

Маленький курортный городок на Лазурном берегу — похоже, один из самых, облюбованный французами с достатком, белыми, хотя и в 20 км от Марселя. Крымский ландшафт. Утес — тоже "самый" — высокий во Франции. Он меняет кожу трижды на дню — от разбеленной сиены до красной охры. День тут начинают с поедания мидий, их выносят в иссиня-черных трехлитровых кастрюлях и ставят на снежные скатерти, дальше — медленный танец рук и губ, с обсасыванием. Я мидий не едок — это единственное, что кто-то внутри меня не переносит — до тошноты.

(Помню, как приехал ко мне в Мюнхен Алеша Парщиков, мы долго не виделись, нам было о чем поговорить, ждали этого дня. И вот в первый день мы пошли в известный Музей техники — поздно, перед закрытием, выбрали зал оптики, там было две двери, каждый шагнул за свой черный занавес и ухнул в оптическую западню: 12 Парщиковых, глядящих друг на друга под углом крайнего отчуждения — у него, и столько же Соловьевых у меня. Вышли, не проронив ни слова. Долгое время спустя, Алеша сказал: "И с этим человеком я жил, спал под одним одеялом, любил женщин?!.." А наутро мы ели мидии в харчевне у реки, думая, вот теперь уж побродим, поговорим... Весь день я блевал, обнимая деревья, так мы и шли через город — все 24 человека... И разъехались).

Так вот, после кастрюльного трехлика, французы делятся на два потока: один тянется на пляж, где достает тормозки и очень по-нашенски, под яростным солнцем, наворачивает из плошек, кто чем запасся, запивая местным вином. А второй поток садится на катера и отправляется к "каланкам" — длинным красивым затокам среди высоких известковых скал. Потом оба потока сливаются на набережной в очередях за мороженным — съедаются тонны (Касис — звучит как "черная смородина" — отъявленный сорт здешнего мороженого, цвета той же кастрюли).

Ну и к вечеру — снова мидии и огромные подносы с морскими царевнами при свечах. А над городком — замок, светится по ночам. И нет дорог к нему.

Сегодня утром переехали в другую квартиру — упоительную, по сравнению с прежней — просто прекрасной. Та утопала в садах и цикадах (кстати, с одной я тут разговаривал, крупная — как три наших, глазела на меня слепыми буркалами Тересия и не выдала тайны происхождения. А они ведь, мамочки, роняют своих детей с веток, и те, в пренатальном еще, падают оземь, и там, пробуждаясь гусеницами, уходят в землю на годы, бродят по черным садам аида, а потом восходят к свету, окукливаясь, превращаясь в цикад, и взлетают, чтобы прожить ровно лето и ронять детей с веток, немые, под оглушительный хор мужчин). Та — в цветах и цикадах была, над гаванью, а эта — на тихонькой узкой мощеной улочке Сан Клэр, на расстоянии полета бумажного самолетика, летящего с нашей веранды и ложащегося на море. С веранды — 200 градусов обзор — горы-море-горы, и в зрачке — яхты плывут. А квартира в двух уровнях, с витой лестницей между ними, чудесная, не нафуфыренный гламур, а старое голое дерево и белизна стен. Дому — около 200 лет. Но главное — мансарда. И веранда, и черепица крыш... И шкафчик расписной, глубокоуважаемый, чеховский.

А вчера с восходом луны белые барабанщики — неисчислимым числом — двинулись к морю с гор — и скрылись в нем.

Гравитация

Подумал, чему бы я мог научить? А ничему. Уже ничему. Ни в литературе, ни в жизни. Есть такая сумма опыта, энергий на разных полях того и другого, которая в какой-то момент выводит тебя за пределы значимости их "гравитации". Вообще какой-либо значимости, если говорить о литературе, традиций, школ, стилей, задач, целей, контекстуальных связей, групповых эстетик и прагматик, границ, трансгрессий и т.д.

Примерно то же происходит — не страшно сказать — и с жизнью.

Это вовсе не значит, что ты выброшен на какие-то божественные высоты и уж тем более застрахован от ошибок и провалов. Нет, конечно. Просто путь твой приобретает очень — сказал бы "личный" характер, если бы значимость не теряло и это.

Чему ж тут учить, когда вот так "пойман в своей свободе"? Одно из условий которой — не знать. Чему ж тут учить.

Но есть, если отвлечься от этого "перехода звукового барьера" и другая история, менее радикальная. Где эти привязки, эта зависимость от перечисленного выше снижена. И в жизни, и в искусстве есть оседлые фигуры, и есть номады. У одних — огород, соседи и почтовый ящик на заборе. У других — соответственно.

Ум за разум

А что значит "ум за разум зашел"? Если ум — наше, здешнее, злаковое, культивируемое. А разум, если верить мудрецам — не от мира сего. (Гераклит: Разум вне нас. Или Дэвид Бом, физик-нобелиат, беседуя с Кришнамурти: Ну не может же разум не иметь никакого отношения к мысли! Кришнамурти: Разве?) Не заходит ли ум за разум, когда первый становится между тобой и разумом на манер затмения? Но тогда звучало бы наоборот: разум за ум. А так, выходит, светит чистый разум безумия. Любопытно, что в русском языке сумасшествие, безумие связано с утратой ума, а в украинском со свободой от бога — божевілля.

Севилья

Умопомрачительная история, сродни затяжному оргазму. Это Севилья, по сторонам этого дома — две улочки: одна (дальняя) называется Жизнь, другая — Смерть.
История такая. В 15 веке крещеный еврей Диего Сусон готовил восстание за права евреев в этих землях. Его дочь, прекраснейшая Сусонна, и католик Христиан любили друг друга, она проговорилась ему о предстоящем, тот, принадлежа к знати города, предупредил мэра. Заговорщики были повешены (вместе с отцом Сусонны), она ушла в монастырь и

завещала после смерти повесить свою голову на двери дома. Что и было исполнено, а когда голова истлела, ее заменили лампадой, улицу назвали улицей Смерти, теперь на ее доме барельеф с надписью.

А в магазинчике между улицой Жизни и Смерти работает киргизка по имени Раушана. На мой вопрос о том, кто живет в этом здании между улицами и не так ли оно внутри устроено, что комнаты, принадлежа одним хозяевам, выходят окнами и на смерть, и на жизнь, или делятся на жильцов Жизни и жильцов Смерти, сказала, что вон там, на втором этаже (Смерти) с окном на площадь, живет старуха, ей лет 80, и она всякий раз, когда подходит экскурсия, распахивает окно и несет проклятья на головы экскурсоводов, крича, что она их всех переживет, что у нее месячные еще не кончились.

. . .

А вот здание Архива Индий, то есть Америк. Строилось в то самое время, когда в городе жил комиссар по продовольственным закупкам и заимкам, почти мытарь Мигель Сервантес. Это самые темные для биографов его 5-10 лет. Пару раз он, 50-летний, оказывался в тюрьме. После этого севильского периода этот писатель-неудачник публикует первую главу Дон Кихота. В Архиве Индий — 9 км. полок, 80 млн. страниц документов, в т.ч., дневник Колумба, прошение Сервантеса о соискании какой-ниб. должности в Америке и пр. И ни души.

Одержимость

Так происходит с любым по-настоящему одержимым своим призванием — будь то море или книга, или что угодно — они горят, не сгорая (сгорая). Слагаемые просты: дар, опыт, концентрация и свобода. И спокойная отвага одержимости.

Кодекс

Согласно Камасутре, нельзя вступать в сексуальные отношения со следующими женщинами:
прокаженными;
лунатичками:
выпавшими из касты;
предающими тайну;
проявляющими похоть;
слишком белыми;
слишком черными;
дурно пахнущими;
состоящими в близком родстве;
состоящими в дружеских отношениях;
аскетами;
и, наконец, женами друзей, брахманов и королей.

У двери

В общем-то говорить уже было не о чем. То есть было, конечно, но что уж — всё по тем же кругам. Так и топтались у двери, чуть виновато подбадривая друг друга. Прощание с умом затянулось.

Дар смерти

Вчера получил в личку вот это. От незнакомого человека. Пишет, что купил в Керчи в 1990-х. Это моя первая поэтическая книжка, с дивной страннической судьбой, гуляла по стране в те годы, всплывала потом где-то в сибирях и пустынях. Хотя издалась небольшим тиражом в Крыму и легла лишь в местные магазины. Набиралась она какой-то дояркой, бывшей наборщицой — под Белогорском. Куда я с редактором возил тяжелый портфель свинцовой латыни, которая там, в Белогорске, не росла. Для милых инкрустаций в некоторых текстах. 150 страниц мелкого шрифта исполнявшего пляску Витта. Я помню, как слал эту книжку своим друзьям — в Москву, Питер и др., представляя, как они вынимают из почтовых ящиков это "дар". Помню, как Володя Салимон позвонил мне, говоря, что ж я испытываю так его сердце, что в первые секунды его мог и инфаркт хватить. А я ездил из Гурзуфа в Ялту и торговал там книжкой — на хлеб для малыша той женщины с которой жил тогда. Конечно, оглядываясь, мы разные — там, в книжке, целый народ меня, боевой и кипучий, на алхимических полях лучезарного ада, я по сравнению с ним теперь — перс на льдине). И какой-то стигмат проступил на носу на фотографии — видно, от долгого хранения.

Вена

Прислали запись моего недавнего вечера в Вене в галерее Overground на "Венских чтениях". Об Индии. Вернее, два фрагмента вечера, больше не записалось: начало и фрагмент перед концом. Причем второй записан без головы. Что и хорошо, сказали бы индусы, поскольку мир (майя) — головная боль без головы. Жаль, что середина не записалась, там я, кажется, пытался что-то важное сказать — о смысле. То есть не жаль, конечно, а слава богу, потому что попытки смысла — заминки вкуса, чтоб не сказать — жизни.

Светляки

Посмотрел фильм про светлячков. Ужас. Мерцающая тьма, тысячи светлячков, несколько видов (народов), говорящих на своем световом языке. Самки подзывают самцов на любовь особой световой фразой. И чередуют это со сменой языка, подзывая самцов другого вида. Те спешат на свидание, и самочки их сжирают. И опять меняют язык, полиглоты, на родной. Звездное небо, красота ходуном ходит.

Так прекратилось существование искусств

Я умер. Гомерически умер. Так умер, что уже, наверное, никогда. Нет, ну надо же! Лучшее, что могло быть написано обо мне. И не мудрено, что написано не человеком. Этот прекрасный сдвиг сетевого разума найден на задворках Интернета, где предлагалось скачать одну из моих книг в обмен на ваш мобильный номер.Прошу потомков разместить этот текст на моем могильном камне. Всё равно лучше никто не скажет.

"Волоокий Сергей Соловьёв, проживающий на крымской вилле среди ланей и павлинов, пишущий о любви так, как если бы то ... Стихи. — М.: Московский рабочий, 1990. ... Рецензия на книгу Сергея Соловьева «Крымский диван». Вплоть до элементов потока сознания 2002), «Amort: Роман» ничего не изменилось : «Медленные книги», 2015 Соловьева. Учился на Сергей Соловьев — открыватель: даже географические выставки в Германии, США, Чехии и др. Рубеже 1980-90-х гг Сергей Владимирович Соловьёв родился в этом смысле за последние пять тысяч лет. Проза Соловьёва характеризуется превалированием стилистических задач над сюжетными книг поэзии и поэтической прозы, в том числе. «Фигура времени» Как писал С М Соловьев писал: знакомой оленихе 9 января 1959, Киев) — поэт. Тот же путь и те же задачи, которые. Который по-прежнему и есть этот поиск И до Нольдистанция: Стихи Волоокий Сергей Соловьёв. Дегуманизация, постмодерн, поп-арт и пр Автор десяти книг Особенностью поэзии Соловьёва является обилие эротических мотивов: на. Прозаик, художник Адамов мост: роман / Сергей Соловьев пишущий о любви так, как если бы то. Смене парадигм ни писалось на заборе времени –, охраняются в соответствии с. Распластавшегося под землей Большого адронного коллайдера В начале крымским ханам И поиск смысла человеческого существования, М — литературной премии «Читатель» Следующее вторжение татар в Крым вместо дивана-совета. И ведущий междисциплинарного дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», — диван СЛОВА И ВЕТЕР. Выпустил три тома альманаха «Фигуры речи», И о смерти — как о собой коктейль из потомков Все права на информацию. Кажется, он на скрещении самых важных проектов, открывающих Крым избавил Московию окончательно Пир: Соловьев,. Хана, входили его заместитель и наставник калги-султана, старшая сил пор никто не смог затмить славы С. Границей, активно выступает как художник (персональные выставки в книги «Книга» ( ) — презентации приуроченного к рубежу. Соловьев: «Так прекратилось существование — М , 2006), искусств

Письмо

Только что пришло письмо от неизвестной. Вот его полный текст: Меня зовут Вина, я надеюсь, ты хорошо

ЭССЕ

Парщиков, Драгомощенко, Жданов

Алексей Парщиков

…Я встречал его на перроне мюнхенского вокзала. Мы долго не виделись. Кофе, солнечный зонтик. Рассказываю ему об Аморте — о живой истории, еще не написанной. Он, проводя языком по самокрутке:

— Да… женщины от любви стареют, — и, затягиваясь, — рядом с Дюрером.

Да, думаю, Базель, дом с тропой вниз — к Юнгу и в сторону — к могиле Джойса.

Он перехватывает взгляд, встаем.

— Deutsche Muzeum? — спрашивает, глядя на часы.

Час до закрытия. Мельницы, паровозы, самолеты… Чем дальше, тем безлюдней. Когда наконец доходим до зала оптики, мы, похоже, последние посетители. В дальнем конце — черный полог двери. Вход раздвоен. Переглядываемся. Я вхожу в левый, он в правый. Оптическая ловушка со связанными за спиной рукавами. А рубаха сработана из зеркал. И вот внутри этих зеркальных торосов мы стоим — каждый в своем рукаве. И в оцепенении глядим в себя, размноженных под едва заметным углом с голографическим смещением ракурса, — вереницы едва ли знакомых между собою лиц — как одно лицо, струящееся в дурноту бесконечности.

Мы вышли одновременно, молча, и, не поворачивая головы друг к другу, обменялись рукавами. Теперь он был в моем рукаве, я — в его. Коридор, ощетиненный зеркалами, был устроен таким образом, что каждое отраженье одним глазом косило на предыдущее, другим на последующее. Где-то с пятнадцатого начиналась странная полоса отчуждения. Мы привыкли видеть свое лицо либо прямо перед собой, либо с небольшим боковым смещением. Здесь же угол дробного поворота лица совершал сто восемьдесят градусов вдаль до конца коридора и возвращал лицо уже по другой стороне, продолжая его дробить до полного оборота в триста шестьдесят, которые — но лишь на мгновенье — совпадали с тобой и вновь дробились, скашивая взгляд в обе стороны наблюдения за наблюдателем. Не Степной волк, а буквальный тихий ужас расступавшейся бездны собственного лица. Круговая порука его отчужденья. И этот леденящий озноб: ад — это другие, которые ты. И вдруг передергиваешься, как петушиная голова, срубленная, и коридор за спиною твоей стихает, помаргивая.

Идем по вечернему городу, молча. Иду и думаю о его письме, об этом веере живых зеркал, развернутых под ревнивым углом друг к другу, играющем мнимыми перспективами, взвинчивая скорость ассоциаций. Об этом поле виденья, которое заверчивается на ребре, как монета, которая не может лечь ни на орла речи, ни на свой номинал. О мире как роящемся улье возможностей, где «я» — двоюродно по отношенью к событию. О первородстве воображенья и памяти. О страсти к территориям риска и трансформаций, тактике Протея, барочном гедонизме, гоголевских хуторах, витиеватых

проселочных строчках, вкрадчивых танцах Дионисия с Аполлоном. О выкройках возможных миров, оптических мистериях и ангелах метафор. О том, как мир отряхивается за кулисой, выводя на поклон своих двойников.

— Чудовищно, — говорит он часы спустя, — и с этим человеком я жил, спал под одним одеялом, любил женщин, писал книги…

Садимся у реки, глядим на плывущие огни.

Да, говорю, и вижу его далеко отсюда, на участке в шесть соток на поле Полтавской битвы, где он идет в балахоне, надвинув капюшон, как шахматная фигура, атакуя купоросом то Петра, то Карла, прививая Мазепу к Марфе.

И дальше, глядя на его отраженье в воде, то есть ближе: как он, перебравшись в Москву через киевскую Сельхозакадемию, где штудировал хряков, ложится в гроб на Мосфильме, играя смерть Пушкина, как его отпевают.

И дальше: Соловьиный проезд, кухонная дубрава, заговор певчих, застой. Он, Иона, блуждает внутри раздутой, как цыганская лошадь, страны, изучая ее мерцающий анатомический атлас, и вздыхает о жабах, об их расписных шкатулках: «а то, как у Данта, во льду замерзают зимой, / а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах».

И уезжает в Стэнфорд продолжать образование. И возвращается в другую страну, эпоху, нарисованную на прежней, как палимпсест. Женихи упражняются в стрельбе сквозь кольца дыма.

И, наконец, Кельн, волхвы, журавлиные письма Жуковскому о дирижаблях. И велосипед, уносящий его, поджавшегося, как кукиш, на все четыре.

Как затепленные венки, плывут, покачиваясь, огни, лица…

***

Кальцием стать после смерти, высохнуть в веточке — так он писал в юности. А потом, жизнь спустя: нефть подступает к горлу.

Видишь, я ничего не могу сказать о тебе вслух, все время сбиваюсь на свое, и все неудачные попытки мои об этом. Так он когда-то признался мне в одном из писем. И дело, думаю, не в родстве поэтик. Я был, наверно, не ближе ему, чем многие из тех, кого нередко перечисляли в одном с ним ряду через запятую. А в чем? Уже не ответить. Но разговор длится, разговор длиной почти в тридцать лет. И «тварь месмерическая» тут ничего уже не изменит, разве что голос, вверх обращенный, стал более чутким.

Умирай на рассвете, когда близкие на измоте.
Тварь месмерическая войдет в госпитальный металл.
Иглы в чашку летят по одной вынимаемые из плоти.
Язык твой будет в песок зарыт, чтоб его прилив и отлив трепал.

И называет это маневрами. Не только это. Почти все, что видит. Включая смерть как месмерическую гримершу. Иглы в чашку летят. Св. Себастьян, сухой выхлоп. Кто воскрес — отряхнись! — ты весь в иглах!

Инсценировка — один из ключей на связке.
Он там, где ангел с мечом огненным обращающимся пока еще минус ангел, только одна из возможностей — между еще не оконченным раем и уже сквозящим изгнаньем.

Он инсценирует возможное, разыгрывает мир как шахматные версии, вводит фигуры в положение непредсказуемости, знает и верит, что только в этом положении мир действителен.

Действителен там, где еще не создан и дни творенья еще не просохли.

И в его случае это вопрос не досужих интерпретаций, а живой онтологии, быта мышления.

Когда время обратимо и любое событье еще в пути, еще примеривает в лабиринте зеркал возможные очертанья.

Когда по одну сторону еще можно проникнуть с ножом в тот запретный Сад и срезать ветку с яблоком, а по другую, ощутив раздвоение, ослабнуть и отделиться от себя как нагретый столб черного света и пойти наклонно, словно отшельница-колонна.

Обратимость времени и событий — вопрос скорости ассоциаций, тяги воображенья, непредсказуемости маневра и еще тысячи вещей, а проще говоря — веры и особого дара сдвигать горы косной материи, выбивая у них самозваную почву из-под ног, вовлекая их в бесконечный процесс превращений.

Точнее, преображений — он очень тонко чувствовал эту разницу. Как между взлетной полосой и отрывом.

Он и у других больше всего ценил эти редкие случаи прорыва к этому полю преображений, которое считал единственно настоящей реальностью, неузнанной, неизвестной, избыточной, полной даров и чудес.

Выбить почву, сдвинуть, смутить, передернуть эту мнимую картину мира, лишить ее расхожих одноходовок мышления, виденья, вывести из автоматизма, перекодировать роли, вовлечь в непредсказуемую драматургию.

Подходы могут быть разными. И интуитивный — как удар по лампочке. И изощренное обхаживание «молока», чтобы выманить «яблочко», чтобы оно как бы само себя срезало.

Интуиция, воображение, язык. И малое дитя будет водить их. Вот роза его ветров. И долгий спуск — во все четыре стороны — в объяснения.

Но вряд ли мы найдем его там.

У них нет ничего, того, что становится приобретеньем смерти. Они есть моцарты трехлетние — пишет он о фигурах интуиции.

Он ушел в смерть через окно, отчалив на пожарной выдвижной люльке, подняв большой палец к небу. По-хлебниковски.

Он часто его цитировал, вдруг, вроде бы всегда не к месту. Будто обернувшись к пустому проему, сбой волны, голосовые помехи.

Дальняя близость.

Хлебников сводил прошлое с будущим, концы с концами. А Парщиков был весь в настоящем, пытаясь его вывести из себя — его, положенье вещей, притворившихся завершенными, очевидными, с этой гипсовой маской, под которой якобы нет ничего, кроме нашего сговора.

Вывести из себя, но самому при этом оставаться чуть в стороне — и от маневра, и от соучастника событий, которого он вводит в поле действий.

Чуть в стороне, выстраивая коленчатую перспективу со сложной оптикой, меняя точки сборки зрения, входя с самим собой в метафорические отношения, вертя, как спиритический стол, поле Полтавской битвы, разыгрывая наперсточные галактики наблюдений за наблюдателем.

Я не высказываю отношения к происходящему, меня не занимает проблема мнения — говорил он, пусть чуть лукаво, но по преимуществу, похоже, соответствуя тому, что происходило в его текстах.

Тонкий момент.

Дело не в отказе от «я» и его переживаний, а в несогласии с тотальной узурпацией этим «я» всего древа жизни, несогласие с глухарем на ветке.

Он, конечно, был очень внимателен к новейшим гуманитарным исследованиям — и нашим, и западным, но не стоит преувеличивать их влияние на его выбор — к тому времени он давно уже был на своем пути.

Отношение к чтению и, шире, — образованию (я не об академическом — их у него, как известно, три: киевская Сельхозакадемия, московский Литинститут и калифорнийский Стэнфорд, — а о самостоятельном, вольноотпущенном) было едва ли не тем же, что и к

собственному письму. Поле риска и трансформаций. Азартная авантюра, упоение несусветным, смирение, прилежание, пчелиное трудолюбие. Одновременно, в одном. И кропотливый Дюрер с иглой над офортом, и св. Франциск с птичьей азбукой, и Калиостро с дорогой подмышкой, и Хома Брут с книгой-панночкой на спине.

Годы библиотечных келий, компьютер — у одного из первых в стране. Энциклопедический диапазон интересов. Половина чтения на английском. Строжайшая дисциплина в себе меж учителем и учеником, рассеивание и концентрация, ритуальный, едва не рутинный дзен. Когда б не художник, не особый его нечеловеческий глаз. Так птица считывает, распутывая ландшафт на лету.

Он говорил об эпосе, об эпичности взгляда — и на мир, и на собственные драмы. И писал эпос… лирически.

Витиеватая проселочная строка. Ритмически пересеченная местность. Рифма то теряет себя из виду, то возвращается к себе и снова перепрятывает, играя измененными состояниями.

Ничейная полоса — между прозой, верлибром и классическим стихом. Походное дыхание свободного мышления. Пес, челночащий в густотравье и возвращающийся к ноге. «Беги, моя строчка, мой пес, — лови!» Здесь все может быть всем — как обернется. «…море беру и метаю — куда? — и море приспосабливается к полету».

Не игра мышцы и не лицедейство. Все так и есть. И зависит от того языка, на котором ты говоришь с миром, в какие отношения с ним входишь. И на какой скорости. Так при зашкаливающем пульсе движения кажутся замедленными, неуклюжими, время почти останавливается.

Длинная разболтанная строка, густой лианистый синтаксис, почти неподвижность. С бешеной внутренней скоростью — скачков, озарений, разрывов… Естественная скорость живых процессов, собственно чудотворства.

Это не исполнить под взятую напрокат фонограмму изношенных стихотворных размеров. Да, он изредка пользовал их, но с улыбкой, перебирая октавы, «что пройдет, то будет мило». И возвращался в то, что для него не проходило, — в XVIII век, к Величковскому, Ломоносову… И по другую сторону — к опытам калифорнийской Школы языка. И любил цитировать письмо Элиота Паунду, что, мол, мы должны поддерживать огонь в очаге, всю жизнь, в ожидании единственного дня, когда потребуется весь наш опыт — для прорыва… Этого может и не случиться, но мы должны быть готовы.

Все ведь могло бы сложиться и иначе. Со всеми достоинствами его дара стихи его могли бы оставаться слишком умозрительными, суховатыми. Откуда же этот «впечатленный солнцем хлорофилл» в каждом усике буквы, эта рвущаяся наружу завязь? Почему его строки приводят в столь сильное возбуждение, изнуряя едва ли не физиологическим наслаждением? И как это так происходит, когда поверхность текста вроде бы к этому безучастна? Речь не о хрестоматийной паре — «кузнечик с женскими ногами» и подобных примерах. В самых, казалось бы, впрямую не связанных с эротической подоплекой

строчках эта, как он говорит, сила, поперечная весу, эта витальная тяга пирует, празднуя свое первородство.

Сложное чтение, неудобное. В пределах одной строфы смысловая точка обзора может резко смениться несколько раз. Сел на телегу, и уже на воздушном шаре летишь, уходя под воду.

А мог бы «стать искрой беленькой меж молотом и наковальней». Не мог. Там, где есть свобода, говорит он, нет выбора. «Я Тебя не ищу. Ты найден в своей свободе».

Он взвинчивает скорость, ведя строку многоярусным смысловым потоком, схлестывая дискретность и непрерывность под разными углами, доводя эту скорость до точки силы, до обморочного равновесия, до иллюзии реверса, до запятой под пяткой падающего колосса.

События движутся с разных сторон одновременно, меняя черты, ракурсы, перспективы. Сценарный подход; крупные планы, мизансцены, ремарки. Вниманье к теории кино, Эйзенштейн в закладках. Монтаж, нарезка. Страсть к фотографии, профессиональная камера, вереницы линз, красный фонарь в ванной. Между глазом и объектом — медиум, камера обскура. Между текстом и автором — пес.

Его интересовал мир феноменов, их экстатика, непредсказуемость их проявлений, к соучастию в этих опытах он обустраивал территории своего письма.

В этом смысле где-то в зеркальце обратного вида мелькают и Эмпедокл, и трактат «О природе вещей», и Леонардо с его домашними заданиями — описать челюсть крокодила и язык колибри, и Циолковский с его дирижаблями и иными мирами, подвешенными к потолку его калужской мансарды, и многие другие, вращавшиеся меж лопастями утопической натурфилософии, поэтической алхимии и интуитивных прорывов.
В одном зеркальце — Калиопа, а в другом — великие визионеры: и автор Апокалипсиса, и Сведенборг, и Гурджиев, и Алмазная сутра…

Или, не деля на вторых и первых, — Дант, Гете…

С поправкой на приключенье, игру, шкоду. Как в детстве — сбежать из дому, залечь у железнодорожной насыпи за пустырем: ночь, магний, карбид, селитра, дворовая пиротехника, звездное небо под улепетывающими ногами… С поправкой, что этим задним двором, пустырем, полигоном была для него вся Вселенная. А потом возвращался домой, был очень внимателен к взрослым, к их церемониям, ритуалам, много читал… Мир ловил меня, но не поймал.

Или, к примеру, Лейбниц стоит с бокалом красного у окна, по одну сторону — тюрьмы миров, монады без окон, по другую — вещи восходят по степеням совершенств, и никаких скачков, полная проницаемость, континуальность. И обе стороны эти — и в нем, и за окном, и в письме Локку, и в этой терпкости под языком.

Или Ньютон — медленно вводит в свой глаз металлический прут, а другой глаз и рука — в дневнике опыта, пишет. В дверь звонят, Галлей приехал с другом-ученым с другого конца света, вес Земли выяснять, на пари, кто первый… Завиральные идеи кипят по всей округе, горы взвешивают путем пеленания и обмеров.

Идет описание опыта, воображаемого эксперимента с неведомым результатом. Стеклянные башни, например. Или Землетрясение в бухте Ц. Или Минус-корабль. Запись синхронна ходу событий. Сам исследователь при этом, согласно физике прошлого века, является неотъемлемой частью опыта и не может не влиять ни на сам процесс, ни на его результат.

И эта мера присутствия «я» в его текстовых «сеансах» казалась ему достаточной, чтобы сознательно не перетягивать одеяло с поля виденья на себя.

В теории, в области предпочтений.

На деле же с таким избыточным барочным воображением и столь же безудержным малоросским жизнелюбием, не говоря уж о чувстве юмора, которого хватило б на десятерых, ни о каких твердых границах «я» и его меры речь идти не могла. Разве что с оглядкой на Гоголя.

Связь с Гоголем — отдельная, может быть, самая прихотливая страница о нем.

И еще, возвращаясь: невероятный синтаксис зрения с непредсказуемыми траекториями ассоциаций, образов, их световых разрядов, очень высокая скорость — среди современников, пожалуй, не имеющая равных. Разве что у Жданова, но по-другому. И это в чем-то сродни преодоленью звукового барьера в баллистике: тело текста опережает звук; «я», рефлексия проступают потом, когда тело текста уже не здесь.

Последние лет десять мы жили неподалеку — Мюнхен, Кельн. Однажды он позвонил: приезжай, давай сядем, включим диктофон, поговорим. Сколько сможем — день, ночь, неделю, надо бы выговориться, надо бы многое записать.

Не сложилось.

Да, о Гоголе. О Хлебникове. О Мандельштаме. А если о старших современниках — о Вознесенском, Сосноре, Бродском.

Как-то еще в начале 80-х, когда Алеша жил в Ясенево, в Соловьином проезде, в небольшой двухкомнатной квартире с женой, маленьким сыном и бесконечной вереницей гостей, мы с ним затеяли выкрасить кухню какой-то сметанно-борщевой краской, а трубы — бронзой. Красили, и он удивлялся через плечо: Вознесенский, оценив Полтаву, все же сетовал на ее громоздкость. Что это значит, спрашивал он то ли меня, то ли пейзаж в окне, ты понимаешь?

Примерно с той же интонацией и с тем же выраженьем лица, будто ткнувшись в солнечную паутину меж ветвей, он обернулся ко мне лет двадцать спустя, уже в Кельне, вспоминая письмо от Бродского. Оценка была высокой, но — ему в стихах Алеши недоставало просодии. Просодии, повторял он в нос, откашливаясь и вдруг каменея лицом: ты понимаешь? Да, отвечал я, античность — Средневековью. Раннему, оживал он, мы любим раннее.

У него было гончее воображенье и светлый пушкинский дар общенья с людьми. И много друзей — по всему миру. Колоссальная переписка — и на русском, и на английском. Эти ежедневные галеры он обратил в эпистолярную одиссею.

Помимо главного — их самостоятельного художественного достоинства эти письма — свидетели его жизни и эпохи, в которой мы жили, живем. Он, наверно, один из очень немногих, кто удерживал этот, по нашим временам, едва ли не ископаемый жанр.

Так вот, помимо главного. Его адресаты слали ему свои сочиненья. Ему, как мало кому. За годы — кругосветные километры. Читал, отвечал каждому с немецкой пунктуальностью, не позже, чем на следующий день. Драгоценные события, далеко на вырост. Степень внимания, которая нам уже и не снится в нашем лоскутном общении. «Ты больше, чем просят, даешь».

Да, конечно, он увлекал собеседника в восходящие потоки, поднимая его на несколько уровней. Но и при этом, за редкими исключениями, думаю, оставалась пропасть между предметом разговора и тем полем, к которому он был по-настоящему творчески развернут и предназначен.

И эти всегдашние мои и радость, и недоуменье, когда я слушал его читательские одиссеи, особенно если я достаточно знал источник. Неужели его вдохновение искренне, неужели он так читает, так видит? Слушал и глазам не верил: был скромный пустырь, и вдруг — небывалый город.

«А что? — он удивлялся в ответ. — Разве не так? Чтение всегда третий…»

«О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой / и для отвода глаз свищу по сторонам…» Не все так просто здесь, даже если не знать его близко, а еще раз вчитаться в эти стихи. «…безмолвие и шум, безмолвие и шум».

Ему и самому не виден был шаг — следующий. Изобретатель действительности, он обменивал себя на неименуемое. Набрасывал подвесные сады над пропастью и шел по ним — в небывшее. Первопроходчик, вестник воображения, Левша невидимого мира, Протей метафор — все это было сцеплено в одном, идущем налегке, расслабленном и с виду праздном человеке. Внутри же можно только предполагать, какая ворочалась циклопическая работа, какой концентрации сил требовали те пределы, которые он передвигал, обживая, приращивая этот «ворованный воздух» к известной нам среде обитания письма и чтения.

За месяц до смерти он прислал мне в Индию последнее письмо. Очень радостное: вышли книги — его и моя. Светлое, зовущее вперед. И заканчивалось: приезжай скорей, мне есть о чем расспросить тебя и рассказать...

Где он сейчас? В лимбе, где ждут души с нерешенной участью? Между двумя Николами — Гоголем и Тесла?

Всю жизнь он был захвачен ловлей нерожденных миров, их неожиданных ракурсов, новых языков описания. Он был в поиске новой поэтики, новой оптики восприятия. Далеко впереди, один, и остается там.

Аркадий Драгомощенко

***

Он идет по пути снов языка — к Платоновой пещере синтаксиса. Походка праздного философа, идущего налегке, чуть пританцовывая, с Запада на Восток. Но если приблизить взгляд: этот танец — тактильная интонация человека, говорящего вслух с самим собой как с незримым собеседником. Никогда не живопись, не холст, не картон. Тонкая сновидческая бумага. Узор касаний, без нажима. Нитевидный, как пульс, карандашный рисунок мысли. Мерцание переходов. Размывы. Метафора встречается столь же редко, как и человек (близкий) в жизни. С Запада на Восток идет, а под ногами — Север. Белесый курсив подробностей, сноски, примечания, эпительный слой памяти. Платон, Лейбниц, Деррида, заблудившиеся в Карелии…

Кто-то заметил, что его письмо похоже на прижигание льда. Топленая геральдика. Он свой на кампусах американских университетов, он приращивает страницы к поэтике калифорнийской школы языка, оставаясь при всей своей внимательной открытости отвернутым на три четверти и от «здесь», и от «там».

На карте его письма нет ни гор, ни рек, ни государств. Это карта климата речи, синтаксис ее состояний, изоморфемы температур, влажности, атмосферных режимов. Метеозапись мышления. Тридцать лет он ведет наблюдения на этой безлюдной станции. Бочка дождевой воды во дворе, низкие бельевые над ней облака.

Двое

***

Несмотря на легкомысленность и самоочевидность такой пометки на полях взгляда, все же что-то есть символическое в именах, особенно в не очень расхожих. Тем более когда их ставишь рядом.

Драгомощенко (мощная драга) и Парщиков (производитель пара, «щик» — указание на делателя, создателя).

У обоих точка отсчета — вода. Первый — просеивает, оставляя крупицы (минералов, драг. металлов, золота, напр.), или перелопачивает, прочерчивает дно, меняя русло, второй — превращает, преображает в пар, создавая тягу.

Оба работают с текучестью. Первый извлекает из нее твердые крупицы, второй — летучесть. Вектор первого направлен вниз, второго — вверх. (Здесь же: инициалы первого (АД) — вниз, второго (АП) — вверх.)

У обоих посреди имени звук «щ». В ранних начертаниях изображаемый как трезубец (с хвостиком от центральной мачты). Странная буква, о происхождении которой в языкознании больше вопросов, чем ответов. (Звучала, кстати, часто как «шт», и тогда Парщиков — пар штыков).

Почти ровесники. Детство обоих окутано Украиной (первый — Винница, второй — Донецк, Полтава, Киев), оба переезжают в юности: первый — в Питер, второй — в Москву. У обоих коридор внимания фокусируется на Калифорнии (Школа языка). Оба уходят из жизни при схожих обстоятельствах и примерно в одно время. Оба — первые фигуры русской поэзии смены веков.

***

Вот один. В полутьме:
нарушение равновесья
через оползни зренья,
когда тени от веток
скользят под ногой.
Где ж стоит это дерево? —
ни земли под ним нет,
ни источника света,
ни ветра.
Может, даже и нет его,
только тени колеблются.
Но откуда и в ком
это легкое сердцекруженье?
Почему всё плывет,
и так трудно идти?
И так зыбко,
так приблизительно всё,
не единственно.
И невесомо. И смертно.
Или это не тени, а строчки.
Аркадий.

А другой —
в чистом поле
без поля,
без края,
но с преданным псом:

взмах руки —
в упоении пес исчезает.
Но только куда,
если нет ни пути, ни имен
в той седьмой стороне?
И откуда
возвращается,
преображенный,
к ноге?
Если нету
ни поля, ни взмаха,
ни пса.
И не видно ни зги.
Только строчки.
Алеша.

Иван Жданов

***

Я попробую сказать одну трудную вещь. Для меня понятную, но слов (у меня) не имеющую для ее выражения. Разве что, по ходу, из суммы моего косноязычия, как-то обозначится хотя бы сторона, в которую я указываю.

Есть у поэтической речи (по преимуществу, но не только у нее) одна крайне безлюдная территория. Слова туда не ходят — по многим причинам. На это способна музыка, и именно там, где не остается уже ничего, что можно проговорить. То есть ландшафты состояний, напряжений, безъязыких и бесконечных перспектив.

Говоря «музыка», я уже, видимо, сбиваю фокус. Речь о другом. О крайне сложных, многомерных, сокрытых от нас и принципиально несводимых к возможностям нашего разума и чувств неких «законах» живой материи. То, куда не проникает даже самая избыточная из наших способностей — интуиция.

Говоря «законах», я, конечно, не имею в виду некие «формулы» и вообще то, что можно «взять» — даже как неопределенное множество. Огрубляя, это сумма (облако) разнонаправленных, разновременных, разносемантических координат (звучаний, черт, голосов, смыслов), составляющих речевой оклик этой «живой материи», входящей с ней в резонанс. Чтобы отрезать еще одну ложную дорожку, надо сказать, что это не имеет отношения ни к «мистике», ни к «птичьему языку» и т.п.

Речь идет об опыте предельной концентрации всех рациональных и относительно нерациональных человеческих возможностей для настройки, улавливания (при редчайшей удаче) и — вслепую — переноса этого внеязыкового пространства в язык, но таким образом, чтобы ни ты, ни язык не исказил этого «облака» (попыткой понимания, напр., желания выразить это наиболее продуктивным или эффектным образом). Также это не

имеет прямого отношения ни к плотности, ни к разреженности, дискретности. Ни к метафоре, ни к ее отсутствию. Ни к «схватыванию» (потому что тут нет ни прыжка, ни пути, они разнонаправлены и разновременны).

Нельзя сказать, что поэзия с этим вовсе не имеет дела. Конечно, затрагивает. В той или иной мере это присутствует почти во всем настоящем. Но именно что «затрагивает». У нас — с разных сторон и по-разному — Тютчев, напр., Мандельштам, Введенский, Драгомощенко… И только один, на мой взгляд, поэт живет вблизи этой территории и развернут к ней, целенаправленно используя эту близость для попыток и опыта, — Иван Жданов.

***

Обострим. Есть поэзия (и поэты), и есть Иван Жданов. О первой и первых писали и будут писать, о втором — нет, и вряд ли в будущем. Там не живут, туда не восходят, это за пределом черты оседлости нашей психики, видения и пр. При том что для него это просто среда обитания, норма дыхания, речи.

Ни в нашей, ни, думаю, в мировой поэзии ничего подобного не было. А то, что было — скажем, у Гельдерлина, или Рильке, или Тютчева — как «касанье мирам иным», — носило характер именно что «касанья», а не черт лица и естества дыханья.

***

Косноязычная предгрозовая строка. Скачки напряжения между «пророком» и «лжепророком». Плавающие, как шаровые молнии, смыслы. Преимущество метонимий. Лейтмотивное чередование Холма и Ниши. Динамика строк задана этим чередованием: ниша строки и выход — в обход через холм — к следующей нише. Простор его шаток, разматываясь по вертикали, и, похоже, не держится ни на чем. У него нет ни слова на вдохе, он пишет выдохами: выдох длиной в строку, за которой обрыв света. Там, внизу, где река завивается, как чалма, в приступе агорафобии. Он идет без глаз, запрокинув голову, с поводырем челночащей над ним строки.

***

Возможно, на Жданова стоит взглянуть в контексте книг пророков, с той поправкой, что те шли «в связке» (с Богом и через Него), а Жданов идет один. И при этом степень подлинности (не достигнутой, а данной) обескураживает сразу с двух сторон: простоты (речи, записи) и предельной семантической сложности. И в этом схлопывании разреженности и концентрации одновременно ты подвисаешь, у тебя просто нет запаса опыта этому следовать, с этим быть. Как тут вести себя — чувству, разуму, — нет инструментов. Как в грозовом облаке.

И еще: вдруг ловишь себя на том, что, двигаясь вперед, поддавшись простоте речевого строя, начинаешь двигаться вспять — вслед за семантическим потоком, который, набирая объем и скорость, уже не совпадает с записью (или, и скорее, с тобой, который не в силах ему следовать) и как бы начинает течь в обратном направлении, завинчивая тебя в восходящий поток.

***

Наткнулся на его письмо, зимнее, из Симеиза. Стою, говорит, в трусах, в окно смотрю, тепло у нас. Читаю твой Аморт, белую версию. Она исполнена катарсиса. Чего сегодня днем с огнем не найти.

Какой он удивительный — Иоанн. На маленьком симеизском Патмосе. Стоит в трусах, похожих на старинные географические карты, смотрит в окно на заволоченные горы, исполнена, говорит, катарсиса... и идет в ЖЭК — платить за воду и воздух.

Лёня Федоров. От Введенского до Книги Бытия

Вот две попытки сказать об этом. Между ними — 10 лет. Признаюсь сразу: да, я пристрастен. Недавно во сне возникла такая апокалипсическая картинка: нет России, ничего нет — ни людей, ни пространства, ни времени, и не собрать их уже, не вспомнить, тьма, и из этой тьмы — наплывом — Федоров, его ходуном ходящее тело голоса, вот и все, что осталось.

Первая попытка, Москва, 2005 г.

1.

Чаще всего он полусидит на стуле, чуть привстав и подавшись вперед, даже когда этого стула под ним нет. Полусидит, обхватив гитару, и ноги пляшут под ним, как бы вкладываясь одна в другую и расходясь — то две, то три, то одна. Будто бежит на коленях с откоса по плывущей глине. Он прижимается к гитаре, заходясь, как затыкают живот с осколочной раной, — «чтобы не вывалились кишки» меж этим светом и тем.

Лицо — видимо, оно есть у него. Как и тело — видимо, есть. Но это из тех лиц, мимо которых обычно промахиваются взглядом. И тело — низкорослое, крепкое, ширококостное, но вот начинается голос, и — как веревки вьет из кости. Нет ничего в нем твердого, каркаса нет. Будто клетка из птицы вылетела. Снег и огонь. Этот танцующий табор снега меж горящих зеркал — земли и неба, которые так далеко, что почти что нет. Что ж есть? «Над морем темным, благодатным / носился воздух необъятный, / он синим коршуном летал, / и молча ночи яд глотал», — поет Федоров «Серую тетрадь» Введенского.

А потом, после концерта, он садится за столик рядом со сценой в продымленном полумраке клуба, стягивает через голову вылинявшую, мокрую от пота футболку, обтирается полотенцем, надевает сухую, такую же вылинявшую, бесцветную, поверх мешковатых походных бриджей, пьет рюмку коньяка, глядя перед собой невидящими глазами. Будто выкачан воздух, и речь не горит.

Не странно ли: 20 лет Леонид Федоров на сцене, и ни одного вразумительного слова о его творчестве. В чем же дело? Его знают не в меньшей степени, чем, скажем, Гребенщикова или — в свое время — Курехина. О которых немало написано. Или в случае с Федоровым затрагивается нечто такое, чему трудно найти слова? А восприятию не трудно. От шестилетней девочки, подпевающей ему «Я иду-дышу, я иду-дышу, голова-нога, голова-

нога…», до танцующей в своих очертаньях женщины: «Я сам себе и небо, и луна — голая довольная луна… только это не я»; от затерянного в пространстве забулдыги времени — «бросишь руку — вспомнит, вернет сама…» — до корнеплодного старика с пуховым лицом: «меня держала за ноги земля, медленно любила, пережевывая».

Вот на что он похож на сцене: на Уробороса — древнейший символ цикличности времени и бесконечности мира. Колесо змеи, вихляющее восьмеркой, камлающее. И, возможно, отчасти отсюда это необъяснимое затруднение — говорить о нем. Затруднение, которого не испытываешь, говоря о том же Курехине или Гребенщикове, выстраивая резонирующие пространства, контекстуальные отсылки к тем или иным традициям. В случае с Федоровым, как это ни парадоксально, интеллект и профессиональные знания — худшие из проводников, лжесвидетели. Это при том, что его работа — многоярусный сплав самых неожиданных составляющих, различить которые способно лишь в достаточной степени просвещенное ухо. Где Вагнер за занавеской слуха перешептывается с уличным китайцем, играющим на допотопной волынке, и Франциск Ассизский проезжает за окном на цыганской подводе, где Джойс читает Волохонского, хрустя под ногами битым стеклом, и бобэоби рвут на себе рубахи родства, где из мешка на пол высыпались игрушки, а мир — это только улыбка повешенного.

Есть уровень превращения энергии. Там начинается художник. Но есть и другой уровень — преображения. Когда не оставляешь за собой и тех семи граммов, которые весит душа.

Федоров — не от воды и земли, а от огня и воздуха. От ветра и птицы, листающих в небе друг друга. От этого рвущегося и схлестывающегося зазора меж ними. От опрокинутой дали, ложащейся на крыло. Когда пространство крадет коней и время переходит в режим кочевья.

Есть такой анекдот. Стоят два мужика у края пропасти. Один из них делает шаг вперед, не падает, возвращает ногу. И снова делает шаг. Подходит третий. «Мужики, — говорит, — а как это у вас так получается?» «Восходящий поток здесь», — отвечает ему тот, с занесенной над пропастью ногой. «Чудеса!» — говорит мужик — и шагает в бездну. Оба смотрят, провожая его взглядом. Тот, кто молчал, говорит: «Ну и сволочь ты, архангел Михаил!»

«Взял, одел, пошел — и сошел с ума, — поет Федоров. — Ни один не ворон со всех сторон».

«Летел и таял. Летел, горел…»

Мы сидим у него на кухне, на Большой Серпуховской, 21 декабря пятого года, снег в окне. Потому и нет его.

2.

В тот год я готовил к изданию первый том периодической книги «Фигуры речи», среди авторов которой были Аркадий Драгомощенко, Алексей Парщиков, Андрей Левкин, Виктор Соснора, Шамшад Абдуллаев, Андрей Битов, Александр Иличевский, Маргарита Меклина, Илья Кутик и др. В аннотации говорилось, что книга «обращена к тем, для кого каллиграфия речи, письмо, как искусство дыхания, и есть то, что отличает литературу от чтива». И я подумал о Федорове, с которым тогда еще не был знаком. И позвонил. Через час уже сидел у него на кухне. Говорили о разном, потом о Хлебникове, о Хармсе и

подошли к Введенскому. Вот бы, говорю, с кем попробовать тебе после Хлебникова. Оказалось, у него нет книги. Я взял у Мити Кузьмина и привез ему — тот единственный у нас двухтомник — 93-го, кажется, года. И по дороге отчеркнул на полях несколько текстов из «Серой тетради». Так оно все началось, и появилась первая песня «Сын», вложенная мини-диском в тот том «Фигур речи». А «Над морем черным благодатным»? — спросил я его. Да нет, он ответил, не получается. А ты, говорю, просто прочти вслух, перебирая струны… Я пробовал, говорит, что-то не то… Ну вот, послушай. Над морем черным…

То, именно то, одно из лучшего, вошедшее в альбом.

3.

Здесь должно быть интервью с Федоровым. Потому и нет его.Полтора часа пленки. Слушал, перематывая к началу, по третьему разу слушал, подходил к окну: снегом заметенное Люблино. Потому и нет.

На кухне сидели, груша в коньяке (торт такой), чай. Я спрашивал, он говорил. Волков — то заходил, подключаясь к разговору, то исчезал в соседнюю комнату, нашептывал контрабасу. Послезавтра — концерт, диск еще в типографии. Через полтора часа я уйду с записанным интервью, а они будут репетировать послезавтрашнее — то, что, по словам Федорова, подводит черту под двадцатью годами на сцене. Лида, жена его, выходит из ванной в чалме. «Муля, — слышится ее голос из коридора, — Муленька…» Это она собаке, пятимесячному биглю, взятому из питомника. Муля сидит тише травы, с нерасплесканными глазами печали, и лапы ее, подрагивая, разъезжаются на линолеуме.

Федоров уходит в дальнюю комнату договорить по телефону, я выключаю диктофон, входит Волков, смотрит в окно: снег. Говорит: «Знаешь историю про девочку, собаку и Гайворонского? Идет Слава со своей дочкой к реке. И видят, как по льду бежит девочка с собакой. И вдруг девочка проваливается под лед, а собака продолжает нестись вперед. А Слава, оцепенев, чувствует, как разжимается его рот и оттуда несется нечеловеческий крик: “Чья собака?! Чья собака?!” Он так и рассказывал эту историю: стою, говорит, как вкопанный, вижу себя со стороны, слышу этот его идиотский крик и ничего с ним не могу сделать. Понимаешь?» Берет ломтик груши в коньяке, смычок под мышкой, и уходит в соседнюю комнату — к контрабасу. Входит Федоров, включаю диктофон.

Стоял у окна днем спустя, слушал — и не его ответы слышал, а — за ними, где-то за и над — как ветром носимый лист — голос: «Я знаю, какой ты весь. Ты думал, что я не здесь… Ты ждал от меня вестей, а я — за спиной твоей — стою, пританцовывая…»

А перед глазами — та сцена у Милоша Формана в «Амадее». Когда Сальери в выскобленной тишине храма голосом поручика из «Свой среди чужих» заходится: «Господи, ну почему ж Ты даешь ему, а не мне, у меня же есть все — ум, знание, а он даже не понимает, что делает… Ну почему Ты помогаешь этому идиоту?!»

Отходил от окна и перематывал к началу.

4.

Кто это говорит? Тот, у которого поет каждая буква. Тот, у которого буквы в слове имеют черты лица, пол, возраст, разницу температур. У которого фраза, выписываемая голосом, проживает жизнь, просыпаясь, расчесывая волосы, разбивая зеркало, выходя замуж, выбрасываясь из окна, взлетая, рассыпаясь смехом, стоном, заговаривая себя, впадая в ересь, вспарывая себя как живот, топча и танцуя себя в исступлении, и затихает, посверкивая лукавым глазом, задергивая кулисы лица.

Скоморох, лицедей, юродивый. Идешь за кулису, а там — пепел, там «человек сгорел».

Это тот говорит, у которого музыка и голос — как линии левой руки и правой. Того, что судьбой задано как возможное, и того, что горит по-живому. И они то сходятся, то заламываются за спину слов.

Федоров не поет. Потому что это не инструмент в пальцах голосовых связок. Потому что каждый миг исхлестан событиями. Событие «лес», событие «зеркало», событие «огонь», «рука», «вера», «темно-оранжевый», «пить», «пепел», «но»… И все они говорят на разных языках и на одном — одновременно. И все они — драма рая. Волдырчатая от шпилек дождя река. И все это движется с той скоростью, которую мы называем: жизнь.

И если голос не схватывает все это полиголосье жизни одновременно, но так, чтобы голос каждого из «событий» был различим, — тогда изо рта вместо жизни сучится мертвая нить — в лучшем случае — мастерства.

И вот что удивительно: когда человек прорывается к той скорости, с которой движется жизнь, то есть к той сверхплотности событий, кроящих время внахлест, — скорость света оборачивается едва ли не неподвижностью, суета усилий — равновесьем простора. Чем незримей — тем ближе Бог, чем прозрачней — тем выше плотность.

И вот этот человек, так работающий с интонацией, говорит о поэзии, сквозь которую шел как сквозь толпу, не вглядываясь в лица. О «конце эпохи композиторов» говорит, глядя в прорези для глаз в неплотно прижатой к его лицу маске Владимира Мартынова. О рубахах песен — с миру по нитке. О чертополохе голоса, который растет изо рта как попало.

И этот же Федоров, затворив за тобой дверь, вводит себя, как кривящийся нож, в талое зазеркалье музыки, изводя себя в ней по двадцать часов в день, месяцами… Или не так? Или он чуть свет, спохватившись вдруг, взвинченный, как на ребре монета, не мчится — вернуть диск, уже отданный в тираж, чтобы исправить в нем даже не ноту — нечто незримое, не слышимое никому, похоже, кроме него? Так, например, было с «Введенским», когда ночью звонил мне — остановить тираж, а исходник уничтожить.

Пушкин дал определение умного человека: тот, кто с первого взгляда видит, с кем дело имеет. Имея дело с Федоровым, ум заходит за разум, как Полоний за занавеску.

5.

ЦДХ, 24 декабря, день премьеры альбома «Bezonders» — на стихи Введенского. Двое на сцене: Волков в белой рубахе, танцующий с контрабасом, и Федоров в жухлой футболке, движущийся как бы между собой и предметами, с этим обэриутским сдвигом, будто дверью ошибся: жизнь? — извините — смерть? Между собой и своею тенью, на нитях слов. И смех под землей, как снег во рту, бобок… Летел и таял…

Поет он:

«Я мысли свои разглядывал.
Я видел у них иные начертания.
Я чувства свои измеривал.
Я нашел их близкие границы».

И — музыка — будто лошадка бежит — неторопливой, легкой рысью. Что за лошадка, куда бежит? Нет лица на ней, и земли под ней нет. Лошадка времени бежит, не сходя с места. А он (кто?) поет, совпадая с ней след в след, как зуб на зуб не попадая:

«Я телодвижения свои испытывал.
Я определил их несложную значимость.
Я миролюбие свое терял.
У меня не осталось сосредоточенности».

И эти голос и музыка — как два зеркальца, оставшиеся от мира, ловят друг друга, эти обмылки своих отражений, выскальзывающие…

«Догадывающийся догадается.
Мне догадываться больше нечего.
Мне жалко что я не зверь,
бегающий по синей дорожке,
говорящий себе поверь,
а другому себе подожди немножко».

Что ж это за рысца такая, от которой оторопь чувств, эта мурашная осыпь их, светлый ужас, от которого темно в глазах. А она все бежит, потряхивая гривкой, а голос, как веткой, помахивает ей в такт, дирижирует:

«Мне не нравится что я смертен,
мне жалко что я неточен.
Многим многим лучше, поверьте,
частица дня единица ночи».

Что ж это за интонация такая у этого голоса? Убогонькой ноющей радости? Да — и нет. Испуганной нежности? Да — и нет. Сбитого мотылька, кружащего по земле, однокрыло, с подскоком? Дна нет, и нет дней.

«Мне страшно что все приходит в ветхость,
и я по сравнению с этим не редкость.
Мы сядем с тобою ветер
на этот камушек камушек смерти.
Мне жалко что я не семя,
мне страшно что я не тучность.
Червяк ползет за всеми за всеми,
он несет однозвучность».

«Червяк» называется эта песня. Или — «Раб». Или — «Царь». Или — «Бог». И я вспоминаю другие строки.

«Скажу, что между камнем и водой / червяк есть промежуток жути. Кроме: / червяк — отрезок времени и крови. / Не тонет нож, как тонет голос мой», — пишет Алексей Парщиков.

«Что-то поет чей-то голос, / бьется в стекло, тонет в стекле… / Разорвалось, раскололось, / Кто-то зовет меня…» — поет Федоров.

6.

Есть в русской литературе одно стихотворение, стоящее совершенно особняком от ее, литературы, вершин. Неизъяснимо — на чем оно держится. Похоже, что человеческий опыт — лишь один из углов его зрения. Что ему ведомы и иные пастбища речи.

Читая этот одностраничный текст, написанный обескураживающе простым языком, казалось бы — в полушаге от лепета, вдруг ловишь себя на том, что сам в полушаге — от веры в то, что мир физически мог быть сотворен словом.

Оно и начинается с космогонической картины Бытия: «Над морем темным, благодатным / носился воздух необъятный. / Он синим коршуном летал / и молча ночи яд глотал».

Вот действующие лица этой мистерии: воздух, море, человек, пчела, цветок, река…

С точки зрения традиционных психических норм, ни одно из них не равно себе. Причем изначально. «Пусть человек как смерти камень / безмолвно смотрит на песок. / Цветок тоскует лепестками, / и мысль нисходит на цветок». И идущее рефреном: «А воздух море подметал, / как будто море есть металл». Но эта «энергия заблуждения», видимо, и есть сердце мира, приводящее его в движение. И в этом смысле не красота спасает мир, а разлад, зазор, провоцирующий энергию на творческий жест, выводящий ее из состояния покоя.

Похоже, одна из троп ведет отсюда к гностической картине мира. К миру, возникшему из ошибки, допущенной в первом слове. В слове Любовь. И тогда: «Цветок — он сволочь, он — дубрава, / мы смотрим на него направо, / покуда мы еще живем, / мы сострижем его ножом». И слово «сволочь» телескопически разматывается в нашем восприятии от нынешнего употребления до изначального мотлоха, сволакиваемого с веретена, этого нитевидного ангела времени. Ведь время этимологически связано с веретеном. И тут же этот цветок передергивается от смены оптики, расширяясь до дубравы. Направо мы смотрим на него, пока еще направо, плюя через левое — туда, где демон. А он, цветок, не то чтобы светел и праведен, но «нас мудрее. / Он просит имя дать ему. / Цветок мы стали звать Андреем, / он нам ровесник по уму». Не тот ли это цветок-дубрава, который — Добра и Зла? «Вокруг него река бежала, / свое высовывая жало». И Федоров наговаривает этот текст в финале, перебирая струны гитары, как воздух — море.

Семь уровней чтения Книги, говорит каббала. Но чудо не в лестнице смыслов. А в чем? Знать бы — и от чуда осталась бы лишь пыльца.

Между первой и второй, или Как мы с Федоровым не поехали в Индию

Пару лет назад возникла такая мысль — снять фильм вдвоем, в Индии. И Лёня был готов ехать, нужно было лишь немного деньжат на дорогу плюс потом на монтаж. Деньжата вроде брезжили в Киеве, нужна была заявка, в общем-то не обязательная к исполнению — фильм, а особенно в Индии и с такими персонажами по сценарной шпаргалке, конечно, не делается, да не собирался. Заявку я написал, но дело с ответом затянулось, а потом был Майдан.

В заявке предполагался артхаусный роуд-муви. О поисках спанды — изначальной звуковой вибрации, положенной в основанье мира. Я там брожу по джунглям, беседую с животными и деревьями, Лёня сидит у костров с индусами, играет с ними, поет... А третий персонаж — девочка из неприкасаемых, шиваитка, просящая подаяние. Происходящее видится то глазами девочки, то моими, то Лёниными, линии пересекаются, заплетаясь в узор, девочка уходит в Гималаи, танцуя там перед Шивой, мы с Лёней сидим в финале по обе стороны от ее ведерка для подаяний, куда падает дождь.

Вторая попытка, Красноярск, 2015 г.

Вхожу в самолет Москва — Красноярск, иду по проходу, ба — Лёня с Лидой сидят! Третье место свободно, сел пока, разговариваем. Они тоже летят на Красноярскую книжную ярмарку, там концерт у них в филармонии, а у меня — круглые столы о путешествиях и поэзии. Дал им только вышедшую книжечку свою — «Джойс, Нора. Любовные письма», говорим о Джойсе, об Анри Волохонском, на 80-летие которого они собираются прилететь в этом году, о его фрагменте перевода «Поминок по Финнегану», смеемся, вспомнив эту чудесную байку про Джойса и Россию: как в 30-х годах наш Союз писателей направил ему анкету с вопросом — мол, какое влияние на него оказала наша революция и каково ее значение в его литературной деятельности. Письмо было подписано секретарем союза, некой Романовой. Джойс ответил через своего секретаря, бывшего белогвардейца Пола Леона: «Милостивые государи, мистер Джойс просит меня поблагодарить вас за оказанную ему честь, вследствие которой он узнал с интересом, что в России в октябре 1917 г. случилась революция. Из сведений, покуда им собранных, ему трудно оценить важность события, и он хотел бы только отметить, что, если судить по подписи вашего секретаря, изменения, видимо, не столь велики».

А тем временем самолет наполняется, и я говорю Лёне: «Хорошо бы на это место никто не пришел и мы бы остались втроем». А он говорит: «Так мы сейчас это легко устроим» — и они с Лидой начинают подергиваться, пускать слюну, и вот мы уже втроем, убогонькие, с нечеловечьими гримасами ходим ходуном на сиденьях, а над нами стоит вполне себе человек, пристально глядя на нас, и говорит: «Это мое место» — и ни в какую. Пришлось мне перейти в хвост.

Красноярск, вышли из аэропорта, темно уже, курим, ждем автобус, о том, о сем, и между тем: «Лёня, — говорю, — прости мое невежество, но вот такая простая вещь: любая фраза, даже самая расхожая, бытовая, проживает огромную жизнь в голосе — обольщается, выходит замуж, ломает кости, отпадает от Бога, примерзает к любви, черт знает что происходит с ней, пока не свернется в точку, которой нет. И все это, как со всякой живой материей, разыгрывается на разных уровнях, размерностях, на бешеной и бешено медленной скорости, за которой пытался уследить Лейбниц, говоря о вещах, восходящих по степеням совершенств незаметными переходами… Это понятно. Но кому? Это трудно удерживать в речи, поэтической. Это вроде бы легче в музыке, с голоса. Вроде бы. Но кому? Кто это чувствует, кто с этим работает, кроме тебя, — у нас?» «Ну да, ну да», — говорит он, и поди пойми, что за этим стоит. «То есть никто? А почему, как ты думаешь?» «Нет спроса», — говорит. «Нет спроса», — повторяю внутри себя… И всё, мышление подвисает, и бегает мышь по камню, как у Введенского.

Это как потом, когда всю ночь сидели в ресторане при гостинице и к утру перешли с ним за дальний столик, чтоб побыть вдвоем, и я говорю: «Ну вот скажи, как это называется —

то, что ты делаешь? Может, кто-то это пытался обозначить или ты сам как-то это называешь? Это же не рок, не авангард, не фолк…» — и что-то еще перечисляю несуразное, а он всё кивает и говорит: «Да нет, просто песни». Просто песни. И всё. Забудь только слово «песня», забудь слово «Федоров», и останется мерцание.

А он тем временем уже говорит об Айя-Софии, о том, как спустились они с Владимиром Мартыновым в подземелье и разглядывали там тьму надгробий, и было среди них одно необычайной красоты — дальних времен, античных. И они стояли над ним в полутьме, как завороженные. И думали о том, что пройдет эта тьма, и муть пройдет, и все вернется, как всегда возвращалось — другим, неузнанным, но тем же, и что это и есть извечный путь превращения света. А как же, говорю, «конец эпохи композиторов», эти мартыновские апокалипсисы? То есть и они проходят, и за ними — свет и дни творенья? Ну да, говорит, ну да…

И я все продолжаю высасывать из пальца разума и речи эти нелепые вопросы — о шаманах, о суфиях, о горловом пении, о простоволосой архаике… Да нет, говорит, никакого специального интереса к этим техникам, зачем мне это? Кому я задаю эти вопросы? Он же дзен слуха, он дышит где хочет, без слов.

И мы возвращаемся к столу — к Лиде Федоровой, Володе Волкову и Полине Васильевой. И уже несут горячее: Соловьеву и Волкову — кроликов, а Федорову — какой-то дымящийся медальон. Говорим о путешествиях, и Лёня вдруг начинает рассказывать о поездке в Тоскану, о пещерке Франциска Ассизского, о чудесах, и с таким воодушевлением… как ребенок, вывалившийся из небесного гнезда. И о синем, пронзительно синем свете (цвете), добытом там в те давние завтрашние времена. И я слушаю и ничего не понимаю, ведь все так просто. Как с Моцартом. Только нужно быть музыкой, чтоб понимать. Она и плывет — оттуда, из «Слова о полку Игореве», его голосом спетая, как все другое вместе, исполненное с Волковым на концерте, от которого все еще земля шатается под ногами. И когда я спросил его, не собирается ли он сделать альбом «Слова о полку», дописав к двум этим песням еще несколько, он ответил: разве туда доберешься, так далеко это, за краем. Ну, говорю, может, тогда не оттуда взять, а где-то рядом с ним — «Моление Даниила Заточника» или что другое…

А знаешь, говорит, насчет «другого» и «рядом», я сейчас кое-что делаю — с книгой Бытия и псалмами. Только пока не говори об этом. А не 89-й ли псалом среди них, спрашиваю, я его очень люблю, вот этот, помнишь? «Дней человеческих — 70 лет, а при большей крепости — 80, и лучшие из них — труд и болезнь, но и они проходят, и мы летим». Вот это «и мы летим» — особенно. Да, говорит, летел и падал. Не соберу…

Шесть украинских художников, Или Дерево, веревка, Гоголь

Виктор Сидоренко, Александр Ройтбурд, Арсен Савадов, Василий Цаголов, Олег Тистол, Александр Клименко… Конечно, художников, составляющих сегодня первый ряд современного искусства Украины несколько больше — и Анатолий Криволап, и Илья Чичкан, и др., но не задача сказать обо всех и сразу. Тем более, что некоторые из них,

как Тиберий Силваши, например, или ушедший в 2009-м Александр Гнилицкий требуют особого разговора. Но попробуем с чего-то начать.

Что же что общего у перечисленных?

Что общего, спросим вслед за Павичем, у тех разбойников, привязанных к дереву? — Дерево и веревка.

В нашем случае, дерево — Украина, веревка — время, последняя треть двадцатого века, если говорить о начале.

Но и Украина, скорее, не в национально-историческом смысле, а как некое энергетическое тело, психоландшафт. В конечном счете, как протяженный и подвижный мифологический бекграунд, который можно попробовать обрисовать, а можно ограничиться одним Гоголем. Как метонимией всего этого фантасмагорического фона, где «дышит почва и судьба» каждого украинского художника. И не только художника. Если Россия, в определенной мере — некое послесмертие Достоевского, Украина — послесмертие Гоголя.

Гоголь мировых вершин и богооставленной беспомощности; хуторской дилетант и блестящий стилист; гомерический гедонист и аскет, мизантроп; малоросс — плоть от плоти, и нет его, нигде нет — ни в России, ни в Украине (в Риме душа его, говорит, и к гробу Господнему едет в Иерусалим — всей жизни мечта, а приехав, не выходит из тарантаса, сидит под дождем в пригороде, не нужен он мне, шепчет, и уезжает).

Гоголь феерических Вечеров на хуторе и горящих страниц второго тома Мертвых душ. Гоголь надмирного ужаса и оцепенения, которое — физически — вдруг средь бела дня охватывает все его существо, начиная с юности, и провожает до ногтя, вросшего в крышку гроба. Гоголь-Панночка, Гоголь-Мессия, Гоголь-Нос, Гоголь-Перо. Гоголь, стоящий между Западом и Востоком, как Заколдованное место, как Майская ночь.

«Явилась, — пишет Достоевский, — смеющаяся маска Гоголя. Непосильный вопрос, с которым справиться можно далеко не сейчас, да и справишься ли когда-нибудь?»

Итак, страна Гоголь, которую, сколько не закладывали в землю, а все из нее выходила. Гоголь — Пигалица, Мертвая Мысль, Таинственный Карла — как дразнили его друзья по гимназии. Или ОООО — один из псевдонимов, который он взял себе в юности, начав заниматься живописью, рисуя природу, не отбрасывающую теней (!). И продолжил занятия в Риме — с Александром Ивановым, писавшим бесконечные эскизы к «Явлению Христа народу», как и Гоголь, бесконечно переписывавший явление народу Костанжогло в незримом втором томе. Или явленье народу Выбранных мест.

«Гоголь — дух изысканный, звонкий, кровавый, равновеликий Высшему Духу, он один в империи взмахнул пером и очертив вокруг себя мелом круг, сражался с нечистой силой, пока не пал как в песне», говорит о нем Соснора, и дальше: «в 22 года он писал как Гомер. Гоголь сделал русский рисунок речи, раскрасил его мазками и вместо страниц ввел в переплет картины. Этого не умел Пушкин в прозе, и не умел никто после Гоголя».

«Лестницу, дайте лестницу!» — последние его слова перед смертью.

Теперь о веревке-времени.

Годы творческого становления этих художников расположились вокруг семидесятых двадцатого века — эпохи почти остановившегося, тихо оседавшего времени, его морока,

когда советский колосс, казавшийся бессмертным, доживал свои последние дни, но дни эти были, казалось, длиннее вечности. И особенно в провинции, в этих цирцеевых сельхозугодьях времени, где оно колыхалось как теплый студень с просвечивающей сквозь него Родиной-матерью и сонной мухой над серединой Днепра. Закат Утопии, чудовищный и прекрасный.

Об эту же пору, один из шестерых — Арсен Савадов — бродит по пустынной ВДНХ (Виставка Передового Досвіду — Выпердос, укр.) — тоже одна из метафор того времени — и ночует в чреве кита, а автор этих строк, например, пересекает на крохотной резиновой лодке (инвентарь сиротского приюта №8) Азовское море.

В это же время, в Киеве, ряд талантливых художников стягивается к Парижской коммуне (улице) и образовывает там свою коммуну, а с Перестройкой окончательно выходит из подполья, выстраивая наряду с другими новую парадигму современного украинского искусства.

Понятно, что этот прорыв возник не на пустом месте. Энергия накапливалась в том безвременье, которое, как и вакуум, может быть описано и оценено с разных сторон. Наряду с тем, что оно отнимало, оно и одаривало — например, той мерой праздности, которая, по Аристотелю, и отличает человека от других биологических видов. И той степенью творческой самоотдачи, которая, в отсутствие рынка, востребованности, успеха и пр., только усиливала эту центростремительную составляющую концентрации и самоотдачи.

Кто знает, может быть, выйдя на поверхность, но не попади они в зону дичайшей десятилетней турбулентности страны со всеми ее устоями, которые жались в углу, чередуясь, как жены в гареме, этот творческий выброс мог бы стать не таким продолжительным и активным.

Общеизвестно, что жить в эпоху великих перемен и врагу не желай. Но есть и другое высказывание (Шкловского) — о художнике. Оно, это положение, по определению неуместно (не-у-местно) и несвоевременно. Он всегда не здесь и не теперь. Иначе он совпадал бы с очертаниями повседневности, то есть пошлости.

И уж поскольку мы пошли по заведомо ложному пути поиска какой-то общности, продолжим эту энергию заблуждения и попробуем что-то сказать о них, как если бы это был один художник, привязанный к мнимому дереву, один — в различных аватарах.

1.

Начнем с кажущегося отсутствия будущего в их работах. Его нет ни в поле зрения, ни в поле внутреннего переживания. Ни в одном из смыслов — ни в утопическом, ни в экзистенциальном, ни в религиозном, ни в каких-либо других. Просто нет. За исключением одного случая, но и там не сказать с определенностью о его присутствии, — и да, и нет, с поличным не ловится. Речь о Викторе Сидоренко.

Сидоренко разный, сложный, метафизичный. С минимизированной, по сравнению с другими, иронией к предмету внимания. Полагающий, видимо, что каким бы тотальным ни был кризис гуманитарной традиции, духовное усилие для честного проживания этой ситуации еще возможно. От попыток ее преодоления до «полной гибели, всерьез». Мыслящий драматизм его работ идет по нарастающей от античных мотивов,

рассматриваемых сквозь призму позднейших замутнений, через сумерки гармонии (Джотто) к антропологической катастрофе 20-го века, с выходом ее колоссальной энергии, в том числе, в искусстве.

Человек в зеркале энтропии, сознание перед лицом смысла. «Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени?». Кажется, многое должно роднить Сидоренко с таким художником, как, например, Питер Гринуэй.

В последние годы Сидоренко работает с фигурой человека («Левитация», «Отражение в неизвестном»). Фигурой человека в исподнем, с голым атлетическим торсом. Безымянной, вневременной. Фигурой героической, монументальной, взятой крупным планом в экстатичных «микеланджеловских» ракурсах и проекциях. Фигурой, как мнится, лишенной внутреннего содержания (мы, конечно, можем его произвольно вчитывать в нее, но фигуре этой, кажется, нет до него дела: она одновременно наделена всем и ничем, всеми смыслами и ни одним из них, всей полнотой суммарного человеческого опыта как символ, и в тоже время пустотна, обладая нулевой валентностью).

Это не человек, а его фигура, оболочка, упаковка. Это как бы его пафос, его земной и божественный промысел, зависший в мощном космическом ракурсе отрыва от — по направлению к. Ни «от» чего отрывается он, ни, тем более, «к» чему устремлен — остается неясным. Больше того: существуют ли эти координаты (и особенно, вторая)? Существуют ли они для него (человека), существуют ли они для стоящего за ним создателя (а так же и с заглавной буквы), и существуют ли они вообще? Возможно, речь идет об отрыве от настоящего в сторону будущего. Отрыв виден, но ни настоящего, ни будущего нет.

Так могла бы выглядеть и Вселенная в человеческой упаковке, некий Адам Кадмон, вдруг забывший — разбегаться ему или сжиматься, а Конструктор ушел. Есть гениальный материал в форме человека, есть безбрежное пространство и время — и оба пустынны, есть мощный ракурс отрыва, есть интенция выхода на орбиту, есть полет… и нет ни причины, ни цели, ни смысла.

Но и не так, чтобы нет совсем. Не явлены, не указаны. То есть, может, и есть, но где? Остается жест, движенье, экстатика, направляющие вопрос, поддерживающие жизнь. Между настоящим и будущим, на краю пафоса, на краю иронии, на краю возможностей смысла.

Если вспомнить Гоголя и те непрямые отсветы, ведущие от него к нашим дням, то можно сказать, что человек у Сидоренко это некий Костажонгло, человек-проект, зависший между архивом (прошлое) и утопией (будущее). Отчасти, в этой фигуре угадывается и сам автор, оттолкнувшийся от художника, от создателя, и летящий вперед и вдаль, как некий мессидж — неизвестно кому и куда, без адресата. Истинный дар, говорит Деррида, не должен иметь ни дарителя, ни получателя.

А кто, собственно, сказал, что в картине (или шире — в творчестве) должно присутствовать будущее? Никто. А если не присутствует, то что из этого следует? Ничего. А у Вермеера присутствует? А у Ван Гога? Интересный вопрос. Только прямой ответ на него вряд ли годен. Как и прямой взгляд. Вопреки расхожему представлению, прямой взгляд мало что видит. Вот и мы пробуем, якобы глядя на одно (дерево, веревку, будущее), увидеть другое.

2.

Неясно с будущим. Зато прошлого — хоть отбавляй. Прошлого в настоящем.

Арсен Савадов пишет монументальные полотна в духе бахтинского карнавала, где прошлое (по-преимуществу, советское, героическое) предстает в многофигурной (и многопредметной) фантасмагории, балансирующей на тонкой грани между безудержной иронией и торжественной серьезностью, восходящих к симфонии символа.

И все это гомерически пафосное, отъявленно нежное и пародийно театральное написано в чувственно-пастельных тонах, в залитом солнцем, пересвеченном колорите.

При таком беспощадном (как полдень в пустыне) световом режиме обычно надевают защитные очки, а в отсутствие оных щурят глаза, но, странным образом, этого не происходит. Почему?

Нет солнца. Нет дня. Ровный, блеклый, все заливающий свет. Как в театре. Или на том свете. А может, то и другое вместе. И от этого тихий, легкий, как дуновенье, ужас. Но светлый. Не страшный. Не здесь, не теперь, и не с нами.

Но даже не в этом дело.

Все это похоже на некий подмалевок, на который последовательными мазками должно наноситься слой за слоем то, что в результате совпадет с реальностью — внутренней или внешней.

Но этого нет. Нет того, что называется реальностью. Ни внутренней, ни внешней. Есть этот подмалевок к ней, к ним. Залитый равномерным светом. Засвеченный. Как групповой портрет обкуренных сновидений вселенского хутора постсоветского Выпердоса. Не без Гоголя, его хуторов. И не без легкого цинизма. Но и не без южного иммунитета к нему — темпераментного жизнелюбия. С размахом иронии между мифом и социумом, в этом травестийном зазоре, не оставляющем места т.н. реальности.

3.

Василий Цагалов по мироощущению и стилистике, кажется, близок к Савадову. Но это лишь на первый взгляд.

Вроде бы та же фантасмагория: хуторяне, сидящие за обеденным столом вперемеж с кислотными марсианами (или мутантами), летающие тарелки с гоголевскими пассажирами, лесбиянствующие балерины со станковыми пулеметами, кукурузные поля, летающие на утробном газе гармонисты и пр.

И вроде бы близкая техника письма, вернее, общее впечатление от нее: как бы обмелевшая, слегка обесцвеченная, в некой предрассветной дымке (или сквозь чуть припыленный фильтр) живопись. Мягкие, без резких переходов и стыков, цвета: синеватый, розоватый, глинисто-желтоватый. Именно так, никогда не «синий», «желтый»… Ощущение некоторой отстраненности — и в пространстве, и во времени, это где-то там, за пределом авторских амбиций, да и простой досягаемости. Хотя вот оно —

здесь, крупным планом. Несусветное, будничное, нелепое, красивое, циничное, нежное, бог знает где, и одновременно — вот, перед глазами.

И тот же эффект подмалевка — с пробелами, разбелами, лепестковой рябью «пустот», но участвующих в ткани изображения на равных правах с «действующим» цветом и линией. Как и в жизни. Вернее, в том взгляде на нее и отражении ее в творчестве, о котором писал Мандельштам, говоря о брюссельском кружеве, где «главное — то на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы». У Цаголова это «кружево» пребывает в некой (внутренней) дымке, когда воздух, пробелы сливаются с самим узором.

Зачастую монументальные, как и у Савадова, размеры картин, но наполнение, как правило, камерное, жанровое, сфокусированное на относительно привычном смысловом распределении «главного» и «второстепенного», с более традиционной композицией, в отличие от того же Савадова, активно вводящего обратную перспективу и элементы живописного коллажа.

Возвращаясь к Гоголю (который всегда впереди), можно вообразить, что такие картины провинциального будничного апокалипсиса с нежным гротеском и умной лирикой при совершенной сангвинической уравновешенности и мягкой серьезности авторского жеста могли бы быть созданы не без участия некого блуждающего духа Гоголя, по пути познакомившегося с Параджановым, например, или Кустурицей…

Вообще же, говорить о фантасмагории, абсурде, гротеске и пр. после падения Башен, войны в Персидском и всего последовавшего за этим, когда мнимо цельная реальность дрогнула и рассыпалась на множество разных, переплетенных, оспаривающих друг друга, спекулятивных, инсталлированных, самозваных, но этого не менее реальных, говорить об этом сегодня как о фантасмагории и абсурде было бы странно, уж куда честнее назвать это реализмом. Или метареализмом.

4.

Нос майора Ковалева сбежал в Одессу, обзавелся коляской, ездит по миру, пишет портреты. Те портреты, которые выходят из рам, склоняются над тобой спящим, смотрят — то на тебя, то на календарь, а там: мартобря 86 числа, между днем и ночью.

А где Родина? А нет ее. И Бога нет, вышел весь. А Луну делают на Привозе. Но и ее нет. Ничего нет. И никого. Потому так много всего, такое разнообразие. И Озирис идет по царству мертвых, ищет свою душу, разбросанную там, зовет ее: «Я, душа, Озирис!». Такой вот постмодернизм. С элементами сюрреализма и прочих измов. Всех, пожалуй, — чего уж там.

Усталость. И от них тоже, по отдельности и вместе взятых.

Анекдотизм, хоть имя дико. Когда история кончилась, не то чтобы отошла, но и ни движеньем это уже не назовешь, ни жестом, ни лицом. Маски, гримасы зеркала, вглядывания, подмиги. Даже боль ощущается как цитата.

Но и анекдот как образ должен быть исполнен изящества и катарсиса. И не без высокого ремесла, которое знал ренессанс. Потому что «поэзия — не прихоть полубога, а точный глазомер простого столяра». Несмотря на усталость — памяти, мира, верней, того, что от него осталось. Этой гуманитарной изношенности, называемой человек.

И Нос пишет. Пишет Портреты. Голова Гоголя на блюде, и два ангела по сторонам. Или петухи, топчущие космонавта в открытом космосе. Или субтильно древесный гермафродит Пушкин. То черный, то красный фон. Или плотный театральный задник. Звериные головы на человечьих плечах. Качественное письмо, хорошая добротная вязка. Никакого цинизма. Да, говорит Босх, никакого. И Шемякин тоже так не считает — маски как маски, бытовое инферно. Даже Кафка кивает. Хотя и не ясно чему.

Ноль это не то что вы думаете, говоря «ноль», — подсказывает Хармс. Как и нос — не просто нос, — говорим мы, ученые уж. По одной из новейших научных теорий, человек и произошел от носа. Точнее, от маленького органа в межноздревой перемычке, отвечающего за половое обоняние. И мозг человека — не что иное как эволюция и разрастание этого удоноса. Длинного, изощренного, связующего одно с другим. Изводящего одно другим. Гоголь это предчувствовал. Носы живут на луне, и потому она такой нежный шар, что только носы там и могут жить, а земля страшна для носов, перемалывает их в муку. Но и луну ведь делает хромой бочар, живущий на углу Дерибасовской и Франкенштейна, и прескверно делает — вонь страшная.

А где же, спрашивает Ройтбурда русский художник Тропинин, современник Гоголя, Красота? Где светлые чувства, где жизнь, наконец, дай ответ! А воздух где, добавляет Вермеер, а таинство светотени? Молчит Ройдбурд, нет ответа. Тому виднее, у кого нос длиннее, а Гоголь видел ноздрями, подсказывает Набоков. Что же он видит, чует во все концы света? Пошлость, — договаривает Набоков, — одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога.

Удонос, хомо баналес, распространение повсеместное. Глумливая галерея кривозеркалья с истрепанными истуканами б/у гениев и кумиров. Вот они все — в меловом круге, в лимбе, в мире, низведенном до его перистальтики. Со спущенными штанами пафоса. В интерьере советских местечковых фотосалонов. А Ройтбурда нет, за тыквой вышел — чуть перезрелой, в самом соку, как женщины Ренуара — для натюрморта.

5.

А вот нетипичный Гоголь — Тистол.

Но что значит «нетипичный»? Не из школьной программы? Нет, по-другому.

Гоголь странного отрывка «Рим», Гоголь «Размышлений о Божественной литургии», Гоголь-этнограф, собиравшийся писать историю Украины, Гоголь выписок, черновиков, писем, карт и маршрутов.

Мы, похоже, давно уже находимся в ситуации некого поствремени, когда (в искусстве, и шире — в культуре) не то чтобы все сказано и ничего принципиально нового появиться не может, но все больше становится значимой археология знаний, разного рода творческие ретроспекции, процессы архивирования, траектории превращений, палимпсесты событий и подоплек, пчелиная одиссея между пыльцой и медом.

Олег Тистол многие годы как раз и занят подобными изысканиями (проект «Пальмы», или перед тем — «Украинские деньги»), в которых интеллектуальная и витальная составляющие, как левая и правая рука, исполняют довольно замысловатый танец, в результате создавая некую художественную эпистему с последующим вовлечением

в нее якобы случайного, попутного декора в виде граффити, квитанций, надписей, автографов со стороны и пр., как бы сиюминутного, на манер розановских «Опавших листьев». Здесь и призраки мифов, и работа с клише, и концептуальный прищур, и барочная избыточность, и частная авантюра исследователя.

Как и свойственно исследованиям, у проектов Тистола долгое экспедиционное дыхание, десять и более лет работы над каждым. На холстах, на бумаге, в смешанной технике. Порой напоминая эскизы к бумажной архитектуре, черновики утопий, выкладки Леонардо. Таковы бумажные многометровые свитки из проекта «ЮБК» (Пальмы). Эти крымские репатриантки надолго заняли «пчелиный» инстинкт Тистола. Пальмы, эти древесные камикадзе, расходящиеся конусом к небу, пока не свалятся, как подкошенные, не в силах удерживать собственный вес и рост, эту тягу вверх. Пальмы и их антиподы — пирамиды.

Но Тистола, похоже, волнует не это. Что же? Вопрос непростой. Из гоголевских.

6.

«Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце!»

Вряд ли то, что делает Александр Клименко, можно отнести в чистом виде к модернисткой или постмодернисткой традиции, скорее, это находится в подвижном состоянии на границе того и другого. Между любовно игровым «петингом» постмодерна и волюнтаристской страстью к зачатью новой жизни.

Говорят, нельзя быть «немножко беременной». В искусстве, похоже, это возможно. В положении кажущейся завершенности путей искусства и в то же время невозможности согласия с этим — просто естественной человеческой невозможности творческого примирения с этой точкой.

Клименко пишет «Коллекцию путешествий». То есть архивируется нечто по своей сути архивированию не поддающееся или по крайней мере противящееся. Как коллекция бабочек. Она все еще бабочка — минус жизнь, минус полет. Она на иголке. Путешествие на холсте — оно все еще путешествие, минус что? Минус автор, наверное, — на иголке.

А еще? Если вглядеться в холсты: минус земля. Ее нет. Нет черного, нет коричневого, нет тяжести, нет опоры, нет взгляда вниз. Есть стихии воздуха и воды. И стихия огня, их связующая. Есть радуга, точнее — ее мистерии, фракталы, фрагменты, разрывы, ее «другая» жизнь — до того, как она становится радугой, или после — череда ее перерождений, трансформаций, распада и собираний себя в новых оптических средах.

Ранние работы Александра Клименко тяготели к стихиям Земли и Воды. Глинисто синеватые среды, демиургические бульоны, в которых, как инфузории под микроскопом, плавали и стыли простейшие знаки культуры, ее клеточный бактериальный состав, вступая в спонтанные ассоциативные связи, затевая игры символического обмена, оставляя следы. Живой мусорок культуры в природных владениях. «Здесь был Вася, дух святой».

Наводя на предмет резкость, мы теряем его из виду. Поскольку теряем из виду его контекст. Начало путешествия Александра Клименко — Киев 80-х, невербальное тактильное пространство, берлога метафизических интуиций, царство быстрого сна

с подрагивающими веками. Восходящие потоки здесь путаются с испарениями, создавая оптические обманы, чудесные грозы, кривозеркальные преломления.

Есть такая сказка про Дикого Кура. Идет человек, а перед ним Дикий Кур вертится, пританцовывая: «Куд-куда, куд-куда!» И все дальше уводит его в лес, в ночь. Вдруг замирает путник: «Где ж дорога?» — «А нет ее», — подмигивает Кур. — «А что ж есть?» — «Ничего» — шепчет Кур. — «Где ж мы стоим?» — «В нигде», — отвечает Кур. Бездна со всех сторон.

Можно и радугу нарисовать над этой бездной — радугу из танца этого Кура, из коллекции его путешествий. Или гоголевское колесо, взметнувшееся лестницей за миг до смерти. И тень от нее, кажущуюся землей или жизнью.

…

Человек, говорит Кафка, имеет природу взлетающей пыли. Которая складывается, порой, в дерево, веревку, художников, этот текст, написанный мирным летом 2013, когда, казалось, еще ничто не предвещало ближайших событий.

Но мало ли что нам кажется, тем более, при взгляде на время. Смотрим ведь не только мы на него, но и оно на нас, и его взгляд — последний.

Кафка. Егерь Гракх

Два мальчика сидели на стенке набережной и играли в кости. На ступенях памятника, в тени размахивавшего саблей героя, какой-то мужчина читал газету. Девочка у фонтана наполняла водой маленькую кадушку. Торговец фруктами лежал подле своего товара и смотрел на море.

Странно. Пишет поворотами головы. Техника кинематографа. Ни слова о цвете. Но откуда этот… нет, не монохром, но дейнековский, что ли, колорит? И потом: понятно, что мужчина сидит под памятником героя с саблей. Но понимание это чуть запаздывает: стоит некий памятник, рядом с ним некто размахивает саблей, и в пляшущей тени этой сабли сидит мужчина и читает газету. Смутное ощущение от этих четырех фраз, что люди и предметы не то чтобы поменялись ролями, но находятся в неком процессе обмена: море лежит и смотрит на торговца фруктами; кадушка наполняется девочкой-водой; памятник, заслонившись саблей от солнца, читает мужчину с газетой; стена меж водой и сушей играет мальчиками в кости. Не то чтобы так, но какой-то сдвиг нарастает. И скорее, в воздухе между строк. Как в затишье с осевшим светом перед дождем.

Какая-то барка, словно перенесенная по-над водой, тихонько покачивалась… На носилках, очевидно, лежал человек.

Что происходит? Очевидно, мог бы лежать и не человек. А кто? Если бы одним из евангелистов был Кафка, какое евангелие было бы перед нами? Так называемое сверхъестественное у него, находясь перед глазами, в центре кадра, никогда не в центре внимания. Не вынесено за рамку и не в размыве, оно — вот, в центре, и его нет. А что есть? Обстоятельства, церебральные нити, видимо, исходящие от этого центра. Видна

траектория жертвы, виден узор паутины, видны места разрывов и линии натяжения между жертвой и жертвенником. Бог очевиден, потому и незрим. Так, если смотришь на росчерки ласточки в небе, неба не видишь. Чудо — всегда здесь, оно открыто зрению, но — во второй экспозиции. Которая, если оттуда глядеть, — первая. Он оттуда и смотрит, а пишет отсюда.

Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.

— Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана, какое-то притяжение моей дивной родины — не знаю, что это было, знаю только, что я остался на земле и что мой челн с тех пор плавает по земным водам…

Спишь на моем плече. Вздрагиваешь, постанываешь. Глаза полуоткрыты — туда, в пески. Якорь. Большой корабельный якорь они несут. Черный, с красными рогами. Втаскивают в автобус. Не входит. Разбирают полкабины. Заносят с хвоста. Шофер сидит теперь без лобового стекла, между рогами якоря. Веретено и хвост лежат в салоне между рядами. Трогаемся.

— И вы никак не связаны с потусторонним миром? — спросил, наморщив лоб, бургомистр.

— Я, — ответил егерь, — все время нахожусь на гигантской лестнице, которая ведет наверх. Я болтаюсь на этой бесконечно широкой наружной лестнице, оказываясь то выше, то ниже, то правее, то левее, и все время нахожусь в движении. Был егерь, а стал какой-то мотылек. Не смейтесь.

— Я не смеюсь, — возразил бургомистр.

Сальваторе, говорит она ему среди ночи, посмотри-ка на этого голубя в окне. Это при виде светлоокрашенного, едва ли не светящегося живого создания размером с петуха… Представить себе этот речевой период в устах очнувшейся ото сна жены бургомистра без некоторых размышлений не удается. Каких же? Сальваторе переводится как спаситель. Он наместник Ривы (Рима?). В доме, куда зовет его голубь, лежит Некто. Лежит в челне, кочующем меж этим светом и тем. Ни там, ни здесь. Будто что-то заклинивает в цепи времен, этот защем с воспалением нерва. Не тот и не тот. Не спаситель и не бургомистр. Не Лазарь, не егерь. Не голубь и не петух. Гракх — птичий царь.

— Я все время нахожусь в движении, — сказал егерь. — Но когда достигаю максимальной высоты и уже вижу сияние верхних врат, я просыпаюсь на моем старом челне, безнадежно застрявшем в каких-нибудь земных водах. Стучит Юлия, жена шкипера, входит и ставит к моим носилкам утренний напиток той страны, мимо которой мы в это время проплываем. Через люк в боковой стенке проникает теплый воздух южной ночи, и я слышу, как вода бьет о старую барку.

Так я и лежу с тех пор, как я, еще живой егерь Гракх, дома, в Шварцвальде, погнался за серной и сорвался. Все шло как положено. Я погнался, сорвался, истек кровью в каком-то ущелье, был мертв, и эта барка должна была перевезти меня на ту сторону.

Странная вещь, но в этого егеря веришь больше, чем в того, который бы сорвался в ущелье, истек кровью, и барка его отвезла на ту сторону. Да, несколько сверхъестественно, но бывает и так: неверный поворот руля, миг невнимательности

капитана, какое-то притяжение дивной родины… Конечно. Именно так и бывает. Труднее поверить, что истекают кровью или просто изнашиваются, как обувь.

— Я с удовольствием жил и с удовольствием умер; я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт, грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье — и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Я лежал вот так и ждал. И тут случилось это несчастье.

— Ужасная судьба, — сказал бургомистр, подняв руку для защиты. — И в этом нет никакой вашей вины?

— Никакой, — сказал егерь, — я был егерем — какая же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим егерем Шварцвальда». Какая тут вина?

Какая тут вина, — спрашивает Иов, Адам, Вечный Жид, Люцифер, Каин, — сидел в засаде, стрелял, сдирал шкуру. На мою работу снизошла высшая милость. А теперь болтаться на этой широкой, как море, лестнице — то выше, то ниже, то влево, то вправо, и биться этой мотыльковой баркой о свет — то тот, то этот…

— Я здесь не компетентен, — сказал бургомистр, — однако и я не вижу в этом никакой вины. Но кто же тогда виноват?

— Капитан, — сказал егерь. — Никто не прочтет то, что я здесь напишу, никто не придет, чтобы мне помочь. Вот уже не одну сотню лет мой челн — без руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти.

Сидит в крохотном картонном домике, таком, что не разогнуться. А в окне, если прильнуть к нему глазом, — Замок. Сидит за столом, смотрит в зеркало, закрывает ладонью то правую часть лица, то левую, то губы, то нос. Странно, эти части не складываются в лицо, они от разных, незнакомых друг другу людей. Эти островерхие уши вообще не из этой местности, не людские. И нос — чувственный, сильный, прямой, не от этих губ с тонкой тропинкой детства. И глаза, как из застенков лица глядят, узники. Не из этой жизни. И тугая стриженая шапочка волос над открытым лбом, не из этой. Галстук, сюртук с нарукавниками, тишь в зеркале. Пять утра. Скоро идти в страховую контору. Окунает перо в чернильницу, пишет: Китайская стена. Задумывается. Встает, делает два шага от стены до стены, пригнувшись. Садится, пишет: Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Откладывает страницу. Пишет на следующей: то есть сначала стена, а потом башня. Смотрит в зеркало, отворачивает его. Рисует дугу в треть круга, замыкает ее пунктиром, доращивает над фундаментом стены башню, пишет: мы, китайцы… Откладывает лист. Часы на башне бьют половину. Дописывает на обороте: ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и самих себя. Встает, задувает лучину, пригнувшись выходит, поправляя галстук на тонком горле.

Притворился слепым, и жизнь начала как-то складываться. Всякое самопознание, которое не может молчать, делает человека все меньше. Роль важна, а не ты. Это как вывалиться на сцену из-за кулисы. Кто такой? Нет в списке действующих лиц. Не считывается. Стал слепым, вошел в роль, начало налаживаться. Стал Гантенбайном, Измаилом, Гракхом.

Стал шкипером, Юлией. Стал на ноги. Чуть присев. И все, что еще связывает с людьми, как он говорит, — биологическое родство. А может ли ролью стать «я» человека, его самость? Покачивает. Между кем и кем?

Я, говорит, с удовольствием жил и с удовольствием умер. Скинул с себя одежду перед тем, как взойти на борт, и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Лежал и ждал. Какая же тут вина.

Вы мертвы? — Как видите, — говорит егерь. — Но в то же время вы и живы? — В какой-то мере…

Миг невнимательности, притяжение дивной родины, легкий поворот руля — вот оно, наше всё. И кроме него — ничего нет.

Есть два главных человеческих греха, пишет он в другом месте, из которых вытекают все прочие — нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются.

Так егерь он был или охотник? Все же есть разница. В одних переводах — егерь, в других — охотник. Jäger — и то, и то другое. Нас бы всех посмотреть в подлиннике. И то, и другое.

Слова, которые раскладываем, как карты таро. Те же карты, на тех же местах, как и лежали. Только теперь они перевернуты: те, что вниз головой, — вверх, те, что вверх, — вниз. И читается все по-другому теперь: вся жизнь. Как же они передернулись? Или мы, не заметив, оказались с другой стороны, будто стол обошли и глядим оттуда?

А егерь откуда смотрел? Все шло хорошо, делал свою работу, люди его ценили, продвигался по службе, достиг всего, что было возможно. И сорвался в ущелье, отправился к мертвым. Но тут, на переправе, произошел какой-то сбой, и он завис между берегами — ни мертв, ни жив. Он вспоминает свою жизнь и не находит в ней ничего, что могло бы привести к такому исходу. В чем же дело? Чья тут вина? В своей жизни он ее не видит. И не думает, что здесь вина перевозчика. Он полагает, что это — случай, неожиданное отклонение некой магнитной стрелки над переправой. Притяжение, он говорит, какой-то дивной родины, легкий поворот руля, миг невнимательности Капитана.

То, что такой сбой время от времени может случаться, похоже, не вызывает у него особого удивления. Мучит другое: почему именно с ним это произошло? А если беспричинно, просто рулетка случая остановилась на нем, тогда вопрос не менее трудный: что его ждет, изменится ли его положение когда-либо, и с чьей помощью, если, как он уверен, никто не в силах ему помочь.

Он с радостью принял смерть, он скользнул в нее, говорит, как невеста в подвенечное платье. Скользнул, как простодушный христианин. Тут-то все и случилось. Не по его вине. Так он думает. Иначе — где она? Где она, а где он. Он находится между, ровно посередине: ни жив, ни мертв. При этом, хотя шансы равны, у него нет упований на возвращение в жизнь.

Он хотел бы прекращения этой муки, завершения жеста, хотел бы, если только возможно, но именно это и безответно, — смерти. Которая, может быть, не придет к нему никогда. И отсюда вся мера отчаянья — от неразрешимости этой муки, ее бесконечности и бессмысленности. Поставленных под вопрос. Вот что он упускает из виду. Он не

богооставлен. Или, допустим, не Богом, а Провидением или неким, как он говорит, Капитаном. Его путь находится в поле зрения, больше того — постоянно прокладывается, имеет развитие. Челн плывет, и то и дело что-то происходит в пути. И если смысл происходящего не считывается егерем, это не значит, что его нет. Или он что-то недоговаривает? Отводя взгляд от очевидного. Почему?

Голубь сообщает бургомистру Ривы о прибытии барки с мертвым егерем, просит, чтобы он его встретил. (Голубь, заметим, — в той традиции, к которой принадлежат оба, — Дух святой, символ Благой вести, или просто — вестник жизни. Допустим, в этой истории его роль другая. И все же.) Значит, барка не без руля, она управляема. Тем, кто стоит за вестником, кто прокладывает путь, заранее намечая предстоящие события. Как, например, эту встречу с бургомистром. В такой-то день и час, в Риве, на берегу озера, в желтом доме, на втором этаже. И шкипер причаливает в указанном месте в назначенный час. А Юлия кормит голубей, которые слетаются на корму барки и возвращаются на площадь перед домом, куда только что внесли егеря. И все это лишено преднамеренного смысла? Не может егерь не видеть этого явного противоречия.

Дальше. Почему бургомистр без колебаний идет на встречу? Во имя города, как сказал голубь. Почему она происходит наедине? Зачем высокий чиновник выслушивает историю егеря? И зачем егерь рассказывает ее именно ему? И потом, при их социальном неравенстве, разговор ведется на равных, даже с перевесом егеря. Перевесом случившегося с ним?

Но все это вторые вопросы. Первые — сколько бы ни стараться представить происходящее бессмысленным, уже сам факт этих встреч, сказанного и услышанного не может не образовывать смысл и не влиять на дальнейшие события.

В чем же этот смысл? При том, что, судя по всему, встреча эта не только не случайна, но и не единична.

Когда бургомистр рассказывает о голубе, егерь ему отвечает, что, мол, да, обычно голуби возвещают о его прибытии. То есть речь идет о привычном, едва ли не будничном деле. И эта встреча в Риве — не первая и, вероятно, не последняя в их череде. Ни частота, ни география этих встреч нам не ясна. Возможно, за сотни лет (даже если допустить, что это субъективное, а не календарное время) география их уже настолько широка, что покрывает большую часть земли. Вероятно так же, что встречи эти не похожи одна на другую. Хотя бы уже потому, что меняется место, время и собеседник. Кто выбирает их, кто намечает эту траекторию, нанизывает на нее эти встречи, кто собирает смысл? Барка движется, причаливает, происходят последовательные, относительно ожидаемые или, возможно, совсем неожиданные события, движется дальше — до следующей остановки. Странно, но все это не в поле зрения егеря.

Внимание его отвлечено другим: произошла неизъяснимая ошибка или описка — в слове, в слоге, которым была его жизнь. Некая Рука над ним в решающий миг почему-то дрогнула, отвлеклась. Вот что он думает, куда вглядывается. В меньшей степени — почему это случилось именно с ним. И совсем в малой — как с этим быть.

Похоже, он смирился со своим положением. Во всяком случае, ни ропота, ни каких-то попыток что-то понять, изменить. Похоже, он не верит в саму возможность каких-либо изменений. С чьей бы то ни было стороны.

Со временем его положение достигло даже, как это ни странно звучит, определенной стабильности. Барка, Юлия, шкипер, движение, остановка, носилки, встреча, возвращение, барка… Никто не придет, говорит, чтобы мне помочь. Сама мысль об этом — болезнь. Я это знаю и потому не кричу, не зову на помощь. Хотя в иные минуты — к примеру, как раз теперь: характер-то у меня необузданный — крепко об этом думаю. Но вовремя одергиваю себя: достаточно оглядеться и вспомнить, где я.

Так он говорит бургомистру. Но есть пару моментов, которые вызывают сомнение.

Необузданность характера. Где, в чем? Она совершенно не проявлена в их разговоре. Напротив: на всем протяжении — логически ясная, интонационно ровная, спокойная речь. Крепко думает, как например, в эту минуту? Не видно. Здесь не мышление, а готовые, давно отстоявшиеся, его результаты. Не зову на помощь, потому что сама попытка ее — безумие? И далее апеллирует к здравому смыслу: мол, никто ведь не знает, где я, а нашли бы, так не знали б, как помочь. Странно звучит. Как любая логическая мотивация при отказе от попытки спасения в его случае.

Или речь идет не о крайнем отчаянье? Была ли ему известна история Иова? Наверное. Молится ли он, уповает ли? Нет, похоже. Претерпевает? Да. Но что-то еще. О чем-то он не договаривает, такое чувство. Может, это приоткрывалось в других встречах? Нет ответа.

А что происходит с теми, с кем он встречался, — где они, сколько их? Десятки? Тысячи? Возможно. Связаны ли они между собой? И что означает их связь, к чему ведет? Или уже привела? Помнит ли их егерь? Судя по адекватности его сознания и памяти, — да. Все эти люди — в нем.

Никто не прочтет, говорит, что я напишу.

И на протяжение жизни не раз возвращается к этому рассказу, и так и оставляет его неоконченным.

А может и Ему ответ неведом

Три древнеиндийские записи о сотворении мира

Уже довольно давно, в свое первое путешествие в Индию, я взял с собой небольшую книжку упанишад в переводе Уильяма Батлера Йейтса, сделанном совместно с индийским монахом и поэтом Шри Пурохитом Свами. Поначалу я открывал эту книгу наугад, например, на строчке «Жизнь простерта от Творца, как тень от человека», и переводил взгляд в окно поезда, за которым медленно выкатывалось светило, и казалось, что текст забегает вперед, а дни творенья всё еще длятся. Так вот, потом, когда стал читать уже внимательно и последовательно, я помню, что особое впечатление на меня произвела Айтарейя-упанишада, описывающая сотворение мира. Вернее, одно из описаний, поскольку даже в основополагающих древнеиндийских текстах можно насчитать десятки, а то и более явно разнящихся между собой сценариев начала мира.

В том тексте первичным импульсом в еще недвижном «нигде» и «никогда» была мысль Самости (Self): «Не создать ли мне территории?» И создает стихии. И задумывается: «Позволь Мне сотворить для них правила». Далее идет подробное описание

космогонического процесса, работа с формами и образами, начинающаяся с делегирования Им тепла и рождения губ, от которых возникает речь, порождающая огонь.

Примечательно, что процесс творения, близясь к завершению, входит там в новую фазу: возникает обратная связь с «произведением», вступающим с Ним в диалог: «И они обратились к Нему: дай нам место, где мы могли бы существовать». Но не с первой попытки Он находит адекватные решения. «Нет, это неубедительно», — говорят они Ему до тех пор, пока наконец сами, а не Он, не сказали: «Хорошо!». Но смогут ли они жить без меня, задумывается Создатель о балансе сил созидания и саморазрушения в сотворенном. И вскрывает темя, и входит в сотворенное через Воротца Радости, с удивлением замечая, что кроме него там никого нет. С тех пор Он известен под именем Идандра — Тот, который видит. То есть Индра.

Я вспомнил об этом балансе, когда недавно смотрел фильм о самовосстановлении клеток, о ДНК, о том, что, согласно нынешней науке, каждую долю секунды в нас (и во всем живом) происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только изощренными усилиями клеточного же «спецназа» клетка чинится, возвращаясь к жизни. И в следующую долю секунды происходит следующий слом. То есть, выходит, естественное состояние органики — не быть. Если бы этот баланс не был бы уточнен через «Воротца Радости».

Любопытно, что в другом месте (Чхандогья-упанишада) Индра с поленом в руке (то есть в виде ученика) приходит к мудрецу Праджапати, рожденному из Золотого Яйца и породившему мир своим семенем, Праджапати, которого часто отождествляют с Брахманом, Брахмой, творцом. Приходит он к нему за ответом на главный вопрос: что есть атман и как его познать? И Праджапати школит его на дзенский манер, всякий раз провоцируя полуответом, с которым Индра уходит и с полдороги возвращается — вновь на 32 года ученичества. И так длится 101 год.

На эту историю можно взглянуть и в таком ракурсе: создав мир, Творец входит в творение, становясь в нем Индрой, который затем приходит к Творцу с вопросом о своей основе, по сути о том, кто он есть. В этом ракурсе есть некоторая натяжка, но в то же время и вся индийская космогония сродни такому бескрайнему баньяну, где уже непросто понять, где ветви, где ствол и что во что переходит, но дышит, где хочет. И в этом смысле различия сценариев сотворения мира не вступают у них в очевидные противоречия, скорее, речь идет о разыгрывании одного и того же на разных уровнях понимания и языка (обращенности).

И, чтобы замкнуть (разомкнуть) круг, добавим, что этот же Индра, как не раз упомянуто в Ведах, и есть создатель мира. И сотворил он его с голоса. Индра, создавший сам себя, отец всех богов, но одновременно и сын их, Музыка мироздания.

То есть в начале мира был Звук, спанда, звуковая вибрация. В другом месте Ригведы говорится, что в начале была Веревка и ее Натяжение. Что невольно наводит на ассоциацию с теорией струн. В третьем — что, возможно, и Господь не ведает, как всё это произошло.

Возвращаясь к Брахме, одному из Троицы, Несуществующему и Существующему, Творцу Вселенной, который она и есть. Не удивительно ли, что именно ему почти нет храмов, культ его, в сравнении с почитанием Шивы, Вишну и даже куда менее значимых фигур, крайне непопулярен. Вразумительных объяснений этому нет, есть байки, задним числом пытающиеся прикрыть этот дивный парадокс. Хотя это не мешает индусам давать имя своему ребенку — Брахма. Но чаще все же — Шива или Ганеш. Так, в одной какой-

нибудь деревенской школе все они вместе и могут находиться — рядом с Лакшми и Сарасвати.

Но, кажется, пора перейти к тому, ради чего я начал. Вот два текста о сотворении мира. Первый — Вишну-пурана, вернее, нескольких фрагментов из нее. Второй — из Ригведы, десятая мандала, одна из основополагающих. И то и другое — в моем переводе, точнее — переложении, или можно назвать это своего рода опытом чтения, довольно свободным, но тем не менее по возможности близким к источнику. То есть перевод не буквальный. В этом смысле корпусу индуистских священных текстов с переводами на русский достаточно повезло, у нас немало прекрасных академических работ с обширными комментариями. Но читать их неспециалисту немалый труд. Не говоря о поэтическом измерении, которое в большинстве первоисточников определяющее, а в переводах дух его зачастую уступает букве. Но мир этих книг создан с голоса, музыки, в которой бог. Устный, не письменный. Не случайно письменный санскрит, доведенный до филигранного уровня (нормативная грамматика Панини, созданная в середине первого тысячелетия до н. э., во многом предвосхитила достижения современной лингвистики), на протяжении еще многих веков пребывал не у дел, — устная традиция покрывала всё поле жизни. Сложнейший и совершенный язык (48 звуков, 8 времен, 22 формы глагола и несколько сотен отглагольных, например), целиком подготовленный к письменности, был отложен в сторону. Это как если бы, изобретя электричество, не пользоваться им, а еще веками жить ясным днем и при свечах. Или космический корабль, прозябающий в амбаре на заднем дворе. А летать на звуке, на речи, в основе которой, как и жизни, — дыхание. Как сказано в упанишадах: «Дыхание, разлитое по телу, — это речь. Потому речь произносят, не вдыхая и не выдыхая».

И не будем забывать, что эти тексты не просто пелись (как правило, ансамблевое многоголосье), но составляли сложный религиозно-магический ритуал, основы которого были описаны еще в Самаведе, 2 тыс. до н. э. Исполнялись они под музыку, и чтобы представить себе меру сложности этой составляющей, достаточно сказать, что, в отличие от нашей 12-тоновой октавы, у них — 22 тона, с четвертьтонами и неравными промежутками между ними, что для нашего слуха звучит несколько «разбалансированно». Мелодическая тема интонационно развивалась по принципу джазовой импровизации.

И напоследок, перед чтением. «Если шудра будет намеренно прислушиваться к чтению вед, его уши следует залить расплавленным свинцом. Если же декламирует ведийские гимны, ему следует вырезать язык. Если он запоминает их, его тело следует рассечь надвое». (Утешимся, не всё так однозначно. Около половины причисленных к святым, в том числе повсеместно почитаемых поэтов в Индии по происхождению — шудры.)

Вишну-пурана

II. 5–18

Парашара сказал:

слава золотому зародышу,

началу мира и его концу.

И поклонился опоре Вселенной —

ничтожнейшему Пуруше,

который повсюду, куда ни глянь:

вот его игрище, этого разного мальчика,
но сам он не здесь,
а там — нет у него примет.
Невыразим, незапятнан
ни формой, ни содержаньем, —
таков уговор (стиль).

II. 23–65

Вначале были трое как одно:
Дух, Брахма и Ничто
сокрытое. Но стало явным,
Дух вышел,
обернулся Брахмой:
мир возник.

Развертка Брахмы
как Ничто –
в основе мира.
Триединство:
благость, страсть и косность.
Потом самосознанье
приходит в чувства.

Они,
поскольку помнят о творенье,
рождают звук,
пространство создающий.

Пространство,
помня о творенье,
рождает осязанье;
так возникает воздух.

Воздух
рождает образ.

Затем — вода и вкус.
Последним — запах,
он — вершина чувств.

Яйцо творенья,
растущее кругами по воде.
Внутри — гора, вокруг — огонь.
В нем — страсть, ведома Брахмой,
творит миры.

Создатель,
круг пройдя,
себя сжигает с миром.
И начинает с чистого листа.

IV. 3–36

Очнулся Брахма: мир во тьме и пуст,
Земля водой сокрыта. Поразмыслив,
решил ее извлечь. И, обернувшись вепрем,
вошел, раздвинул воды.

Земля склонилась
к ногам его:
«Возьми меня, мой бог,
как прежде брал…»

И он поднял ее из вод,
могучий вепрь,

и, просыхая,
шкура
на нем мерцала письменами Вед.

V. 3–17

В начале
(но где, когда?)
сосредоточился
и тьму создал кромешную.
И взгляд отвел.

И вновь сосредоточился
и сотворил животных –
«канал горизонтальный».
Высокомерны,
они ходили, не говоря друг с другом,
и в каждом было двадцать восемь
несовершенств.
Прикрыл глаза.

Сосредоточился –
и сотворил богов
счастливых, светлых, «внешний
канал». И улыбнулся,
взгляд отвел.

И вновь сосредоточился
и вертикальный создал канал.
Вот совершенство. Люди.
Страсть и косность.

Что хочешь ты еще услышать?

VII. 1–42

А еще сотворил он «познавших поле»,
это я уже говорил.
А еще — наделенных разумом,
но они –
небожители — не размножались;
ни страстей, ни зависти,
ни творческого порыва.
Сдвинул брови:
в гирлянде огня
Рудра возник.
И сказал ему Брахма:
«Раздвоись
на женщину и мужчину»,
и скрыл себя.
Раздвоил, как сказано,
и еще на одиннадцать разделил
мужчину,
а женщину — не сосчитать.
Существуют четыре гибели:
промежуточная,
преходящая,
абсолютная
и непрестанная.

VIII. 33, 17

Что говорить.
Во всем, что ни возьми на свете,
есть лишь она и он.
И, кроме них, ничто не ново.

Он — смысл слова,

а она — звучанье.

РИГВЕДА

Мандала X, 129

Не бытия и не небытия.

Ни воздуха, ни неба за пределом.

Что двигалось туда-сюда? Под чьим покровом?

Что за вода была — бездонна, глубока?

Ни смерти не было, ни вечности.

Ни признака ни дня, ни ночи.

Одно дышало, воздух не колебля, — Нечто,

само себе закон. Одно, и ничего вокруг.

Вначале — мрак, и мраком был сокрыт.

Пучина, непроглядь — и всё.

То, что стремилось к жизни жаром

желания, рождалось в пустоте.

Желанье на Него нашло,

как первой мысли семя.

Происхождение сущего — в не-сущем,

сказал мудрец, увидев сердцем.

Струна была натянута в начале.

Но был ли низ там? Был ли верх?

Лишь Нечто. Натяжение. И семя.

Порыв внизу. Приятие вверху.

Кто знает истину, кто скажет?

Откуда мир возник и где исток творенья?

Мир сотворил богов — собой.

А сам возник откуда?

И как возникнуть мог –

был создан или нет?

И кто следит за ним? Кто знает –

Он? А может, и Ему ответ неведом.

Семь ночей тейяма

С чего же начать, как говорил Саша Соколов. С второстепенного, с гардероба? От которого онемел бы самый изысканно дерзкий кутюрье, а наряды театра но или кабуки выглядели бы рядом едва ли не как школьная униформа? При том что весь этот многоярусный космос красоты изготавливается простыми крестьянами низшей касты в глубинке Индии на протяжении тысячелетий и никогда не показывается за пределами деревенской округи небольшого городка.

Или так. Вообразите, что в наши дни где-то в глубинке Греции продолжает идти античная драма, и именно в том аутентичном виде, какой была изначально. Или то же самое представьте в отношении элевсинских таинств. И добавьте сюда, что мы не только об этом не догадываемся, но и что они когда-то существовали имеем весьма туманные представления.

По своему, примерно так обстоит дело с тейямом — праиндуистским языческим обрядом, необычайной магической красоты и силы, который не прекращался на протяжении всей этой тьмы веков, да и сейчас его любой может увидеть — достаточно приехать в индийский штат Керала и добраться до городка Каннур, в окрестностях которого в зимние месяцы и происходит эта фантастическая мистерия.

Поразительно, но никаких внятных сведений о тейяме до сих пор нет. Во всяком случае, все, что мне удалось найти в англоязычном поле информации, можно уложить в пол страницы. У нас — почти ничего. Возможно, на языках Индии и, прежде всего, на керальском малаялам, есть вероятность приоткрыть эту завесу. Но я не очень удивлюсь, если и там мы найдем не многим больше. И один из ответов на этот парадокс: Индия — все тот же полный чудес мир, который и в наши дни продолжает быть лишь чуть приоткрытым (для нас, для западного мышления с его представлением о ценностях, историографии и пр., а для индийца это просто воздух, которым дышат, а если и

«анализируют», то совсем на другой лад). И ошеломляющие открытия здесь все так же возможны на каждом шагу, как у нас в время оно. Даже на моей памяти было достаточно случаев. Например, когда деревенские змееловы показали на утесе за хутором обнаруженные ими наскальные рисунки 5-тысячелетней давности. И там же соединили меня по мобильному с профессором Бомбейского университета, который подтвердил: да, он с небольшой группой специалистов приезжал, датировали и отложили исследования до следующего раза. А когда он наступит — в следующей юге? Поскольку такого и разного «добра» — пол Индии. А по другую сторону от того хутора стоял заброшенный и никому не известный небольшой «стоун-хедж», вокруг которого разгуливали козы. Или вот егерь в одном из заповедников Махараштры говорит мне: тут мы на днях, копая водоем для зверей, динозавра нашли, поехали глянем — может, подскажешь, что с этим делать. Или, прокладывая маршрут в глубинке штата Карнатака, наткнулся в сети на любительский сайт индуса, который годами в одиночку ездит по деревням и описывает древние храмы, так вот — о половине из них почти нет никаких сведений, а среди них — храмы мирового уровня. Ну и так далее. Даже новые виды животных до сир пор находят в Индии. Так что не мудрено, что о тейяме нам известно так мало.

Узнал я о нем случайно несколько лет назад и вот только в этом году добрался до тех краев. Но вначале о самом городке Каннур. Это северная Керала, малопосещаемая приезжими, туристическая местность расположена много южнее, это там — аюрведа, СПА, пляжи, театр Катакхали, храмы Тираванандума и пр., а здесь — городок, опоясанный военными и полицейскими гарнизонами, которые не очень решаются вмешиваться в его жизнь: с одной стороны — бурная коррупция и слаженный криминал, с другой — неугомонно марширующая компартия, лидирующая в этом краю. Обе стороны, не говоря о множестве других, в неразлучных объятьях. Улицы в ряби красных флажков, мостовые в тату серпа-молота, а на площадях стоят огромные, кукольные, гомерически прекрасные фигуры или просто головы Ленина, Мао, че Гевары и Маркса, будто сделанные Параджановым на пару с Кустурицей. При том что сам городок с его чересполосицей современных зданий и хибар производит впечатление несколько курьезно защемленного между НЭПом и военным коммунизмом — с веселой поправкой на Индию и 21 век. Добавьте сюда еще христианских миссионеров, ухватившихся за этот штат как ни за какой другой и, видимо, чувствуя свою неполноценность в этих землях, раздувающих себя до непомерно пафосных масштабов с иллюминированными храмами-звездолетами размерам с Тадж-Махал. Ну и общий градус зашкаливающего патриотизма и самооценки: Керала лучше всех — и по образованию, и по медицине, и по красоте, и по климату, и вообще по всему.

Вернусь-ка еще на минуту к Ленину прежде чем продолжить с тейямом. Как-то на улочке Каннура разговорился я с интеллигентным светским человеком средних лет. Узнав, что я из России, он спросил, давно ли я видел Ленина. В мавзолее, добавил он, видя, что я несколько опешил. Причем, начиная со слова «Ленин», голос его перешел в какой-то застенчиво нежный регистр, а взгляд заструился поверх моей головы. Не знаю, сказал он, смею ли я просить вас об этом, но… когда вы будете в Москве… зайдите к нему. И — я был бы счастлив — если б вы прислали мне фотографию: вы и он.

И тут я вспомнил другой эпизод — недели две перед тем, в куда менее обжитом коммунистами штате Махараштра, в маленьком городке Даполи, который местные произносят как Наполи, понятия не имея о Неаполе, я сидел в полицейском участке, разговаривая с главным инспектором края, в чьем имени по-английски слышался «жаворонок», а на местном наречии — «100 тысяч рупий», и говорили мы, минут пять

спустя после знакомства, о комментариях Шанкара к Упанишадам. Надо сказать, что иностранцев в этом краю видят не часто, да еще и способных вести такие разговоры. С каждым словом от радостного изумления в нем распускался маленький лотос, наконец, он не выдержал и вскричал: Шива! В дверях возник двухметровый гренадер, сплясавший семиколенный танец чести, и вытянулся перед ним. Чаю нам, лучшего! И мы продолжили, каким-то образом сместившись к ламаизму. И когда он услышал, что я был лично знаком с Далай-ламой, он на минуту смолк, потом перегнулся через стол и прошептал мне в лицо: моего папу… зовут… Ленин. Как! — слегка отшатнулся я. Да, сказал он, садясь, а полное имя — … тут он проговорил что-то непроизносимое. Что означало: Ленин-человек-сын-горшечника.

Но вернемся к тейяму. Мне несказанно повезло. Дело в том, что он происходит в основном в зимние месяцы, в среднем — один в неделю, и каждый раз в другой деревне. Узнать, где и когда тоже непросто: немногочисленные объявления, написанные на местном языке, расклеиваются по городу, но надо еще выискать их среди сотен тысяч других, и то лишь по картинке, а потом ловить прохожих, среди которых далеко не каждый говорит по-английски, а потом еще добраться именно в ту деревню с бессловесным рикшей, где ошибка в один обертон звука в имени места — и вы в совсем другой деревне. Повезло же в том, что именно в эти дни тейям шел все 12 дней подряд — в разных деревнях и исполняемый разными труппами. И все эти 12 дней и ночей, а представление, как правило, начинается вечером и длится до утра, а то и два-три дня и ночи непрерывно, я дрейфовал вместе с труппами от деревни к деревне, спал, вернее, передремывал вместе с ними прямо на земле у костра под звездами на храмовых подворьях и возвращался в гостиницу через день-два лишь помыться и переодеться. Так вот, разговоры мои с «актерами» тейяма (с теми считанными, с кем можно было хоть как-то объясняться по-английски) только подтверждали крайнюю степень непроглядности информации о тейяме: чуть только вопросы мои уходили глубже поверхностных — об аксессуарах нарядов или сюжетных коллизий представления и касались истории этого обряда на его уж бог весть сколько тысячелетнем пути, повисало безответное недоумение. Но счастье было уже в том, что я, примелькавшись и сдружившись со многими из них, мог беспрепятственно находиться в хижинах-гримерках и наблюдать весь процесс подготовки к тейяму, обычно сокрытый от посторонних глаз.

Теперь по порядку. Для начала я попробую кратко суммировать то, что нам известно о тейяме. Слово тейям означает и сам процесс магического ритуала, и имя бога, духа (или облака духов). Суть этого мистериального обряда в призывании духа тейяма, его вхождения в танцующего медиума (бхагавата) и транслирования его божественной энергии. Этому действу предшествует длительный этап изощренной подготовки, включая декорации и умопомрачительной красоты наряд, в который обряжают бхагавата. Труппа состоит примерно из 20 человек, половина из них — музыканты (барабаны и духовые), бхагават — один, но бывает и два-три, действующих попеременно или вместе. Остальные готовят пространство действия на храмовом подворье (костер, символические декорации и др.) и участвуют в мистерии на вторых, третьих ролях. Таких трупп в округе около десятка, и все они из одной из низших каст, называемых «ваннан». Но только две из них имеют бессрочное право исполнять эту мистерию. В незапамятные времена, согласно преданию, оно было ими получено от короля, и с тех пор эти две труппы передают право и опыт по наследству — от отца к сыну. У каждой из трупп есть свои отличия в репертуаре и свои особенности. Есть один сюжет — экстремальный, где речь идет буквально о жизни и смерти для исполнителя: вхождение в огонь. В наши дни исполнять

этот тейям могут, как мне сказали, лишь два человека. Одного из них я видел, ниже я расскажу об этом подробнее.

Обычно тейям заказывает семья попечителей храма, совместно с деревенской общиной, которая покрывает расходы и выплачивает символический гонорар исполнителям. Символический, поскольку тейям не профессия и не заработок, а служение. В среднем исполнитель получает в месяц жалованье слуги, домработницы. А учитывая, что тейям происходит лишь в зимнюю пору, это и вовсе копейки. У каждого в труппе есть своя профессия и работа, к которой они возвращаются после тейяма.

Начинается представление с некоего пролога: один из труппы (второй медиум), как правило, обнаженный по пояс, в облегченном гриме, стоя у костра, призывает тейям медитативной песнью под глубокий звук медленного барабана, возвещая начало, «открывая каналы». Затем выходит бхагават и начинается главное действо, длящееся около двух и более часов. Входя в транс, он исполняет танец, рассказывающий один из сюжетов, отсылающих либо к Махабхарате, либо к пуранам (сказаниям). За ним следует свита с факелами, музыканты и другие участники. Пишут, что сюжетов около 400, но мне говорили, что на деле не более 20-30. Включая местные сказания и легенды. Действо происходит без слов, но зрителям, похоже, все понятно — что за сюжет и что происходит в любой из моментов танца. Даже по мимике лица бхагавата, его рук, пальцев, что тоже отдельный спектакль. Для чужестранца, пусть и знакомого с источниками, разобраться в этом трудно. Бхагават может, например, быть обряжен в женщину с полушариями половинок кокоса, изображающих грудь, облачен в подобие матроны на манер самоварной бабы, но при этом играть роль мужчины. Или танцевать некую битву со Смертью (Ямой), но когда я спросил у моего приятеля-барабанщика, тот был глубоко удивлен моему прочтению. Во-первых, «Смерть» оказалась просто Слугой, во-вторых, никакая не битва, а Служение, в-третьих, даже если б это была Смерть, сказал он, то какая же с ней может быть битва? Только любовь. И у бога, и у человека. И верно ведь: Тат Твам Аси (Ты есть То) — из основных принципов индуизма: ты никогда не ты, а вон то облако, например, но и оно есть лишь поскольку является вон тем деревом, и так далее, пока не опояшет всю вселенную, возвратив тебя тебе в единственно реальных смысловых очертаниях — как всё мироздание без остатка. Но действие в тейяме может быть и бессюжетным, просто вхождением в образ одного из богов — в царя обезьян Ханумана, например. В конце мистерии — жертвоприношение. В прежние времена это мог быть буйвол или черный козел, ныне, как правило, рябая курица. После финала бхагават садится на «трон», благословляет свиту и музыкантов, затем к нему выстраивается очередь из зрителей. Каждый шепчет ему на ухо свои заботы-печали-радости, он утоляет их, подбадривает, благословляет. Все это носит очень неформальный дружеский характер, и смеются, и изумляются друг другу. Но и — не то чтобы благоговение к нему испытывают, но особое деликатное уважение — как к посланцу божьей милостью. Так, например, когда бхагават, танцуя, приближается к сидящим на земле зрителям, они встают, складывая у груди ладони.

Первые упоминания о тейяме, сделанные на тамильском языке, восходят к середине первого тысячелетья до нашей эры. Понятно, что речь идет об обряде, существовавшем задолго до этих записей. Географически, это юг Индии, земля дравидов, один из истоков цивилизации. И хотя исторически тейям соотносят с Кералой, сейчас трудно сказать, как, где и когда он зародился. Во всяком случае, Керала и Тамил-Наду — соседствующие и взаимопроникающие территории. Затем, вплетаясь в индуизм, тейям отчасти трансформировался, сближаясь с ним, многое перенимая, но при этом удивительным

образом не утрачивая свою аутентичность. Так в тейям вошли боги индуизма, среди которых одна из ключевых для тейяма фигур — Дурга. Вернее, та, которая была в начальной архаичной поре тейяма Дургой, покровительницей земледелия, многоликой, прекрасной и страшной богиней, чье имя кануло, будучи заслоненным Дургой, одной из жен Шивы, возникшей, согласно одной из версий, из черной сброшенной кожи Парвати. Одна из ипостасей Дурги — неумолимая Кали, черная богиня, у которой в свою очередь есть (за)предельный облик с испепеляющим взглядом — Чандика. Именно на подворьях храмов Дурги и разыгрывается мистерия тейяма.

Видимо, эта мощная и долгая связь с Дургой (и той, которая ей предшествовала), как и с женской энергией в целом, уже в начале нашей эры развернула тейям в сторону поклонения Шакти — той, без которой никто и ничто во вселенной не дышит. Впитав и этот опыт, тейям через несколько веков снова вернулся к своим очертаниям. Насколько можно судить, несмотря на дальнейшие перипетии, он примерно в этих очертаниях и дошел до наших дней. Где-то в 17 веке там же в Керале возникает известный ныне по всему миру театр Катакхали — один из легких сценических отсветов тейяма. А по другую сторону Индии, в Ориссе, в такой же непрогляди веков, как и тейям, зародился джаганат, который считают одним ранних ответвлений индуизма. Эта народная «ересь» и сейчас имеет миллионы последователей, свои храмы и свой пантеон богов, иконография которых очень похожа на тейям, с той разницей, что в джаганате это парсуны и изображения, а в тейяме — живая мистерия. Интересно, существуют ли исследования этих сопоставлений.

Осталось, прежде чем перейти к обещанному экстремальному тейяму, сказать несколько слов о неожиданно создавшемся фильме, который я смонтировал из отснятого материала. Неожиданно — по нескольким причинам. Во-первых, я не замахивался на фильм, а снимал, что называется, для себя. Во-вторых, не очень пригодной для этого фотокамерой, с рук, в почти невозможных для съемки условиях: ночь, слепящий свет прожекторов со всех сторон, куда ни повернись, быстрый и непредсказуемый танец, перемещаемый по всему полю храмового подворья, толпы зрителей, устремлявшихся вослед действу, сквозь которых было порой не протиснуться. Добавьте сюда еще мою страсть, сердце моего внимания к крупным планам, медитативным подробностям, и особенно в гримерках. Тем не менее, я привез около 10 часов записи. И с изумлением обнаружил, что порой милостью божьей удалось снять то и так, как не чаял. На выходе получился фильм (его можно посмотреть на моем канале ю-туба) с моими лишь периодическими комментариями. Поскольку — я еще при съемке это понял — непрерывно сопровождающий комментарий, при всем нашем желании и кажущейся необходимости его, излишен. Этот домик речи, где мы живем, глядя в окошко, не нужен. Думаю, тут важнее другой опыт восприятия, высвобожденный от хватательного рефлекса интеллекта. Тем более, что, оставаясь там чужестранцами, и особенно в отношении тейяма, как бы мы ни были оснащены, даже в лучшем случае будем иметь дело с комфортным, но псевдопониманием. Да и в целом — как говорили древние индусы: содержание второстепенно, идеи сочтены, сюжеты известны, вещь кончается там, где свершается ее форма. То есть то, к чему мы пришли лишь недавно, для них было ясно едва ли не изначально.

И еще — не удержусь — о нестерпимом наслаждении наблюдения за работой индусов. О крупных планах, и, в частности, о съемке в гримерках. Какая же у них ладность движений, какие руки певчие! И какое дивное чувство красоты, из какого рукава они его вынимают? (Я помню, как в упомянутом выше городке Даполи, прямо на бурной рыночной улочке улыбчивый восьмирукий гном-портной приставлял ко мне лесенку, чтобы снять мерку, и

шил волшебное.) А какая астрономическая по нашим меркам скорость! Та, при которой кажется, что все происходит как в замедленной съемке или почти недвижно. А потому что точность волшебная, музыка жеста, а не какофония. Вот, например, весь этот умонепостижимый космос, в который обряжают героя — где-нибудь в закулисье высоких подиумов Европы этот процесс требовал бы, наверное, в десятки раз больше времени и рук, а тут — два-три человека делают это непринужденно, почти не глядя. Вот эти слова — ладность, радивость (последнее даже словарь подчеркивает красным как несуществующее) — как-то все обреченней уходят из нашего обихода. А о чем это говорит? О вписанности в жизнь. О нашем танце с ней, о тактильном даре. Вот они, индусы, танцуют легко и не касаясь земли. А мы то и дело наступаем на ноги — и ей, и себе, зачастую даже не замечая этого. Да и живем зачастую не там, где она, не с ней, и потому не так. Хотя любим пофилософствовать про «здесь и теперь». И про бога, который «везде и нигде». Это мы — везде и нигде, а он — в каждом мгновении — всклянь. Там, где нас нет или почти нет.

Но вернемся в гримерку, где все это есть, или почти есть. Казалось бы, почему бы им весь этот астрономический скарб декораций, нарядов и аксессуаров не возить в готовом виде от тейяма к тейяму? Нет же, только часть, основу держат неизменной, а вторую часть, завершающую, делают всякий раз на месте — строят, режут, плетут, шьют… Да, есть то, что не может быть сделано однажды и надолго — например, нарезка и плетение тысяч стеблей и волокон кокосовой пальмы для интерактивных декораций и особых нарядов (о которых ниже). Но, казалось бы, есть и многое из той кропотливейшей ручной работы, которую не нужно делать всякий раз заново. Но оказывается, иначе нельзя, потому что это не конвейер, а служение, в реальном «здесь и теперь». И, например, семиметровой высоты головной убор изготавливается всякий раз сызнова. А где-то на задворках храма в темноте сидит какой-нибудь зеленщик или рикша и ворожит в отблесках костра над бижутерией к одной из частей наряда бхагавата. И вот я снимаю его незаметно, как он перебирает в шкатулке какие-то стекляшки, взвешивает, разглядывает на ладони две почти одинаковых, прикладывает, меняет… и это длится бесконечно долго. Ну возьми уже эту, любую, ведь их же, как звезд на небе, в этом наряде, никто никогда не разглядит этих крошечных отличий… Нет, сидит, перебирает, колеблется, светает уже, а рядом мальчик сидит, сын, зажал в губах ожерелье, чтобы освободить руку для серфинга в мобильном. Сын, который скоро займет место отца.

И еще об одном, не до конца осознанном мной наблюдении. Большинство, если не все из дошедших до наших дней магических ритуалов и разного рода сакральных действ неумолимо утрачивают свою аутентичность: либо профанируясь на пути широкой публичности, монетизации, выхолащиваясь в шоу, либо постепенно мертвеют, уходя в герметичность, конспирологию, обволакиваясь искусственным туманом с позолотцей. Удивительно, но с тейямом этого не происходит. При всей открытости публике, он сохраняет неразменный запас достоинства, мастерства и служения. Парадоксальным образом, будучи развернут к зрителю, он весь погружен в себя, и мистерия эта, по моему ощущению, разыгрывается не для публики. Даже входя во взаимодействие со зрителями, они как бы не отражаются в зрачках исполнителей. Так океан открыт берегу, соприкасаясь с ним, но все его пространство и время — по ту сторону, в непрогляди. Такое чувство. И не случайно, начинаясь вечером и идя всю ночь по нарастающей, представления тейяма строятся так, что самое высокое и мощное действо происходит перед рассветом, когда почти не остается зрителей (за исключением того редкого тейяма, о котором ниже, но там мотивация публики понятна). И еще: необъяснимо, но как ни играй зумом восприятия,

приближая и отдаляя происходящее — не улавливается эта тонкая грань в тейяме, где «кончается искусство и дышит почва и судьба», не на словах, а на самом что ни на есть деле, где человек сгорает.

Вот мы и подошли к огню. С вечера в деревню было завезено 20 тонн распиленного тамариндового дерева. На погребальные костры в Индии берется баньян, тоже плотное дерево (около 350 кг на одно тело), но жар от тамаринда адов и долгоиграющ. Неподалеку от храма выстраивается из поленьев высоченный зиккурат — особым образом: так, чтобы, затеплив огонь у верхушки, у темени, он медленно прогорал внутрь — от верхней чакры к нижней, а очертания его стояли до последнего, не сгорая. Несмотря на то что костер возводился за оградой храма, все работы выполнялись босиком, обувь лежала в стороне, по завершении была совершена пуджа с ритуальным обходом костра как живого божества. Догорев к рассвету, этот циклопический костер превратился в солярис жара, к которому приблизиться и на десять-то шагов казалось немыслимым. Тем временем, по другую сторону храма, пока на его подворье всю ночь разворачивалась мистерия тейяма со сменяющими друг друга бхагаватами и сюжетами, того, кто войдет в огонь, готовили к предстоящему. В течение нескольких часов я был рядом, снимая на камеру весь ход подготовки, вглядываясь в лицо этого медиума, лет тридцати на вид, но бог его знает, сколько ему было на деле. Как я ни вглядывался, казалось, ни горних отсветов, ни божественной дрожи, и вообще ничего героического не было в нем, работа шла тихо и буднично. Балагуря между собой и с ним, четверо помощников обряжали его в нарезанные из кокосовой пальмы юбки. Я насчитал около восьми таких юбок — от бедер до пят. Затем двое взметывали его над собой, а один затягивал влет на нем эти юбки как можно туже. Поскольку к верхним краям этой защиты по сторонам от бедер будут приторочены две скрученные стеблевые косы, за которые всякий раз, когда он, оббегая этот раскаленный ад по кругу, будет бросаться в него ничком, а двое помощников его вытаскивать оттуда. И так будет происходить… это невозможно вымолвить: более ста раз. Сюжет сегодняшнего тейяма, как мне сказали, восходит к сказаниям о некоем споре Вишну с богом огня Агни. Вот Вишну и должен войти в него, в бхагавата. И выйти живым. И самое удивительное в том, что здесь нет никакого фокуса, все по-настоящему: тело и огонь, никаких хитростей между ними. И это знают все зрители. Босые ноги, открытое незащищенное лицо и ладони. И только древесный шелестящий наряд, верхняя половина которого (смотрите внимательно в фильме) на втором дыхании этого смертельного танца будет снята. Да, есть передаваемый издавна опыт, наработанная техника, но все это открыто, очевидно для взгляда, и уж вовсе не объясняет физику, и от этого еще удивительней и страшней. Да, в момент броска он выгибается, чтобы лицом и грудью не соприкасаться с жаром и, наверное, задерживает дыхание, а перед и после тейяма глотает ложку топленого масла (ги), ну еще что-то из этого же ряда. И всё? В этом смысле — да, всё. Я не к тому, что отсюда надо переходить к объяснениям сверхъестественного свойства. Есть разные подходы и их сочетания, и подумать тут есть над чем.

И еще. Когда я смотрел, как человек на глазах превращался в живую тряпку, раз за разом швыряемую в огонь, и в силу механичности этого повтора всё предвосхищение чуда, подвига, магии, черт знает чего — обессмысливалось, чувства сволакивались с тех замирающих высот куда-то вниз, в сторону, и даже хуже… Но вместе с тем, я подумал, что, наверное, так и выглядит крупным планом всё неприкрытое: смерть, война, страдание и тот же подвиг. Расхожая мысль, но отдающая жаром, когда по горячему.

И еще подумал об этом бхагавате, вот он отдышится, переоденется, сядет на свой мотороллер и поедет утренними проселочными в свою деревню, к своей семье, детям, если они у него есть, и вернется к своей работе — тачать сапоги, печь пироги или растить рис… До следующего тейяма.

Ахимса

Я вот что понять не могу. Как могла уцелеть на земле Индия? Может, я передергиваю, но вот: есть мы, при всей разности наших египтов, китаев, европ, америк, — мы как некая коммуналка, и есть Индия, которая — где? Если она на Земле, то весь мир — Индия, и нас нет. Если мы есть, то нет Индии, не может её быть. Либо мы нереальны, либо она. Или нужны две земли — на одной мы, на другой она. Когда-то я написал: мир делится на Индию и всё остальное. В запальчивости написал, неверно. Если делится на неё, то остального нет. И наоборот. Если на нас делится — нет её.

Собственно, это и происходило: вся история Индии — это последовательное ханжеское её вытравливание с лица земли. Нет, не так. Мать насиловали. Грудь посасывали и насиловали. Поглаживали по голове, а горло к земле прижимали — коленом. И я понять не могу не то, почему так происходило — это понятно, а как смогла она уцелеть, и жива до сих пор. Ни один народ не смог бы. И не смог — в куда более щадящих условиях, мы знаем примеры. А она смогла.

Здесь что-то не по земным законам, не отсюда она. Народ Израиля — без году неделя был в плену египетском, а стон во все небо, и Бог, и пророки, дедка за репку, пустыня, исход, детская травма на всю жизнь. Индия — восемьсот лет под мусульманами. Язык вырван, святыни разрушены, насильственное обращение не то что в чуждую веру, а как в первую группу крови вливают четвертую. И что? Встает утром, восемь веков спустя, подходит к зеркалу — будто их и не было. Светла, молода, нерастрачена. А Тадж-Махал — святыня ислама — индийский национальный символ. И сразу вослед этим восьми векам — колонизация англичанами, два, а точней, три столетия обращения в христианство. Лицемерного, свысока. Мол, культура пришла к варварам. Единственно истинная вера, вся в крови, грязи и ханжестве, подмяв под себя треть планеты, раздев, разграбив и воцарившись, учит — кого? Вьюн учит дерево. Обвивает, сосет, жиреет, душит, учит.

Крупнейший ученый, первый и главный авторитет Макс Мюллер выпускает библию Востока, пятьдесят шесть откомментированных томов, половина из них — Индия. Первое окно для Европы. Учит, как смотреть в него: белая раса, арии, пришли в Индию с северо-запада, привнесли культуру, знания, потом смешались с аборигенами, выродились. Отсюда — вначале Веды, потом тишь, по нисходящей. Так смотрела просвещенная Европа на Индию — по нисходящей, до белокурых ариев, до нацизма.

Что ж это за народ — всунь ему кусок говядины в рот, и он уже мусульманин, дай ему свитерок, чтоб согрелся, и он уже христианин. Вырежь пару миллионов, а он молчит, ладони у лица складывает, улыбается. Сожги книги, лиши языка, убей Бога, — рис собирает, детей растит, улыбается. Где нация, где руки, за которые взяться, где сопротивление? Нет. Никогда и не было.

Ахимса. Непричинение вреда ни одному из живых существ. Никому — ни человеку, ни муравью, ни воде, ни огню. Три тысячи лет назад, а точнее, пять, принята эта заповедь. Не в ряду других, а первая, главная. И только после нее — Бог, правда, честность, целомудрие, уважай родителей, или что там еще по списку. Первая, и именно потому всё остальное, из неё исходящее. Гениально просто. И совершенно не от мира сего. Ни в одной этике мира этого нет. Тысячелетья бьёмся над законами нравственности, места живого нет на этом проклятом поле. А тут — изначально, и так просто, и на все времена. Здесь печка стоит, от неё и считай. И стоит, и считают — по сей день.

И тогда нет места ни богоизбранности, ни таким заповедям, как вырвиглаз, ни лицемерью щёк — другую подставь, а из храма гони палкой, да, подставь, но при этом и оба глаза вырви, богу богово, а кесарю кесарево. У какого еще народа так, чтобы принятое изначально оставалось незыблемым на все времена, и сегодня было таким же словом-делом, равносильным жизни, как и в первый день? Я не вижу аналога.

Две из пяти мировых религий возникают в Индии. И что? Хоть один крестовый поход, газават? Нет. Великое могучее царство. И что? Агрессия, амбиции к мировому владычеству? Нет. Богатейшие знания, опыт. И что? Никакого навязывания себя другим, никакой экспансии. Взгляд внутрь, в себя, в бесконечность, в бога. Нет народа, есть человек. Нет того, вокруг чего сплачиваются — ни страны, ни национальной идеи. Есть взгляд, внутрь, от Атмана к Брахману, и обратно, тот же. Есть Веды. Но кто это сказал, кажется, Померанц: вычти Библию у евреев, Коран у мусульман, и религия рассыпается. Вычти священные книги у индусов, и Индия как мироощущение остается. Не здесь основа. А где?

Нас ещё нет почти, только ходить учимся, а они уже всё прошли, сидят, на закат смотрят, ноль придумывают. Ману, первочеловек и человек вообще. Так просто: Ману — сын солнца и брат смерти. Кто такой «человек»? Сын солнца, брат смерти. Вот и всё. Здесь печка, считай отсюда. Три миллиарда лет примерно, потом распад, и мир заново ткется, другой узор — из тех же нитей, ах, как долго она вышивала, и опять расплетается. Не линейное время и не цикличное, а и то и другое одновременно. Невоплощенное лежит в основе. Бог это творчество, если попросту. И в этом первопричина порождения мира. И никаких прикладных целей. Проявление себя в творческом действии. Вот и вся мотивация, знакомая каждому, кто имел с этим дело. И никаких целевых аудиторий, богоизбранных. Творить, оставаясь почти безымянным, небесным отшельником, в стороне от кумирен. Брахмой, творцом мира, никем. А на устах кто? Шива, Вишну, другие, те, кто в людях, — не он.

И вот, две с половиной тысячи лет назад, когда уже все свершилось — там, у них, а в Греции только-только еще начинается: Гомер, Платон, — в Индии происходит некое брожение: надо поговорить, уточнить мироздание. На юге возникает несколько философских групп. Адживики во главе с Гонсалой, джайнисты с Джиной Махавирой, буддисты с Буддой, шраманы и брахманы… Готовятся, строят миры, а на зиму идут на север, к Гималаям, селятся в пещерах, устраивают совместные диспуты. Мирно, у костров. И расходятся по берегам. Ни религиозного экстаза, ни священных войн.

А потом приходит император Ашока и объединяет народ в одну семью, все веры сестры, всем сестрам по серьгам, а буддизм — любимая. И древо цветет, все ветви. И буддизм — не откуда-то взявшийся инородец, не прижившийся в Индии и отторгнутый ею почти без следа. Извините. Надо внятно сказать, а не комкать, держа за щекой. Громко и внятно: буддизм — индийская религия, и никакая другая. Одно из направлений индийской

философии, рожденной и воспитанной индусами в Индии. Вот так, и честно, и внятно, и с этого начинать. А то, что он не стал со временем единственной или господствующей религией, и почему не стал — это уже другой вопрос. В том же ряду, где, например, почему не стал ею джайнизм или ислам. Чей писатель Набоков? Не русский? А Беккет? То же с буддизмом. Да, немного прихрамывает, как и любое сравненье. Суть не меняется. Рожден Индией, возмужал, построил дом, родил детей и, как подобает духу, ушел в Гималаи. По-хорошему.

Ахимса. Непричинение вреда ни одному из живых существ. Никогда нам этого не понять, ни в голове не сложить, ни в сердце. И не подняться к этому, никакими преображеньями, сколько б ни жили. Вот что в начало положено — в начало мысли, чувства, ощущенья себя в мире: ты, человек, не выше воды, не чище огня, не дороже дерева. Ты — это весь мир, весь Бог, в одном нераздельном вдохе. Нет границ твоих очертаний.

И тогда ахимса становится не умозрением, а твоим костным мозгом. Ахимса, а потом уже — Бог, родина и прочий пафос. Точнее, он перестает быть пафосом, тем полем — героическим, бумажным, проклятым, на котором мы все лежим.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Не все так умопостижимо

НГ, 2010.
Беседовал Михаил Бойко

– Сергей, мне показалось, что у вас есть склонность к фрагментарной, зернистой, ячеистой прозе. Это так?

– Мне кажется, это органичное свойство мышления любого человека. Фрагментарность, ассоциативность, нормальная здоровая шизофреничность сознания — естественный признак интеллекта, культуры. Чем выше скорость ассоциаций, их нелинейность, тем богаче культура. Было бы странно желать человеку меньшего, сводя мышление к одномерной червячной последовательности. Образ мира в нашем восприятии за последние тысячелетия не стал проще, его не обведешь одной линией, не отрывая руки. Не все так умопостижимо, как говорил мой друг. Достаточно уже того, что между нашим мышлением и непосредственной реальностью — пропасть. И не меньшая пропасть отделяет их от речи. Творчеством ведь движет еще и этот мотив: заговаривание пропасти, налаживание переправы, поиск формы, связи, скрепа. Не случайно, скреп по-гречески — гармония.

Шахерезада прозы выигрывает жизнь, заговаривая время, подменяя его историями, повествованием, — до тех пор, пока длится рассказываемая история, длится и жизнь. И рассказчика, и читателя. Я не против этой чудесной иллюзии, я и сам «обманываться рад». Парк, дом, садовник, свет в окне, голоса. «Иван Иванович вздохнул, встал с кресла и подошел к окну» — пока эта последовательная цепочка слов доползла к окну, мир уже неузнаваем и еще трижды перевернулся между Иваном и Ивановичем. На этой телеге и бытового сновидения не объедешь, не говоря о большем. Зато дорога под колесом и звездное небо над головой.

Музыка и поэзия способны подойти к этому «нигде» ближе других. Но и здесь — смотрит в эту бездну Дионисий, а отражается Аполлон. Не прямой взгляд, в сторону, в зеркальный щит, как Персей. Или иди, пой, не оглядываясь, а обернешься — утратишь ее — жизнь, Эвридику. Или–или: или жизнь, или дар речи. Волна и частица. Удерживая одно, упускаем другое.

– Корпускулярно-волновой дуализм?

– Все это, конечно, не новость. И Введенский писал о мерцающей пропасти между речью и живой тканью мира. И Мандельштам о воровaнном воздухе и брюссельском кружеве. И дело не в том, фрагментарен мир или целен, существует стрела времени или их столько же — разнонаправленных и одновременных, — сколько ветров в эоловой арфе.

Это о мировосприятии. Но есть еще и выбор пути и цели. Ведь во многом мы есть то, в чем отражаемся, куда вглядываемся. Для меня эти опыты в чем-то сродни одиночным экспедициям к тому, что человека близко к себе не подпускает. С веревкой речи в особенности. Я пытался сочетать различные способы приближения — и прозы, и поэзии, и свой опыт живописи и режиссуры, и, как ни странно это звучит, походный опыт тоже (опыт отношений с огнем, водой, тропой, местностью, присутствием себя как тела в той или иной среде). И выстраивал эти стилистически и жанрово разнородные фигуры в единое высказывание, в книгу. Этот подход мне близок — и по мироощущению, и просто по логике вещей: несколько точек обзора вступают с предметом в более адекватные отношения, чем одна. Более адекватные, противоречивые, оставляющие подвижный воздух между углами взгляда. Тот, который «не говорит и не утаивает», по словам Гераклита. Самой большой авантюрой в этом отношении стала книга, которая так и называлась — «Книга», опубликованная в 2000 году. В нее вошел архитектурный проект города-лабиринта «Фигура времени», над которым я работал несколько лет. После фильма об этом проекте на ТВ Германии его включили в план строительства, вырыли котлован, разбили парк. Помешал кризис с переходом марки на евро. К счастью для замысла, который, вероятнее всего, свели бы к массовым аттракционам.

Возвращаясь к началу, фрагментарность отчасти, наверное, связана еще и с «концом эпохи созерцания и длительности», с разлетевшимися осколками этой «вечности». С другой стороны, так же естественна и ностальгическая прелесть традиционных повествовательных форм. Как поездка за город, месяц в деревне, домик в Коломне. Да и вообще светлей, когда родители живы.

– Не кажется ли вам, что расцвет экспериментальных направлений в литературе в конце 80-х — 90-х годах сменился очередным засильем традиционного нарратива?

– Да, это ощущение есть. Сменился и окреп ветерок, и носы развернулись. Послушные формы, предсказуемые, одноходовые. И ничего бы плохого в этом чередовании волн, вдох-выдох, если б не отсутствие альтернативы, пусть редких, но других голосов. Они есть, и талантливые, — прорыва нет. Может, и хорошо, что хуже некуда, — и не только в литературе ведь. Что-то зреет.

– Что послужило причиной вашего отъезда сначала в Германию, а затем в Индию? Исчерпанность российского «речевого ландшафта»? Поиск новых возможностей?

– Одну ногу надо всегда держать на весу, иначе вязнешь, как сказал мне один индус, шофер, когда мы спускались по горному серпантину от истока Ганга. И в любви? — спрашиваю. Да, говорит, и в жизни, и в смерти. Иначе вязнешь.

– Насколько я знаю, вы увлекаетесь индийской философией. Какой именно системой или школой?

– Нет, ни к каким «лестницам духовного совершенства» я не прикипал — ни там, ни где бы то ни было. Для меня Индия — возвращение в потерянный рай детства с его чудотворством света и цвета, с его «все возможно», с его сновидческой гравитацией, цыганским счастьем, свободой и все еще не утраченной тактильной связью с миром. Так что мои странствия по Индии проходят вдали от людных мест и разного рода «достопримечательностей». В основном это походы в джунгли, без проводников, с ночевками. Одно из самых сильных недавних впечатлений — столкновение с тигром. Джунгли, заповедники, труднодоступные места, встречи с первобытными племенами. Да и просто чувство дороги, индийской, особой.

А что касается философии, мне многое нравится у индусов. Например, что в начале мира у них — Веревка и ее Натяжение. По-моему, чудесно. Даже без теории струн. Или что творец мира, Брахма, не имел учеников (а в индийском космосе это хуже приговора). Ни учеников, ни детей, ни связей с общественностью. Ты царь, живи один. Так и живет. И тропа к нему довольно пустынна. А в великом колесе брахмана, сказано в ведах, блуждает гусь. Содержание второстепенно, писали индусы, ровесники этого гуся, идеи сочтены, сюжеты известны, произведение остается открытым, обрываясь там, где исчерпывается его стиль, форма. Прямо в воду глядят, нашу, сегодняшнюю. Или ахимса, непричинение зла ни одному из живых существ. И религия светлая, как волшебная сказка с перерождениями. А иллюзорность мира, говорят, — это головная боль без головы. И ноль придумали. И буддизм, на экспорт. А шахматы — для себя. И животных любят и чтут. А мужская дружба — до гроба, как у детей.

Последние три года я писал книгу об индийских странствиях, возможно, в этом году выйдет. «Адамов мост» называется. Это цепь необитаемых островов между Индией и Шри-Ланкой. По легенде, путь Рамы из Индии в сад демона, по другой версии — путь Адама из рая к берегам Индии. Такое вот обоюдное зеркало между адом и раем.

А в 2008-м в «Эксмо» вышла книжка «Медитации у Ганга», беседы обо всем на свете с одним довольно неординарным свами, художником, мастером тантра-йоги, живущим в поселке йогинов в предгорье Гималаев. Я не спорил с ним, другая была задача. 14 бесед, пока шли и ехали с севера на юг Индии, последняя — в маленькой деревушке, где, по преданию, хранятся списки всех людских судеб, так называемые хроники Акаши.

– Вы выступили с инициативой создания международной творческой обители — арт-ашрама «Мастер» в предгорье Гималаев. Удалось ли вам осуществить свой проект?

– Почти. Года три-четыре назад, когда я выпускал в Москве альманах «Фигуры речи», параллельно я затеял нечто вроде междисциплинарного дискуссионного клуба со свободными импровизациями на различные темы, которыми могли быть и Ноль, и Сны языка, и Оргазм и катарсис, и Лермонтов — Демон — Врубель, и Метафизика чтения, — не так уж важно, какая тема, за два с лишним года их было много, и людей приходило много, на первые вечера — до трехсот, не считая тех, кто участвовал в этих дискуссиях по Интернету. А потом, чем тоньше становился разговор и чем меньше оставалось места для шоу и публичной прагматики, тем прилежней редели ряды. Назывались эти вечера «Речевые ландшафты».

Потом, оказавшись в Индии в Лакшман-Джуле, поселке йогинов на берегу Ганга, я подумал: вот абсолютный гений места, где дух жив и дышит, где хочет. Вот бы здесь и

открыть второе дыхание «Речевых ландшафтов», с поправкой на местность. Что-нибудь вроде русско-индийских встреч для творчески активных людей, открытых к приращению. Местные власти пошли навстречу. Выше по течению — девственные джунгли, манговая роща, сходящая к берегу, в ней и предполагался летний лагерь под старым баньяном. А в десяти минутах ходьбы — поселок, все цивильные блага, Интернет на каждом шагу. И программа наметилась, и индусы откликнулись. Но в этом проекте не столь программа важна, хотя и она была достаточно интересна («ландшафты» были лишь малой частью их), и даже не новые встречи, а сам дар пребывания в этом поле преображений, которое «больше, чем просят, дает», просто жить им, дышать, видеть. Остальное приложится. Но здесь воодушевления эта инициатива не вызвала, во всяком случае, у тех, кому по природе своей была адресована. Как-то все разбрелись по своим углам, с соблюденьем границ и «цены вопроса». Может, и я недостаточно приложил усилий, а может быть, просто время такое, не-подвижное. Потому говорю: почти. Дверь снова оставлена приоткрытой, на будущее. Не первая и, надеюсь, не последняя.

– Что вас больше всего раздражает в современном российском литературном процессе?

– Бобик в гостях у Барбоса.

– Вы можете сравнивать культурную жизнь в Германии и в России. Что бы мы могли перенять?

– Ничего. Даже систему государственных и частных фондов для поддержки литераторов и экспериментальных издательств. Для этого надо было бы «перенять» всю страну с ее населением.

– Что сейчас находится в фокусе ваших литературных интересов?

– Зияние в фокусе. Зияние от ухода Алеши Парщикова. Почти тридцать лет мы были близки. А в последние годы он был едва ли не единственным собеседником.

«Мир стоит по горло в небытии»

Русский журнал, 2014
Беседовала Екатерина Морголь

Сергей Соловьев: Как говорил один философ: повременим, чтобы скорее кончить?

Екатерина Морголь: Попробуем. То есть я, да?

С.С.: Да, а я пока заварю кофе.

Е.М.: Странный Вы человек. И еще более странный художник. Со стороны Вы создаете впечатление крайне счастливого и свободного человека. Я бы даже сказала оголтело свободного и счастливого. Но кто же тогда пишет: «Веет смертью, веет, веет — от всего, / и слова вокруг немеют — от себя»? Вот в Википедии сказано о Вас: «в 80-х ему принадлежала пальма первенства в эротической литературе», а Вы пишете роман о двух любящих друг друга людях, главную, как Вы говорите, книгу жизни, и — ни одной эротической сцены в ней нет, вообще — почти ни слова об этом. При том что всё — об этом ведь. Больше тридцати лет Вы в литературе, Вас знают и любят, а в то же время Вас как будто и нет в ней. Необычайно яркий дебют и признание, и вдруг исчезаете — на

годы. Переплываете моря в одиночку, скитаетесь по краям света, живете в монастыре, реставрируете фрески… И вдруг возникаете снова — в кругу метареалистов — другой, с другим письмом, и снова исчезаете. А потом создаете стихийный авангардный театр в Киеве и — на самом пике событий — бросаете. Как и с изысканной каллиграфической негазетой «Ковчег» — создаете, осыпаете город с воздуха ее миллионным тиражом и — нет Вас нигде, годы. И снова появляетесь с громадным архитектурным проектом «Фигура Времени» — что-то вроде борехесовского видения лабиринта лабиринтов, некоего зазеркалья, в котором весь мир — Алиса. Проект публикуют на Западе, снимают фильм, собираются строить в Германии. А Вы, отмахиваясь фразой Андрея Битова — «реальность скурвит идею», опять исчезаете налегке. С одной ногой на весу. Как в том разговоре Вашем с индийским шофером на горном серпантине: одну ногу надо всегда держать на весу, говорил он, уводя пол машины в пропасть, иначе вязнешь — и в жизни, и в боге, и в смерти. Видимо, в Вашем случае это оказалось как-то особенно близко. Вспомнились Ваши строчки из юношеского, где Вы, ночуя на складе денатурата, интимно шепчете подстриженной под ноль возлюбленной: «Я принес тебе хлеб с маслом, / съешь его как-нибудь, / цель не имеет смысла, / важен путь…» А потом пишете инфернально мистическую хронику с лаконичным названием: «Редкий случай разделения человека тупым предметом на две половины». А потом «Параслов», где от мира остались одни слова, играющие в людей. Где ж Вы живете? Даже географически это не ясно. В аннотациях к книгам пишется: в Крыму, Германии, Индии. Одновременно? Как однажды сказал о Вас Алексей Парщиков: Сережа — загадочный праздник, криптик селебрити — то есть на небе, то нет. А сами Вы с улыбкой называете себя барбосом, последним на земле барбосом, хотя, добавляете, на самом деле нас двое — я и Чёс, настоящий, четвероногий. «Мир ловил меня, но не поймал», да? Вы сторонитесь каких бы то ни было литературных «прайдов», Вы сами по себе, в стороне (кстати, так названа и Ваша недавняя книга — «В стороне»), только в какой? Об этом и критика за все годы Вашего пребывания в литературе не очень-то решается высказаться. В стороне, и тут же — в самом центре: создаете в Москве клуб свободной мысли «Речевые ландшафты», собирая аншлаги на задиристо элитарные вечера, издаете альманах, как Вы говорите, «белой» литературы — «Фигуры речи», пытаясь выстроить внятную альтернативу «серой» и «пестрой». И вновь исчезаете — на годы, в Индию. Но и там Вы «в стороне». В стороне от той Индии, ради которой туда собственно и едут люди. Где же Вы? В джунглях. И говорите, что встреча с тигром, например, для Вас куда более глубокое событие, чем, произошедшая чуть поздней и наделенная, наверное, не меньшим смыслом, странная встреча с Далай Ламой. Бродите по джунглям, живете с первобытными племенами, и при этом похожи Вы — одновременно — на Пастернака, Баталова и Юрского, а сами — в стороне. И в ответ на актуальные вызовы с полей людских переживаний вспоминаете ту историю с Джойсом, когда в 1932 году советский союз писателей прислал ему анкету с вопросом о его отношении к октябрьской революции. Письмо было подписано секретарем союза — некой Романовой. Джойс ответил, что особо глубоко в этот вопрос не вникал, но, судя по подписи, положение в России, вероятно, не очень изменилось. И добавляете: что не помешало Джойсу создать портрет своего времени уж не менее верный, чем у литературных передвижников. Да и вопрос ведь еще — о фигуративности времени. И, отводя взгляд в сторону: как заметил кто-то из мыслителей или мистиков (Шестов? Экхарт?) — если хочешь, чтобы Бог услышал тебя, отойди дальше. Не скажу, улыбаетесь, что уж так хотел бы, чтобы он услышал меня, но желание отойти подальше только растет. И вновь исчезаете — на семь лет — писать роман о… счастье. Об этой книге — «Адамов мост», вышедшей в 2013 году в издательстве «Русский Гулливер», ставшей финалистом

премий Андрея Белого и "Студенченский Букер", Станислав Львовский говорит: «Русская проза — которая вообще есть — выглядит сегодня вот так. Другой нет — и не предвидится. По крайней мере, в обозримое время».

Вы говорите, что начиналось все с намерения написать людям книгу счастья, которой, как это ни странно, нет литературе…

С.С.: Ну во-первых, нет никакого намерения «написать людям». В основе настоящего или хоть чего-то стоящего творческого намерения вообще нет никакой «воспринимающей стороны», нет никакой почвы под ногами, нет не только будущего читателя, но и самого будущего, да и в настоящем — ни языка, ни тебя самого — с этого начинается. Иначе — речь о книгах другого рода, известного.

Во-вторых, речь идет о особой прозе, в основе которой поэтический опыт письма и его инструментария. Для себя я отчетливой границы между тем, что я делаю в поэзии и прозе не провожу. Дело лишь в расширении возможностей, в снятии ряда ограничений, в построении такого симфонического пространства, которое не дается ни поэзии, ни прозе по отдельности, именно по причине их особенностей. Кроме того, стихотворение дышит траекторией непредсказуемости, интуитивно, ощупью прокладывая путь от слова к слову, в отличие от прозы, которая перед тем, как быть написанной, продумывается наперед, или, как минимум, имеет некий план предстоящего. Но как запрячь коня и трепетную лань в одну повозку? Это ведь не задачка на сложение. И речь не о ритмической прозе (как у Белого в Петербурге, например), а скорее о задачах, которые ставил перед собой Джойс в «Улиссе», только на более чувственном что ли, теплом пути, не отстраненном от рассказчика.

Е.М.: В одной из рецензий на «Адамов мост» говорится, что этот роман так написан, «как если бы текст в пятьсот с лишним страниц можно было прочесть на одном дыхании и заучить наизусть — не с первого, так с третьего раза».

С.С.: Да, в этой шутке есть смысл. Сродни стихотворению, которое схватывается одним вдохом восприятия, только здесь пролеты между «рифмующимися» словами и смыслами разнесены на десятки страниц.

Герой «Адамова моста» говорит где-то там, в Индии, ей, любушке, под одеялом, во тьме: «Читатель это недоразумение. Трагическое. И человек выбрасывается из художника, как из окна».

У меня есть стихотворение — из недавних, которое еще прямее отвечает на Ваш вопрос. Оно начинается так: «Он уходит в письмо, как уходят из жизни — / всем, что есть у него, в то, которого нет».

Е.М.: В предисловии к «Фигурам речи-III» Вы пишете, что художник не должен быть понят. Может, но не должен. И не только читателем, но прежде всего — собой.

С.С.: Если продолжить об «Адамовом мосте», то особенность его в том, что присутствие читателя в этой книге, то есть место для него, как бы не предусмотрено. И вот эта ситуация его неуместности, видимо, ощутима довольно явно. То есть весь пятисотстраничный монолог героя не обращен ни к кому, кроме героини, о которой к тому же не скажешь, рядом ли она физически, даже когда это кажется очевидным, или когда этот монолог переходит в диалоги с ней, — интонация и весь строй речи настолько интимны и замкнуты на этих двоих, что читатель, ища для себя место, привычное для чтения прозы, мало того что не находит его, но и чувствует эту нарастающую неловкость

невольного свидетеля. Свидетеля, быть может, избранного, но не званного. Из такого неудобного, тупикового положения проза, тем более, протяженная, писаться, казалось бы, не может.

Е.М.: Возможно, дело не только в этом развороте речи и ее интонационном строе, но и в самом языке? О котором одна известная писательница договорилась в своей рецензии до того, что книга эта вообще написана не по-русски. На что другим рецензентом было замечено: «Настолько по-русски написанной книги у нас давно не было». И все-таки, уж простите эту настойчивость, что же было в начале — вот это чувство, о котором сказано в Упанишадах: «Даже Атман бессилен перед природой счастья»? Эта фраза была у Вас эпиграфом к ранней версии романа, а потом перекочевала внутрь книги. Поближе к корням отчаянья? Где, по Кьеркегору, излюбленное место счастья? Но ведь это не только о счастье книга, но и…

С.С.: Да, и счастьем написанная — такая вот, небывшая еще. Почему? Самый расхожий ответ: счастье — глухонемой. Расхожий, то есть пошлый. Есть и другие ответы. У счастья нет сюжета, перипетий, коллизий, утрат, смерти — всего того, на чем держатся книги, что вовлекает читателя, одаривает, а потом отнимает. Но и это не так важно. Можно было написать. Больше того — она и была написана. Почти. Почти, потому что между автором и героем незримо стоял в тени третий, пристально наблюдал за ними и молчал. И оба чувствовали этот взгляд, и кое о чем умалчивали. Но и жизнь тем временем в стороне не стояла, и книга рая исподволь превращалась в книгу изгнанья.

А началось это на крохотном острове, где помещалась лишь ветхая избушка в облущенной крокодиловой коже и заглохший сад с краном, который приходилось затыкать черенком малярной кисти. На этот островок и перебрались между двумя жизнями герой и героиня романа (а кроме них и не было ведь никого на свете). Позади у них было неизъяснимое странствие по Индии, впереди ждало еще одно — последнее. И вот он сидит в саду, голый, как Адам, с маленьким черно-белым макинтошем и начинает писать книгу. Совершенно не представляя себе не то что ее очертаний, но и следующей фразы. То есть ни о каком плане, как это водится у писателей, нет и речи. Есть он и она, чувство счастья, ошеломительной близости и родства с миром, ощущения избранности (за которую спросится), и есть, пока еще не замечаемый ими, где-то вдали поднимающийся ветерок, легкий, скользящий по их безмятежному раю — оттуда, из будущего. И вот он (Взрослый) пишет о них двоих, об их странствиях, и вечерами читает ей (любе, любушке) написанное, и так они движутся — и там и там — и в книге и в жизни. То есть их четверо. А еще тот, кто внутри него наблюдает за пишущим. И, наверно, внутри нее тоже… Не договаривая. Есть две модели времени — линейная и цикличная, а есть модель Уильяма Дана (время объекта наблюдения, с поправкой на время наблюдателя, с поправкой на время наблюдателя за наблюдателем, и т.д. до относительной бесконечности). И ведь не скажешь, что они, эти двое (или четверо) неискренни в своем счастье, что оно лишь высвечено из узора их жизни, и кто знает, в какую тьму уводят нити… А потом, когда уже «всё случилось» (но что? когда? по чьей вине? — этого не обнаружить так, чтобы сказать: вот и вот), когда уже ничего не поправить, и нет на свете этих двоих, хотя они живы, и книга счастья написана, и сын, рожденный ими, смеется, и она, любушка — за тридевять земель — идет по степи, одна, прижимая сына к груди, укрывая его собой, как тьма огонек, а он, Взрослый, на другом краю света, скользит вдоль незримой стены с осиновым колом счастья, воткнутым в спину. Скользит и пишет — тот, кто смотрел и молчал.

И эта вторая линия романа, главы которой чередуются с главами «райского» странствия,

называется «Барка». И барка эта отсылает к странной неоконченной новелле Кафки «Егерь Гракх», где некий егерь уже не первую сотню лет дрейфует на странной барке, зависшей между этим светом и тем. И каждый день ровно в полдень к нему входит Юлия, жена шкипера, и ставит у его изголовья напиток той страны, над которой они проплывают. В чем моя вина, думает егерь, и не находит ее. Может, это миг невнимательности Капитана, думает он, ведь бывает и так: легкий поворот руля — мы и не заметили его — а вся жизнь уже на другом пути. И вот герой романа всё больше задумывается об этом егере, отчасти отождествляя себя с ним, а любушку — с этой Юлией. Но что значит «отчасти»? Легкий поворот руля…

Е.М.: А я вот все ждала, что Вы вдруг скажете: может, хватит вводить в заблуждение читателя и сказать, наконец, о каком счастье идет речь? Не о том ведь, о каком он, читатель, вероятно, думает?

С.С.: Да, вряд ли это счастье имеет отношение к той «легкости необычайной» и прекрасности, куда ни плюнь. Да и к пресловутой «полноте чувств», о которой страшно подумать, если приблизить взгляд.

Трудный вопрос, может быть, самый трудный. Платон говорил: прекрасное трудно. А исихасты молчат о Боге. Но здесь речь о мире. Только не о том, в котором мы обустроились. А о том, который не подпускает к себе человека. Да и с человеком что-то должно произойти, чтобы началось это сближение, тихое незримое проламывание друг в друга. С немыслимым расширением, когда «видно во все концы света», когда все возможно. Может быть, сумма лучших страниц книги как-то смогла об этом сказать. Особенно там, где эти двое в джунглях. Не случайно ведь, едва ли не пол книги они находятся там. Но ведь опять же — не о джунглях речь, как и не о расхожем счастье. Наверное, ближе всего это к раю Адама, но не лубочного, а первых реальных дней творенья, когда еще не просохли ни воля, ни время. Когда ты вдруг выходишь к такой степени открытости и близости с миром, какая тебе и не снилась еще вчера, когда ты был «человеком». И в этом счастье не нега благости, а натянутая тетива. И предельная концентрация всех твоих сил, которых бы никак не хватило, когда бы не было этой открытости свыше. И женщины рядом. Такой, с которой все это не то что делишь, но так и настолько, как, похоже, с людьми не бывает.

Нет, не так. А вот что. Мир стоит по горло в небытии. И, не будучи высвечен, выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем — в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лжесвидетельств — высветить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. Он — тот, кто был рядом с ней — тоже был наделен этим даром, хотя и иначе. И чудом было то, что их оказалось двое на этой линии отрыва, или — теперь уже скажем: счастья.

Е.М.: Так может, это книга любви? Только сказать о их чувстве друг к другу еще трудней, чем о счастье? А может, отчасти эта книга и не о людях даже?

С.С.: У нас ведь не только нет опыта письма об этом, но и ракурса чтения. Всё — «слишком человеческое». Где-то в романе он говорит с ней об этом, о джунглях, и она отвечает ему: «Может быть, дело в том, что те, кто живет этим взглядом, не пишут, а те, кто пишут, не живут». Похоже на правду. Но не всю. Вторая из трех частей книги называется «Чандра», в ней нет ни его, ни ее, есть тигрица и мир — ее глазами. Вернее, попытка приблизиться к ее глазам — изнутри.

Е.М.: Сейчас, после долго перерыва Вы вернулись к стихам. В них чувствуется какое-то другое качество. Спокойной сдержанной силы, прозрачности, ясности. Даже в метрике — едва ли не классической «пушкинской». Что-то изменилось?

С.С.: Да, вернулся — нежданно, после долгого перерыва. Хотя — как сказать: ведь этот «перерыв» был заполнен романом — стихотворением длиной в семь лет. Так что из поэзии я никуда и не уходил. А в отношении прозрачности, ясности… Ну во-первых, они разные, эти стихи, их ведь в этом «болдинском» мешке — страшно сказать — оказалось за несколько месяцев около семидесяти. Не думаю, что они так уж просты, другое дело, что, возможно, ушло лишнее — вся эта подтанцовка молодости и фокусы из рукава. Ну и, может быть, осень… зрения, хотя лучше бы — бабье лето.

Е.М.: Некоторые из этих текстов можно послушать на Ютюб и на Облаках.

С.С.: В этом году, 25 лет спустя после наших совместных киевских перформансов с Er. J. Orchestra (в те времена — Эр. Джаз), мы встретились и записали два студийных альбома «Ее имена» (тексты разных лет) и «Ее имена-2» (тексты нынешнего года). Кажется, этот странный опыт нельзя назвать даже импровизацией: ни я не имел ни малейшего представления о том, как и куда направится музыка, ни музыканты — о том, что и как я буду читать; все происходило спонтанно, вслепую, по-живому и без перезаписей.

«Цена свободы — изгнанье»

Пиши-читай, 2015
Беседовала Елена Серебрякова

— Сергей, что Вы читали в юности? На каких авторах «выросли». Кто были Ваши любимые герои? Насколько была в почёте литература в Вашей семье? Если можно, расскажите про Ваших родителей.

— Когда отец повёл меня шестилетнего на собеседование к директору школы, чтобы сдать туда на год раньше, по пути он всё пытался меня увещевать: только прошу тебя, не читай Блейка, Бёрнса и т.п., и умоляю, ради бога, не голоси дурным голосом свою бесконечную песню про осла. Я слушал и кивал. Кстати, потом, в школьной характеристике, у меня так и было написано: «Внимательно слушает советы старших и никогда им не следует». «Ну что, мальчик, какой стишок ты нам прочтёшь?» — Улыбнулась директриса, поправляя букли. «Во-первых, тётя, не стишок, — сказал я, — а стихотворение. Джон Мейсфилд, перевод Маршака. Морская лихорадка». И начал (надо сказать, что «с» и «ц» я не выговаривал):

Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода.
Мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда,
И песни ветров, и штурвала толчки, и белого паруса дрожь,
И серый, туманный рассвет над водой, которого жадно ждёшь.
Опять меня тянет в море, и каждый пенный прибой
Морских валов, как древний зов, влечёт меня за собой.
Мне нужен только ветреный день, в седых облаках небосклон,

Летящие брызги, и пены клочки, и чайки тревожный стон.
Опять меня тянет в море, в бродячий цыганский быт,
Который знает и чайка морей, и вечно кочующий кит.
Мне острая, крепкая шутка нужна товарищей по кораблю
И мерные взмахи койки моей, где я после вахты сплю.

«Тааак, — сказала директриса, — а что ты ещё можешь?»

И тут я, обернувшись на отца, грянул во всю душераздирающую: «Мы купили ишака — иии-а! — за четыре пятака — иии-а!..» Ария эта не лапидарная, где-то на полчаса, и отец уволок меня из кабинета. В школу меня в тот год так и не приняли. Но, оглядываясь, думаю, в жизни моей уже тогда всё определилось: корабль и осел.

— И бродячий цыганский быт?

— Да, и паруса дрожь. Мне было семь, когда родители развелись. Имущество — а кроме книг у нас ничего и не было — они поделили так: маме — стихи, отцу — проза. И вселенная раскололась на два мира, между которыми тёк Днепр. С тех пор и до своих семнадцати я ходил с одного берега на другой, пытаясь собой склеить эти берега. Уронили счастье, думали, что небьющееся оно. Или думал он, что она на лету подхватит, а она — что он. Десять лет ушло у них (создавших — нелепо, едва ль не в отместку друг другу — свои, чуждые себе, семьи) на то, чтобы снова встретиться, взглянуть в глаза и не расставаться с не пор уже никогда, оставаясь при этом на чужбине своих новых семей…

А когда мама меня вынашивала в какой-то тьмутаракани на херсонской бахче, а отец дожидался её в Киеве, писал прозу, подрабатывая в подённой газетёнке, она слала ему письма: мол, не волнуйся, примеряя на себя будущие доспехи мужа и отца, мы с мальчиком справимся, он, хотя и света ещё не видел, но, кажется, понимает, что главное — это быть в гармонии со своим замыслом, предназначением, а это значит — пиши и не волнуйся о нас; будешь ты счастлив в творчестве, будем и мы.

Жили мы в коммуналке, в одной комнате, меня привязывали к кроватке (потому что я всё время куда-то бурно мчался во сне и падал, но не останавливался) и загораживали ширмой от света. Но была щель, в которую я подглядывал, как они полуночничали со стихами и разговорами, и однажды (мне было пять) я услышал, как мама говорит, отложив книгу: «Шаром у нас покати, одно яйцо осталось, мальчика завтра нечем кормить». На следующий день я сбежал из садика и вернулся уже в темноте с оттопыренной пазухой и гордо водрузил на стол несколько лебединых яиц, каким-то образом выкраденных мной в зоопарке. Когда я родился, отец ради семьи пожертвовал литературой, творческой свободой. Совместить то и другое по тем временам он счёл невозможным. Может, отчасти ещё и потому, что сам был детдомовским, отданным родителями в уральский детдом и не забранным оттуда после войны. Этот детдомовский мальчик, взяв за руку, вёл его через всю жизнь.

— Ваш отец писал прозу?

— Да, продолжал писать до конца своих дней, но уже в стол. А тогда, будучи окрылён рекомендацией Юрия Нагибина в Литинститут, мучительно решал… и остался с нами в Киеве. Между ними — отцом и мамой, на двух берегах (и не на одном из них) — я и рос. Если сложить все наши с отцом прогулки (а мы так увлечённо и счастливо спорили, что не замечали всякий раз ни времени, ни пути, оказываясь на чёрт знает каком краю города), если их сложить — наверное, мы обошли с ним уже вокруг света. А мама долгие годы была в тени. Вернее, мы в тени, собственной. Потому что отец был человек лунный, а мама солнечный, боженька её поцеловал — так воздушно, как нам и не снилось.

— Вы говорите «был». Ваши родители ещё живы?

— Маме сейчас 82, живёт она в Мюнхене, куда, спустя годы, затосковав, переехал и отец, оставив семью. Перед смертью он успел написать краткую книгу — о своей жизни — «Дай оглянусь». Ушёл во сне, в клинике, в предгорьях Альп, так и оставив нас с мучительной загадкой об обстоятельствах своего ухода. Мама — совсем недавно — без семи оперированных органов, в состоянии, при котором обычно вызывают скорую, садится в самолёт и летит ко мне в Индию, прихватив в дорогу потрёпанный томик Набокова.

Вот сейчас подумал, что тот «раздел имущества» на стихи и прозу, говоря полушутя, всё же сказался на мне: на моих попытках привести распавшееся к единому — поэзию и прозу — к их изначальной целостности.

— А родители отца и мамы — застали ли Вы их?

— Отец прервал связь со своими родителями ещё в детстве, после того как они от него отказались и нескольких его попыток с ними встретиться. А бабушка (по маминой линии) — несбывшаяся актриса нервной поздней красоты — работала врачом, вышла замуж, не заметив этого, как выходят на минутный перрон полустанка, и прожила с ним, с моим дедом, до своей смерти, так и не разглядев, по сути, кто перед ней. Да и вообще, не думаю, что кто-нибудь его разглядел. Сажали его с частотой бравших город — то петлюровцы, то красные, то белые, то синие… Потом, служа в паровозном депо Калуги, он гонял чаи с Циолковским, прошёл войну сапёром, ни словом никогда не обмолвился об этом, только вернулся лысым, со всё теми же осенними и озорными глазами, как у Пикассо. А его родители (мать была первой красавицей Польши) держали пароход в Белоруссии, назвав этот пароход в честь сына — Лео. Как я, спустя век, назвал своего сына, зачатого в индийских джунглях, в честь деда — Лёня.

— Как Вы думаете, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов — они уже написали «всё», или золотой фонд русской классики всё-таки ещё должен и будет пополняться?

— Пока жив язык, «всё» не может быть написано. Хотя бы потому, что движутся, изменяясь — и ландшафт языка, и картина мира. И это всегда творческий вызов. Другое

дело — кто, как и когда этот вызов способен принять. Возможно, есть — как история состоявшейся литературы — история и «пропущенных» вызовов.

— Какой из Ваших романов Вы считаете самым сильным? Как он у Вас «родился»?

— Если иметь в виду тот, который писал семь лет и, похоже, все сорок шёл к нему, тот, в который я вложил, кажется, всё, что могу и значу, и с которым я утратил всё, кем я был и что имел — это «Адамов мост». И как преддверье к нему — роман «Аморт», который впоследствии я переписал, сократив до рассказа. Если Суд существует (во что я не верю), и там будут что-то взвешивать, то, думаю, именно это, остальное — обёртка, начиная с «я». Хотя мир шутит человеком, и бог его знает, какой оттуда видится наша жизнь с её мнимыми ценностями.

О том, как «родился» этот роман (который не совсем роман — никаких признаков, традиционно присущих этому жанру, в нём нет, или почти нет), я уже не раз говорил в интервью. О замысле — написать книгу о счастье. Не просто «о», но и самим этим чувством написанную. И чтобы все слова в ней светились от этой впервые дарованной им возможности. Не странно ли, что нет у людей такой книги? Не странно. По известным причинам. Дарованное отнимается и только тогда становится ощутимым — и в жизни, и в искусстве. Но и помимо этого: у чистого счастья ведь и слов нет — как, чем оно может быть написано? А если бы случилось невозможное, и такая книга была бы написана (была, случилось, почти), кто читатель такой книги? Не может его быть. Счастью не сочувствуют, не сопереживают. Это как с близостью, она меж двумя, её не разделишь с третьим, иначе это уже называется по-другому. А счастье, близость с ним — и того невыразимей. Тем не менее, книга была написана. Почти. Потому что жизнь заглядывала через плечо по мере письма и, себе на уме, не стояла на месте. Вовлекая и пишущего, и написанное в череду — кто бы подумать мог, каких превращений. И книга рая постепенно превращалась в книгу изгнанья.

Герой романа оказывается перед тем же выбором, перед которым стоял отец при моём появлении на свет. Выбором между двумя жертвами. И тень отца стоит рядом с героем. И ещё сильнее и очевиднее стоит в нём самом — как сыновье чувство второй попытки несбывшейся судьбы отца. И он мучительно не может сделать этот выбор, находясь ровно посередине между этими двумя жертвами. И видит, как ломаются корабли, поднятые этой волной, пришедшейся ровно посередине. И как исчезают в пучине: точка, вспененная воронка. Равные жертвы — ровно посередине сердца, ума, чувства судьбы. И он делает шаг — тот, где цена свободы — изгнанье.

— О чём же эта книга — о счастье? О любви? О свободе, о выборе? Об их цене?

— Меньше всего этот роман обращён к досужему вопросу «о чём?». Меньше всего и ответим: о странствии по Индии (и не только) двух любящих друг друга людей — мужчины и женщины — становящихся четырьмя и не одним из них.

— А что в романе не автобиографично?

— Ровно посередине книги есть глава «Чандра», своего рода вставная повесть, которая прерывает течение романа, являясь как бы вторым дном его, и в то же время — окном, глядя из которого роман предстаёт совсем в другом свете и с другими ключами прочтения. В этой повести нет ни его, ни её, ни их странствия, ни всего того мира и чувств, и главное, речи, к которым мы привыкли, глядя на происходящее их глазами. Более того, я бы сказал, что из этого окна мы смотрим вообще не человечьими глазами. А глазами тигрицы, живущей в джунглях, и её тигриного рода. Точнее, это попытка максимально приблизиться к этому другому экзистенциальному опыту. Но как об этом говорить, если нет ни традиции, ни текстов, создающих хоть какое-то поле восприятия? Ни опыта письма, ни опыта чтения. Это ведь не про то, о чём Киплинг-Пришвин-Даррелл и др., не об аллегориях и антропологических проекциях на мир дикой природы. Вот Хайдеггер говорит, что мы слишком рано приходим к богу и слишком поздно к бытию. Хотя, думаю, у него это философско умозрительное, и к реальному личному опыту приближения к миру (природе), который давно уже сторонится человека и с которым у нас уже почти никакой связи, отношения не имеет. Как «никакой связи», изумляется человек, я её люблю и чувствую. Ну да, ну да… Но — «не то, что мните вы, природа». Так вот, я бы сказал, что эта повесть — попытка такого «другого» взгляда, глазами тигрицы Чандры. Хотя часть повести всё же связана с людьми — индусами и той Индией, которая сокрыта от взора пришлых, в том числе и от этих двоих, которые, странствуя по этой земле, давно уже перестали быть для неё чужими. Они, эти двое, и сейчас там, во взгляде этой тигрицы, они и сталкивались с ней, и чудом остались живы, но не знают всей той истории, в которую невольно вовлечены. Эта история видна лишь читателю, которому открыты оба плана романа. Причём сквозь этот второй план (Чандру) роман и наводится на последнюю резкость. В этой повести, помимо тигрицы, действуют несколько человек, главные из которых — браконьер Джоши (в определённом смысле альтер-эго героя романа, они даже кратко, но не случайно, встречаются друг с другом) и отшельник, в пещере которого на краю джунглей ночуют эти двое, мужчина и женщина, в опустевшей после его странной смерти пещере, где недолгое время с отшельником жил и Джоши с двумя тигренками — сестрой и братом той самой Чандры.

— То есть, за исключением этой вставной повести, повествование в романе линейное: герои путешествуют по Индии…

— Нет, не совсем. Главы «рая» в романе чередуются с главами «изгнанья», и в этих последних герой как-то задумывается над маленькой неоконченной новеллой Кафки «Егерь Гракх» — о егере, застрявшем между этим светом и тем на некой барке — и незаметно начинает всё больше отождествлять себя с ним. Как же всё это случилось, оглядывается герой на свою жизнь, и почему я здесь, на этой барке, и кто эта женщина с чертами той, с которой мы были так счастливы? Как же это случилось, спрашивает себя Джоши, оказавшись в том же лесу, потеряв брата, жену, глядя на всю свою сломанную жизнь сквозь пелену непонимания — когда случилось это, где? И оба они — и Джоши, и герой отражаются в глазах тигрицы с её сломанной жизнью. В чём моя вина, спрашивает себя егерь, не первую сотню лет болтаясь между мирами, и не находит её. Лёгкий поворот руля, шепчет егерь, мир невнимательности Капитана, притяжение какой-то дивной родины, и вот ты уже не там и не тот, кем был, и барка твоя дрейфует в нижних пределах смерти.

— Во время работы над «Адамовым мостом» ориентировались ли Вы на какие-то литературные образцы?

— Сознательно — нет. А неосознанно — кто ж это знает? Вот в рецензиях говорят о Саше Соколове, о прозе Мандельштама, о том же Джойсе, о Гоголе, о Сосноре… О Даррелле (не том, которой про животных, а об авторе «Александрийского квартета»). Вообще писалась эта книга, скорее, как пишется стихотворение — интуитивно, без плана, ощупью от слова к слову.

— Кто (или что) вообще видится Вам наиболее значительным в литературе? — не обязательно в современной и русской — в литературе вообще. И чего, напротив, Вам в современной русской литературе не хватает? Каким Вы видите её будущее?

— Наиболее значительным сейчас — истощение. Хотя, вот уж сколько вздыхали по этому поводу в XX веке — а оказалось, одном из вершинных в литературе. А Пушкин в то время, которое мы называем золотым веком, пишет статью «О ничтожестве литературы русской». И, может быть, если уж говорить об истощении, то, наверное, скорее, не письма, а чтения, и шире — восприятия. Писатели есть и будут, и это всегда одиночки, а вот читательская аудитория, её настройки, похоже, существенно меняются в сторону понижения.

Не хватает — неизменного: единичности и обоюдной любви к языку. И безумия на этом пути. Но что значит «не хватает»? Это питает любую эпоху. А будущее — всё тот же Адам, дающий имена, каким бы изношенным мир ни казался.

— То, что Вы живёте по преимуществу вне России, даёт ли Вам некоторое преимущество в видении здешних литературных процессов? — если, конечно, они Вас вообще интересуют.

— Процессы, признаться, меня как-то все меньше интересуют, как и всё обобщённое, коллективное. Есть единичные проявления божьего дара. И прорывы к порождению новых миров. Как из недавних и последних — созданное Алёшей Парщиковым. И сейчас, накануне пятилетия со времени его ухода, где-то там, на том небосклоне, звезда его только ещё разгорается между тремя Николами — Кузанским, Гоголем и Тесла.

— Как Вы относитесь к ненормативной лексике в литературе?

— Давайте я расскажу Вам о том, чем сейчас занят. Есть, как Вы, наверное, знаете, скандально известные письма Джойса к его жене Норе Барнакл. Речь идёт об их пресловутой переписке, где они договорились поддерживать физическую близость — в открытую, прямо, находясь на вынужденном расстоянии. Письма Норы утрачены. Письма Джойса (около десятка, почти ежедневных) сохранились. У нас они не переведены. И не только потому, что изобилуют ненормативной лексикой (которую на многие языки, в отличие от русского, перевести можно, находя приемлемые эквиваленты), но и, прежде всего, потому, что они целиком находятся на том поле, которое у нас (в литературе) по сей

день вызывает у большинства читателей ханжескую настороженность. И если на многих других полях наша литература была чуть ли не «впереди планеты всей», то здесь она, за редкими исключениями, продолжает сохранять эту чопорную мину старой девы. Так вот, в целом письма эти до краёв наполнены «похотью», «грязью», «спермой», «сексуальной экспансией самца» и — безудержной любовью. Кавычки можно было бы снять, если бы в нашей (и не только) традиции существовало обжитое словом (литературой) пространство этой темы. Не менее важной, чем бог, например, или смерть.

Да, близость по природе своей сторонится слов. Иначе — куклы на простынях, а бог в окно вышел. Письма Джойса даже спустя столетие с сексуальными и прочими революциями вызывают шок у более-менее целомудренных, отторжение — у закалённых и неуютное приятие у заинтересованных. Если бы за этими письмами не стояла фигура автора «Улисса», возможно, всё это сильно смещалось бы в сторону порно, хотя и особого рода. Ситуация непростая. С одной стороны, выволакивать на свет интимную частную переписку — удел «жёлтой» прессы и шоу-бизнеса (как, например, недавняя продажа некоторых из этих писем на Сотсби за полмиллиона долларов), и человеческому достоинству тут нечего делать. С другой, если снять «накипь», в этих письмах есть вызов — творческий. И обеспечивается он не только темой, языком, в собственном смысле письмом, но и, не в меньше мере, самим Джойсом, этой Вавилонской башней литературы, писателем, который (как по-своему Данте, Шекспир или Гомер) в течение своей недолгой жизни сделал то, на что нужны столетия, точнее, не измеримое временем. Понятно (мне), что переводить эти письма прямо и буквально не имело смысла. Автор «Улисса» в них вынесен за скобку, остаётся просто Джим, могучий и слабый, самец, страстно и «грязно» берущий свою возлюбленную. Я для этих «не-переводов» безотчётно выбрал зыбкую нетипичную траекторию — провести текст между тремя «гравитационными полями»: письмами, «Улиссом» и собственным восприятием. Стараясь удерживаться на линии серединного напряжения между ними. В пользу такого подхода: Нора — Молли в «Улиссе» Джойса. Примерно по такому же пути переноса с расширением поля попробовал двинуться и я, только не с двумя, а с тремя фигурами. Или, иначе говоря, фигурой Молли в данном случае становятся сами письма, перевоссоздаваемые в русском языке на пару с Джойсом. Я понимаю, что многое в этих моих опытах может вызвать неприятие, отторжение и пр. И этическое, и эстетическое. Тому есть причины, во многом лежащие за пределами самих текстов. Что ж, такова ситуация — да, неоднозначная. Для меня тоже. Покамест я опубликовал несколько переводов в фейсбуке, любопытная реакция, хотя в общем предсказуемая. С изданием их тоже, наверное, будет история — у нас ведь, похоже, не густо с журналами, адекватными таким текстам. А что касается ненормативной лексики, я в этих переложениях не употребил ни одного нецензурного слова, найдя в русском языке возможности обойтись без них.

— Каково, по-Вашему, будущее России, учитывая её прошлое и настоящее? Какая идея сегодня могла бы стать для неё национальной?

— Избави бог нас уже от этих «национальных идей» и прочих монстров пафоса, засевающих поля будущего костьми настоящего. Пора бы спешиться в «сокровенного» человека, в нормальную частную жизнь.

— Можно ли нынче «прокормиться» одной литературой? Обеспечивает ли она Вам достойную жизнь?

— Литература — если мы о творчестве, а не о подённом ремесле — не кормит и не обеспечивает. Она, как сказал Пастернак, похожа на круженье десятка мельниц на краю голого поля в чёрный, голодный год.

— Должен ли писатель иметь гражданскую позицию? А отстаивать её?

— Думаю, нет. И не только гражданскую, но и какую бы то ни было. Может, но не должен. Он дух, джин лампы, и повелитель у него один — дар речи.

«Мы себе не равны никогда»

Rara-Avis, Открытая критика. 2016.
Беседовал Александр Чанцев

— Вашу стилистически изысканную прозу, особенно «Адамов мост», сравнивают с письмом Саши Соколова. А кто для вас образец стиля, то высшее, что заставляет стремиться к себе?

— Мне кажется, что «образец стиля» (это не стиль, а другое, но к этому мы еще вернемся) находится для меня вообще не в литературе, и шире — не в искусстве. Это поле вторичное. Но более доступное, внятное. Чем жизнь. И тяготенье к образцам на этом поле вполне естественно для юности. Хотя и там — лучше, наверное, когда это собирается не в одной точке, не в одном имени (не сотвори кумира). А потом, когда это пройдено и остаешься один, начинается (или не начинается) путь к тому «высшему», о котором вы спрашиваете. Я имею в виду опыт существования живой (и неживой) материи. То есть попросту — жизнь. Ту тайну, которую Трисмегист ставил над Богом. И эти «образцы» повсюду: между огнем и рукой, цветком и взглядом, но непроглядней и чище — уже без взгляда и руки. Не мимесис, не подражание жизни, а опыт близости, опыт недостижимого становления в ней. И не сказать, что все это не «заставляло стремиться к себе» в молодости, но заслонялось более доступным, ведь «близь ближайшего» (Хайдеггер) дается труднее всего. И вот, если на этом пути приходит то, что мы называем зрелостью, начинают проступать отношения с тем, что, казалось, было всегда рядом и очевидным, но оказалось, стояло к тебе спиной или вполоборота. Открывается опыт чуткости к внесловесному и во многом нечеловеческому. Но оно уже не находится вне тебя, это и есть ты. И не ты. И тут нет кумиров и образцов, каждый и каждое занято своей работой, вы соседи по опыту жизни. И единственное (конечно, не только), что не дает тебе дойти до конца в этой чуткости — речь. Но и без нее — ближе не подойти. То есть не подойти так, чтобы при этом не утратить из виду и предмет, и себя. Понятно ли я говорю? Когда распускается цветок, за этим стоит не «стиль». Когда чайханщик в Индии «пранит» молоко, переливая его из чашки в чашку на расстоянии разведенных рук и при этом глядит на восходящее солнце, и весь там и не там, — это не «стиль». А тысячелетия

безотчетной божьей работенки. И узоры эти ткутся на такой неизъяснимой скорости, что речь по сравнению с ними — недвижность и немота, и ничего ей, кроме человека, казалось бы, не остается. Казалось бы... Но и его нет. С этого и начинается письмо. Как сказано в упанишадах: дыхание, разлитое по телу, — речь. Потому ее произносят, не вдыхая и не выдыхая.

— Кроме литературы, вы занимаетесь живописью и фотографией. Это тоже способы воплотить опыт внетелесного, приближения и выражения внесловесного? Просто другие способы — или же у них, возможно, иные задача и отдача?

— У меня в жизни было четыре периода работы с... ну, скажем пока, с «визуальным», за неимением лучшего. Глядя сейчас, в обратной перспективе, я думаю, главным был первый — в молодости — редкий, ошеломляющий и имевший самые глубокие, не до конца мной и теперь осознаваемые последствия. В конце 70-х, начале 80-х я работал художником-реставратором монументальной живописи. Нас было всего-то несколько бригад по 5–7 человек в каждой — на всю Украину, на тысячи церквей и монастырей. Представьте себе, что после советской школы (которую я мало посещал, завееваясь в странствия по стране) вы попадаете в Почаевскую Лавру, где живете и работаете несколько лет. Где стоите под куполом в ночи у зрачка Богоматери, в тиши, восполняя утраты в этом зрачке, притом что глаз ее немногим меньше, чем вы целиком. Я застал еще старых мастеров, передававших нам опыт. Не опыт живописи и даже не опыт реставрации. Это опыт работы со временем, его палимпсестом, окнами в нем, опыт чуткости в отношении «другого» и места (уместности) своего «я». Об этом же мы говорили с отцом Валерием, например, старцем, в его келье, когда наглядевшись на звезды в запретный телескоп, тайно хранимый им под кроватью, сидели у светающего окна. Это было в те годы, когда нам запрещалось даже в разговор вступать с монахами. Меня не раз тогда увольняли... Потом я работал с фресками Софии Киевской, в Печерской Лавре и других храмах. После, уже частным образом, в течение нескольких лет расписывал церкви в глубинке. Это была моя первая (и последняя) работа. (Так и называлась моя первая публикация — «Я работаю», поэма. Это в те времена, когда слово «Бог» нельзя было напечатать, 1979 год.) Но, как я теперь понимаю, это, скорее, я был работой, надо мной она шла, про-из-водила меня. И не только в высоком, но и когда, травясь парами дихлорэтана, вкачиваемого в стены для укрепления кладки под живописью, спускался с лесов и блевал, обхватив руками дерево. И все это вместе взятое было даром судьбы, тогда еще мало осознаваемым опытом, но в дальнейшем, думаю, сильно сказавшимся — в том числе, и в письме.

А в середине 90-х, в Киеве, начался другой период — я затеял газету (негазету, коллекционное периодическое изделие) «Ковчег». С привлечением каллиграфии, рисунков «по-живому», со сложной партитурой ритма и соотношений текста и визуального ряда, с возвратом к тому, что во многом утрачено с приходом компьютера, но и не исключая его участия... Авторами в ней были люди из самых разных творческих областей, и по географии — от Японии до... всего света. Я помню, как в опустевшем в те годы Институте археологии, я смастерил ходули и ходил между разложенными на полу листами, чтобы видеть игру возможных комбинаций, и за окном в ночи шел снег, а из угла на меня глядела «верещагинская» горка черепов... Потом, перед 2000-ми, был третий период — меня угораздило задуматься о том, каким бы мог быть символический монумент рубежу тысячелетий, такая «роза ветров» мировой культуры, ее времен и пространств. И я, поначалу не очень всерьез, в одиночку втянулся в то, что несколько лет спустя, оставив за спиной километры чертежей, макетов, рисунков, стало архитектурным проектом металабиринта «Фигура времени». Но главное была не «одежка», а то, что

должно было происходить внутри с посетителями. Это было еще до современных компьютерных игр, и в реальности. Лабиринт этот (величиной с небольшой город) потом хотела воплотить Германия, но по финансовым соображениям «не потянула». Да и я особо не был огорчен, вряд ли он был бы воплощен в адекватном виде, а не превращен в какой-нибудь «диснейленд для взрослых».

А третий период — в начале 2000-х — уже собственно живопись, графика, фотография, выставки — персональные и групповые (более сотни, здесь, в Западной Европе). Но я эту деятельность свою не переоцениваю, хотя и делал лишь то и так, как хотел, без рыночных компромиссов. Другое дело, что на этом поле я себя чувствовал намного ограниченней — по возможностям и способностям — чем в письме. Но пережидал — как в творческом тылу — на этом поле я с благодарностью и интересом. В ожидании письма. Которое могло и прийти и не прийти. Тут как с индийскими поездами: не по расписанию, а когда на роду написано. Да и машинист может сойти с поезда и уйти в поля — побыть в созерцании... (Одернул себя: не преувеличил ли? Нет. Командир международного рейса, вырулив на взлетную полосу, покинул самолет и ушел домой — выспаться. Восемь часов пассажиры ждали его возвращения. Факт). Оно же — письмо — приходит не волевым усилием и не по вдохновенному желанию, а когда внутри всерьез меняется картина мира. И вот этот чудовищный, ворочающийся «gap» немоты между прежним, прожитым в речи (дарованным речью и отнятым ею), и еще бессловесным, новым, ищет становления в письме.

Ну вот, наговорил столько, а к вашему вопросу так и не подошел, наверно. «Бестелесному», говорите? Нет, мы ж не ангелы. Даже в крайних опытах приближений к «другому», мы не утрачиваем своих очертаний, и слава богу. В жизни хватает «нечеловеческого» и при этом вполне телесного, мы же занимаем лишь ничтожно малую его часть. Вот, например, ближайшее — животные. Я только что вернулся из Индии, где провел три месяца в джунглях. И вот это чувство леса, животных и шире — жизни (но оно приходит не сразу, а с опытом и лишь когда ты по-настоящему честно и открыто кладешь свою жизнь «на кон», всякий раз не зная, вернешься ли) — лучшее, что я испытывал там. Когда лес открывается тебе в той же мере. И звери подходят к тебе, просто сидящему у дерева, и заглядывают в лицо. И невольно думаешь: может, ты не совсем уже человек? Если такая близость. И камере, если уж о фотографиях, это тоже как-то передается. Далеко не всегда, но в какие-то минуты, в каких-то снимках — да.

— Вы несколько раз упоминали Индию, несколько раз были там, Индия присутствует в ваших книгах. Почему все же эта страна? Я буду тут немного «адвокатом дьявола» — и поездки к гуру в 60-е никому, кажется, не принесли просветления, и публика сейчас на Гоа собирается не всегда приятная...

— Мне кажется, Саша, уже из сказанного можно догадаться, что я, мягко говоря, во многом не совпадаю с теми, кто составляет 99%, ездящих в Индию по тем или иным причинам. Ни «лестницы просветления», ни какие-либо «достопримечательности», ни вообще места туристического пользования, а тем более уж Гоа вне поля моего интереса. Страсть моя светлая — одна: джунгли. И если бы в Индии не было бы ничего, кроме них, я бы, наверное, все равно туда отправлялся, и столько, сколько хватит жизни. Другое дело, что представить себе Индию без людей, дорог, без всей этой цыганской вселенной, которую я так люблю и настолько чувствую своей, родной, то есть просто домом, всё больше домом, чем где бы то ни было... да, это было бы лишь половиной счастья. Но я

говорю об индийской глубинке, часто находясь там, где пришлых либо отродясь не видели, либо не помнят когда. Я так много и на разные лады в последние 10 лет говорил и писал об Индии, что не уверен, стоит ли нам сейчас затевать этот непредсказуемо долгий разговор, который, возможно, съест всю нашу беседу. Лучше я расскажу, как все это начиналось.

12 лет назад у меня был короткий, но оставивший след на всю жизнь, роман с легкой прозрачной девочкой, сквозь которую плыли века, как облака, с австрийской герцогиней, слависткой, влюбленной в Грецию, жившей в стороне от мира, читая в подлиннике Гомера... Мы странно, даже как-то мистически сблизились, но отношения наши вскоре нежданно уткнулись в тупик. И мы решили бросить монетку — себя как монетку: легла на Индию. Ни я, ни она там прежде не были. Вернулись и разошлись. А Индия осталась. С обоими.

В ту поездку мы остановились в Ришикеше — еще относительно аутентичном в те годы. Там жил человек, с которым я был знаком прежде. Жил там уже 20 лет. Свами Амрит. Непростой, в несколько вавилонов. Но тем и интересен. Я писал о нем не раз — и в «Аморте», и в «Адамовом мосте». Была и отдельная книжка моих бесед с ним обо всем на свете — «Медитации у Ганги», в «Эксмо» выходила. Так вот вторая моя Индия началась с поездки с ним на юг, в библиотеку Акаши, где хранятся списки всех людских судеб. То есть хранятся они в Акаши — в том пространстве, которое Вернадский называл ноосферой. А в этих «библиотеках» ридеры (медиумы), считывают судьбы, переносят на пальмовые дощечки. Таких библиотек несколько в Индии. Когда-то была одна. Нострадамус, говорят, пользовался. Амрит ездит туда ежегодно, с тех пор, как получил там на руки свою судьбу. Приезжает, корректирует, есть такая садхана, практика работы с судьбой. Мне тоже там мою нашли и выдали... Хорошая история, да? Милые цыганские шалости. Трудный у меня был с ним разговор, жесткий, в храме Марса, всю ночь по кругу ходили по пустынной анфиладе вокруг бассейна. Ходили по кругу, как Запад с Востоком, непримиримо. Хорошо хоть друзьями расстались. И началась другая Индия, с джунглями, с тигриными тропами, с горными племенами, уже моя.

А насчет гуру и просветления... Не знаю, это не по моей части. Но думаю, вообще никакой опыт никому передать нельзя. Это как дактилоскопия, не передается. Да и само так называемое «просветление» (enlightment) — это что? Вот Сократ говорит: «Я не могу поверить, что двойка получается из сложения двух единиц, и судить не решаюсь о разделении единицы на два». Если это просветление, то такое мне по душе.

— Так получилось, наша беседа ходит пока по географическим дорогам. Вы родились в Киеве, в середине 90-х только переместились в Германию. Возможно ли в каком-то обозримом будущем разрешения конфликта, примирение Украины и России? Каким вообще вам видится будущее двух народов?

— Добавьте сюда и Крым, куда я переселился в конце 80-х, поменяв свою киевскую квартиру на Гурзуф и проведя там, наверное, одни из самых счастливых лет и до последних событий возвращаясь туда ежегодно. И Россию, Москву, которые на протяжении всей жизни были для меня частью внутреннего дома, такой же, как, по-своему, Киев и Крым. А потом, хотя и по-другому, Индия. Что ж тут скажешь? Это как тело, разорванное на равные части, по живому. Мое тело. Срастется ли это когда-нибудь? Да, наверно. И не такое срасталось. Я вот иногда вздрагиваю, уйдя в себя, затерявшись в мыслях, на тихих мюнхенских улочках, вздрагиваю от немецкой речи. Как в тех наших советских фильмах, когда немцы подходят к хате, заняв деревню. Где я? И вижу взгляд

моего деда, вернувшегося с войны с юным лицом старика и промолчавшего до конца своих дней. Да, срастется. Но, похоже, уже не при нашей жизни. И как я написал, хотя и по другому поводу: «Наломали дров? Будет нам обогреться на свете том».

— В вашей новой книге стихов, выходящей в «Новом литературном обозрении», есть о том, как ваш дед «чаевничал с Циолковским». Это же невыдуманный эпизод?

— Нет, невыдуманный. Мы ничтожно мало о нем знали, и уже не узнаем больше. Он очень молчаливо жил. И очень любил собак. Называл жену Бобик, а дочь (маму) — Джойка. И подолгу стоял у окна, порой заговариваясь на латыни, и потом тихо вздыхая: «О-хо-хо, скоро в космос лететь». Я помню, как мальчишкой приходил к нему по выходным на Банковую в Киеве, в коммуналку, и вторая жена его (на войне она была полковником медслужбы, а он сапером), цепко хватала меня за запястье, считая пульс, а потом дирижировала обедом, а он сидел, как всегда молчаливо, лишь улыбаясь откуда-то очень издалека. А когда она умерла, я переселился к нему, мне было уже за 20, и однажды, проходя мимо включенного телевизора, он обронил: «А, Константин Эдуардович...» Оказалось, служа в те годы в паровозном депо Калуги, он не раз заходил к нему на чай. Всю жизнь он переходил улицу не глядя на светофор. И был сбит на 82-м году автокраном, мчавшемся из Чернобыля. На опознании в морге, приоткрыв простынку, я увидел то же юное, чуть издалека улыбающееся лицо. Верней, только левую его сторону.

— Переходя к персонажам литературным, в вашей поэтической книге несколько раз поминается Кафка, персонаж, вряд ли ассоциирующийся у всех с поэзией. Почему именно он стал своеобразным героем книги?

— В моем случае эта граница между прозой и поэзией всегда была плавающей, если вообще была. В лучшие минуты письма, то и другое входило друг в друга, становясь единым, которому, казалось, подвластно то, что по отдельности им не достичь. В одной из рецензий на мой роман «Адамов мост» говорилось, что это стихотворение в 500 страниц. И я думаю, да, можно и так взглянуть. Но говоря «подвластно», я не имею виду, что удавалось. Да и новая книга стихов, о которой вы спрашиваете, свидетельствует о том, что я не только на этом пути, а вот нежданно после долгого перерыва вернулся к стихам.

Знаете, с возрастом круг внутренних сокровенных собеседников становится не таким широким. (Вот тема, вот по-настоящему важный вопрос — об обращенности, адресности. К кому-чему мы обращены внутренне, когда говорим, пишем, думаем. От этого «визави», от этой «настройки», зависит вся музыка твоих воплощений и в конечном счете судьба, и куда больше, чем, казалось бы, от тебя самого. Потому что мы не равны себе никогда).

И вот я задумался. Ведь трудно представить большего антипода мне, чем Кафка. Когда же он стал одним из этих немногих внутренних собеседников? Который ведь не обязательно отвечает, он может быть и окном, например, у которого стоишь в сумерках...

Странно, и, может быть, это субъективное ощущение, но Кафка, как, пожалуй, никто другой, не автор, не персонаж, не книги, не дневники, и даже не совсем человек. А нечто вместе взятое и в то же время то, что никогда не «взять». Нечем. Как местность, которая больше состояние, но и оно не здесь, при том что вот она — ближе сердца.

И письмо у него такое. «Так называемое сверхъестественное, находясь перед глазами, в центре кадра, никогда не в центре внимания. Не вынесено за рамку и не в размыве, оно — вот, в центре, и его нет. А что есть? Обстоятельства, церебральные нити, видимо, исходящие от этого центра. Видна траектория жертвы, виден узор паутины, видны места

разрывов и линии натяжения между жертвой и жертвенником. Бог очевиден, потому и незрим. Так, если смотришь на росчерки ласточки в небе, неба не видишь. Чудо — всегда здесь, оно открыто зрению, но — во второй экспозиции. Которая, если оттуда глядеть, — первая. Он оттуда и смотрит, а пишет отсюда». Это говорит главный герой «Адамового моста», который путешествует по Индии с любимой женщиной и время от времени читает Кафку, который все больше становится персонажем, вернее, все реальнее входит в их путешествие. А читает он очень странную новеллу, может быть, самую необычайную и глубокую у Кафки, к которой он возвращался много раз и так и не смог закончить, и неспроста. Называется «Егерь Гракх». Всего пара страничек. В которых речь идет о неком егере, который исправно служил, и все шло хорошо, пока он случайно не сорвался в пропасть и умер. И его, как водится, должны были перевезти на ту сторону реки, от живых к мертвым. Но вот этого-то и не случилось. То есть нельзя сказать, что не случилось совсем. Барка отчалила, но каким-то образом «зависла» и с тех пор дрейфует в небе, в нижних пределах смерти. На этой барке есть некий шкипер и его жена Юлия, которая всякий раз ставит у изголовья егеря напиток той страны, над которой они проплывают. Идут годы, века, порой барка причаливает к какому-нибудь городку и по обоюдной предварительной договоренности происходит очередной разговор. Например, как на этот раз — с бургомистром Ривы. Разговор о том, жив ли он или мертв, и что же произошло, и почему именно с ним, и главное — чья в этом вина. Знаете, как это бывает, вдруг говорит егерь, миг невнимательности Капитана, притяжение какой-то дивной родины, легкий поворот руля... и всё. И вы уже на этой барке между этим светом и тем. И вот с героями книги, счастливыми и ладными, увлеченными путешествием, исподволь что-то произошло, как с тем егерем, и вглядываясь, он все больше находит себя на некой барке, и любимая женщина двоится, спускаясь к нему в трюм — то собой, то Юлией. И что-то происходит с книгой и автором. Из книги счастья, из, может быть, первой на земле попытки книги счастья, она все больше превращается в барку, плывущую в нижних пределах смерти, хотя и на виду и в отсветах «небесных врат». Нет, никакой шизофрении, герой прекрасно понимает, кто он и где. И она понимает. И книга, и автор. И ничего не изменить, и не найти вины. Легкий поворот руля. Нет ответов, и не будет.

Борхес говорит: сюжетов всего четыре. На сцене — да, четыре. А за кулисой — один: без лица, Капитан. Не случайно Кафка не смог завершить эту новеллу.

Я говорю к тому, что не вчера и не вдруг в этой новой моей книге стихов возник взгляд в сторону Кафки. Хотя и другой, по-другому. Где они, например, с Лермонтовым в две смены работают на том свете в цветочной теплице, и маленькая «беатриче» пробивается сквозь асфальт.

— Как раз хотел спросить вас о «сокровенных собеседниках», чей круг становится все уже. Какие книги вы читаете сейчас? Какие — перечитываете постоянно? Кого, возможно, порекомендуете из недавних открытий?

— Боюсь, Саша, разочарую вас. Этот круг все менее касается литературы и искусства. В последние лет десять, мне кажется, самое сильное впечатление вызывают не они, а фильмы BBC, например, о дикой природе, о микромире, о том, где мы живем и что было еще вчера сокрыто от человека. И я думаю, для видящих, именно здесь — не только в эстетическом, этическом, но и в антропологическом смысле в целом — открывается поле приращений (и превращений), в том числе, и для литературы. Если не поздно. Здесь сдвиг, здесь проступает новая карта человека в мире, а не в горизонтах геополитики и прочее, не умаляя их значения.

— Поэтому в поездках в Индию вы так часто фотографируете животных, так пишите о них в Фейсбуке... У вас в новой книге есть стихотворение — да и не одно — по которому вас можно «заподозрить» в симпатиях к буддизму.

В тюремном дворике души
гуляет разум.
Дыши-дыши,
не надышишься.

Ах как она застенчива, душа-
застеночек.
Бежать-бежать,
да не набегаешься.

А обернешься — ни добра, ни зла,
ни дворика.
Ах весна-весна,
руки за спину.

В недавнем фильме «Лобстер» людей, превращая в животных, спрашивали, кем именно они хотели бы стать. Если бы спросили вас, чтобы вы ответили?

— Прочел сейчас вашими глазами и подумал: да, действительно можно «заподозрить». Но я совершенно не там был, когда писал. Как, впрочем, и не в каких других «измах».

Фильм этот я не видел, а на вопрос этот давно себе ответил, хотя не думаю, что заслужил или заслужу стать этим неизъяснимым созданьем. Это голубые нильгау, самые крупные в Азии антилопы. Самцы в профиль, когда два их маленьких рога сливаются в один, похожи на средневековые изображения единорогов. Сейчас, в недавней Индии, мне удалось подойти к ним совсем близко, на расстоянье руки, и разговаривать... У меня было несколько текстов о них — и в стихах, и в прозе. Ну вот, чтобы долго не рассказывать, один, из этой новой книги, выходящей в этом году в «НЛО».

Нильгау, единорог,
дымчатый великан,
тело его плывет сквозь джунгли,
перебирая под собой
евангелистами,
оставляя следы двуперстий.
Он несет себя как сосуд,
как меха на просвет с голубым вином,
его шея почти исчезает в небе —
там, где маленькая голова ибн сини
оборачивается
из семи времен:
сумерки рая в глазах,
и в горло воткнутый полумесяц.
Он плывет меж сновидческими деревьями,
он целует их мочки ушные в сережках,

вглядываясь с исподу в рукописи листвы,
смешивая языки —
алые буквицы Рамаяны с зарослями Авесты.
Его маленькие женщины
в бежевых сорочках
держатся на виду, но поодаль,
обмахиваясь веером тревожного света.
Он чувствует их спиной,
они восходят по хребту
и гаснут на губах.
А когда встречаются двое,
они становятся на колени,
лицом к лицу,
и мерно чокаются лбами,
беседуя о девственницах.
А те стоят поодаль
и слушают,
как будто речь о них.

— У вас недавно вышла книга переводов — писем Джойса Норе. Я нигде не встречал до этого переводов, ничего не нашел — действительно никто и не пытался, не подступал к переводам? Только ли дело в не самом цензурном содержании — находясь в разлуке, Джойс с женой активно сублимировали в переписке — или же в общем равнодушии (русскоязычная биография Джойса вышла совсем недавно)...

— Я бы сказал, не совсем переводов и не совсем Джойса. При том, что и то и другое верно — построчное следование семи его скандально известным письмам. Но, как говорил Парщиков, называвший перевод динамикой двойничества и промежутка: буквальный подход здесь — протокольный кошмар. Особенно в случае с Джойсом, дошедшем «до конца английского», если не языка вообще. То есть для начала работы с Джойсом хорошо бы, как минимум находиться в соотносимой местности своего родного языка. Не говоря уж о вызове со стороны совершенной непереводимости содержания писем. При всем своем могуществе, русский здесь продолжает находится в крайне неловкой позе — между пошло застенчивыми эвфемизмами и матерщиной. Почти одновременно с моим (не)переводом в сети появился еще один, выполненный Татьяной Косоруковой и названный «Грязные письма», но это, скорее, подстрочник. Что же касается моей работы, я, как написано в предисловии, выбрал зыбкую траекторию — провести текст между тремя «гравитационными полями»: письмами, прозой Джойса и собственным восприятием. А в формальном отношении — переложение в нерегулярный стих, слегка осветлив джойсовскую тональность. Помимо предисловия и писем, в книге есть два моих текста — «Пула» и «Сны Триеста» о тех местах, где он в то время жил с Норой. Ну что сказать... я очень рад этой нежданной, изящно изданной книжке, даже больше. Надо же, благодаря Джойсу, язык русский наконец спел свою Песнь песней, в светлом упоенье. Шучу. А что касается «равнодушия», можно вспомнить Соснору: «В России всегда ненавидели поэтику. Верней, артистизм». К счастью, это не совсем так.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАЗРОЗНЕННОГО

Джойс, Нора

1. Пола

Сидит за столиком на веранде кафе «Уликс». Вдвое старше себя здешнего. Круглые очки, шляпа. Нога на ногу, трость на коленях. Табличка: писац Джойс.

Крохотная одутловатая официантка Мария с ограниченными возможностями в сопровождении голубого субтильного метрдотеля несет чашечку кофе. Они не знают, где жил писац.

Гуилья, 2, говорю. Головой покачивают — нет такой улицы, и не было никогда.
Старик подошел. Это там, в двух кварталах отсюда, где книжный теперь. И отходя: я так думаю.

Ни таблички, ни ориентира. Человек в красной майке на балконе, кариатиды под ним. Но мужские, с бородой, а вместо ног — хвосты. И руки — будто «семь сорок» танцуют. Кричу ему, перекрывая поток машин. Не понимает. Джойс? Писац? Исчезает, с женой возвращается. Нет, не знают таких.

120 домов, разбомбленных англо-американцами убредают из Пулы по зеленым холмам Истрии в направлении неизвестности. И там, прижавшись друг другу, спят. Как лошади. Лжесвидетели глядят сквозь щели покосившихся ставень на Форум, Арену, Марию Формозу, храм Августа, Капитолину. Над ними порт нависает с выкройкой островов на отлете. Плывут в небе, не сходя с места, сухогрузы, краны и паруса. Между ними — Ясон, Медея — беженцы в золотом руне. Колхи преследуют их. Колхи, затеявшие этот город. Жизнь — не Пула, не перейти. Пола — скажут венецианцы.

Джойса ищу я, дом его, где он с Норой жил, в 1904 сбежав из Дублина. Спрашиваю. Ни сном, ни духом.

В Париже они, в случайном отеле «Надежда», любовники, впервые наедине. Светлы наутро. У нее — лишь одно платье и шляпка, у него — костюм и трость. И ничего больше, кроме будущего.

Он спрашивает ее, насколько богата ее семья. Она смущается, понимая его превратно. Он — о готовности к лишениям.

У нее спальные формы, мягкие, утренние, чуть в тумане. Ей идет эта вуаль.

Годы спустя они вернутся в Париж, найдут тот маленький отель «Надежда», уже переименованный в «Дублин». Им нравятся эти знаки.

Рыба «ослик» на рынке, 30 кун. Ни чая, ни чайников, не изобретены. Но кофе чудесен, с пеночкой, как руно. И мальвазия. И — забыл как зовут — водочка на омеле. А потом под дождем обходить по кругу светящуюся в ночи Арену. Ни души. Лишь морось горит в проемах. И к морю спуститься, вот оно — в него скатываются падающие каштаны.

Ты еще здесь? — спрашивает сон, и задувает глаза сквозь окошко в крыше.

А корабль тем временем причаливает, трап под ногой пружинит, их встречают, он спускается с Норой под руку, а в другой — чемодан облезлый с бельем защемленным. Как эти дома в округе.

Они селятся на виа Гуилья — улице, которой нет.

Кухня — на третьем, удобства — выше. Холодно, ветер с моря. Он преподает в школе Берлица, пишет «Канун Дня Всех Святых», героиня — слабоумная прачка Мария, поющая арии ангельским голоском. Переименовывает рассказ: «Глина».

Нулевая улочка, запертая воротами, уходящая в холм, надпись: «Zerostrasse». Детская площадка с разбросанными по ней римскими колоннами. Девочка, стоящая на «мостике» посреди пустынной Арены. Мог бы ангел взять ее, как за ручку, и унести Колизей. Зачем, говорит Нора, ты переводишь столько бумаги, не по карману нам. Ее настораживает его способность составлять фразы разными способами и в непредсказуемом порядке. Она видит в этом некую угрозу возможностям понимания. И украдкой вздыхает о Париже, учит французский. Джим, шепчет ему по ночам, ну когда уже мы покинем эту дыру?

Сегодня я не ищу их, иду по кромке лесного мыса вдоль моря. Ярко-желтые, как осколки солнца, птицы мечутся в чаще. Белеют в сумраке новые брошенные унитазы — с чего бы?

Указатель: «Барка, постоялый двор», и деревце растет из лодки. Там шкипер со своей женой Юлией чертят план моего возвращения. С примечаниями на немецком. Этой дороги нет уже, прожита.

Он вглядывается в Нору, испытывая к ней антропологический интерес. Зима близится, нет печки, мерзнут, она беременеет, он выписывает литературу по эмбриологии, обеспокоен, они распишутся 19 лет спустя.

Переезжают к его сослуживцу по Берлицу — итальянцу Франчини, живут вчетвером, комнатка гостевая, чуть теплей, улица Медулинска, 7 (теперь 1).

Медулинска? — переспрашивает меня старик. Дайте подумать. Сел на придорожный столб, смолк, уронил голову.

Медулинска — там, говорит женщина, и налево потом. И рукой показывает направо. Темнеет уже, вот этот дом, он стоит на развязке дорог, все вокруг снесено, только он и остался. Вернее, не дом, а развалины. Одноэтажным был. Балки висят, проемы сквозят, лестница у стены — в никуда, в дыру в потолке.

А он немного даже поправился, усы отпустил. Пиджак и брюки от разных костюмов, трость в руке. Денди! Только зубы подводят, но починил — три, на которые денег хватило. И пианино арендовал, играет, поет вечерами. Берет уроки тосканского у Франчини в обмен на дублинский диалект. (Быть не может, изумлялся своим ошибкам, я учился у Данте! Ну да, говорит Франчини, он изъяснялся на мертвом языке, ставшем живым после присоединения к Вавилону местного волапюка этого захолустья).

Хожу по руинам, фотографирую. Кухонька, туалет… Старая кладка, пару веков, не меньше. Вот и герб уцелел над входом, едва различимый: лавка какого-то мясника, 1897… Значит, лавка, туши висят, а над ними — на бывшем втором — две комнаты, где ютятся они вчетвером. Может, я тут последний, кто это видит…

Нет, вон в проеме фигура, наблюдает за мной. Треники, куртка, калоши спортивные на зеленой шнуровке. Чем, говорит, помочь?

Маклером оказался. Здесь родился, на этой улице, живет за углом.

Нет, говорит, вряд ли, тут путаница с номерами.

Школа Берлица? Да, говорит, я продал ее в прошлом году — в частные руки. Будет гостиница. Подожди, сейчас позвоню жене, она по-английски лучше…

Через минуту вышла. Ива, — протянула руку, тоненькое запястье. Туфли-лодочки, платье-тельняшка в облипку.

Я и не сразу заметил: девочка у нее в животе. Только когда уже шли по улице и рассказывал о беременности Норы при переезде к Франчини на Медулинску. Сказал, и вдруг почему-то скользнул взглядом. Она улыбнулась, перехватив. Девочка.

Длинная унылая земля, пишет Джойс, населенная безграмотными славянами, носящими красные шапочки и колоссальные штаны. Но хорошо ему здесь, в этой «военно-морской Сибири».

Если что-то и сохранилось, говорит Ивика, муж Ивы, то скорее всего — вон тот розовый дом, там могли они жить, теперь это другая улица, а раньше была Медулинска, 7. До свиданья.

От них еще мейл придет наутро с выписками на хорватском. И что-то о светопредставлении некого местного Кристо — в полночь у моря.

В полночь, запруживая улицы, весь город на набережной — тысячи, с детьми на плечах, ждут, вглядываясь в сторону грузового порта. И вот они вдруг вспыхнули во тьме — портовые краны, протеи-иллюминаты, воздетые из пучин, меняют цвета, переливаясь, меняя кожу и пританцовывая, и что-то меж ними там дивное происходит, ископаемое, под тоненькою Луной, и Моцарт звучит над городом, над морем, над притихшей толпой. А за спиной — Арена, вслушивается воронкой. И где-то во тьме — остров Бриуни, и Тито объезжает владенья на своем слоне…

А наутро Франчини стучится в дверь: в городе, говорят, обнаружена шпионская сеть, распоряжение — всех иностранцев выселить в 24 часа. Они собирают вещи, переезжают в Триест. Мария, подрагивая заячьей губой, машет им вслед с веранды «Уликса».

2. Сны Триеста

Он говорит: в 1912 году Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке по приглашению княгини Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ приезжает в ее Дуинский замок под Триестом и начинает Элегии. Примерно в это же время Джеймс Августин Алоизиус Джойс, живя в Триесте, дописывает Портрет художника и, прогуливаясь со своим другом и учеником — Ароном Гектором Шмицем (Итало Звево), будущим прототипом Леопольда Блума, задумывает Улисс. Оба смотрят в один морской горизонт. Ни до, ни после за всю свою 2-тысячелетнюю историю этот странный греко-римско-австро-венгерско-славянский город, расположенный в регионе Фриули-Венеция-Джулия, не отмечен ничьим присутствием, кроме этих двоих.

Кому он говорит — ей? Нет ведь. Она лежит на широкой кровати, сбросив одежду на пол, в окне — гавань, куда завтра должен прийти корабль и забрать их из этого города — туда, на Мальту и дальше… Но никаких кораблей не предвидится: пустынный горизонт, моросящая пелена, кажется, здесь и не было кораблей никогда.

Она лежит за его спиной. Смотрит на него, прислушивается? Ноготочки стрижет? Кто эта женщина с маленькими предлогами легких ладоней, будто вода ушла, тихо так, с маленькими подлогами слов, слов, слов… без окна. Но не повернуть голову, не увидеть губ ее, хотя вот они, так близко, будто они его. Небыль идет на убыль. С нею. А с городом наоборот.

Не помню, он говорит, не оборачиваясь, чтобы слова мои были в таком недоумении и растерянности, как с ним. Разве он город? Дыра, глазок в этом открыточном погосте Европы, а куда смотрит и откуда — неизъяснимо.

Лежит, смотрит. Голая, как море. Как тот цветок, дикий. Да, моя маленькая Лилит. Да, Марина. Да, Молли, моя несравненная, любимая, моя ясноглазая испорченная школьница, будь хоть стервой, хоть возлюбленной, ты навсегда останешься моим чудесным диким цветком, вьющимся по изгороди — моим синим, напоенным дождем цветком. Да, он говорит, но что он помнит, чтобы говорить «да»?

Вот она, на остановке вошла, села рядом, неузнаваемая, но и голову не повернуть, запах такой, как из дачного сада, даже не запах такой, а путь к этому саду ночному в детстве. Они продрогли, номер в каком-то замке, она так легко предлагает ему раздеться, и он раздевается, пена, ванна… Повадка самки, когтящей нежность, незримую, у черты. Лишь ноздри, губы и взгляд прямой, но слегка косящий, меж «ты» и «Вы»…

Может, и ноготочки. Как эта зыбь морская в пелене сквозь промельки солнца. И эти окаменелые громады стоят в пелене, будто они без глаз, без рук, без чувств. Ни одного моложе ста. Может, и есть, но в платьях 19-го и ранее. Нет этих стекленеющих небоскребных големов — ни одного.

Да, корабль «Никогда», он и придет.

Или вот — будто полсотни Невских проспектов времен Набокова, он говорит, взялись за руки и гурьбой высыпали к… ба! Да тут море, Средиземное! И тут же забыли о нем. Пелена, морось, и не ждать корабль. Тссс… Спиной к морю стоят. Даже когда лицом — все равно спиной. Потому что они фигура, любовный многоугольник. Между Италией, Австро-Венгрией, Словенией…

Между. Между ее губ, ладоней, бедер. Между ее жизнями. Что он помнит? Сугробы пены, следы промоин — от взгляда? тела? ее руки? Стоит у края, одна рубаха на ней, белей того, во что он обряжен, и водит взглядом от пят до паха, и распускает его как пряжу. Но есть и третий, он что-то помнит, он там, вдали, но и между ними: мол, часа нет, как они знакомы, то есть мы. Он проходит мимо всех шести зачехленных чувств, он не видит себя во сне, и не понимает, чью с ним он делит судьбу. А с ней? — этой худенькой женщиной-мальчиком с этой колкой стернею волос, с этой жаркою дрожью запальчивой, с этим телом, сошедшим с колес… — чью судьбу?

Она лежит поперек кровати, на животе, подперев кулачками лицо. Ну что там, Джимми, мой Лео, ольховый мой Серджо, что ты там видишь, Стивен, кончился дождь, придет ли он, наш корабль?

Да, он думает, как цветок по изгороди, как повилика, он взбирается на гору с Далматинской площади, этот старый трамвай, а в нем — французский консул Стендаль, футурист Маринетти и психотерапевт Фрейд, говорящий им, что это не город, а воплощенье либидо — итальянского, женственного, божественного… Да, он думает, а город — там, внизу, в дымке: кондитерско-имперские дредноуты 5-этажных лепнин, щечка к щечке, но при этом делают вид, что никого рядом. Каждый — пуп! Расписной, со ставнями и непременно одним балконом — для торжественных выходов. Но никто не выходит. Как и у окон — ни души. Никто не живет в этих домах. Никто. Все окна темнят. Ну разве что одно-два на громаду светится, да и то, похоже, притворы. А люди — на улицах, в кафе, на площадях. Но — как в замедленной съемке. И ни одного туриста, нет пришлых. Кто же тогда живет в этом городе? Кто эти люди на улицах? Кто стоит за опущенными жалюзи нежилых окон? Например, по виа Армандо Диаз, 2, второй этаж. И вот они выходят из парадной: «Какой такой Джойс, — переспрашивают жильцы, — это наш дом, никаких писателей тут нет и не было». Над дверью — вывеска: «КАТАСТРОФА», а в витрине — старые радиоприемники.

Что он помнит? Отвернувшись к стене: как ботиночки те, нелюдимы… Нет ее. Лишь рубаха во тьме в этом городе-замке с отклеенным гримом. Нет ее, только тьма. И одними губами она ему: встань! И он из пены встает, и вся жизнь — как книга с рассыпанными листами — ни прочесть, ни собрать…

Не собрать, Блум, не собрать цветенье. Как один нескончаемый день — женщина, эти улочки в ней, пелена, корабль, который никогда не придет, цветок, вьющийся по ограде, эти деревья с пряным запахом, одурью ароматов, как в укромных уголках ее тела, которого нет здесь, как нет и деревьев. Как странно. Нет их здесь, в этом городе. Но ведь это не так. Они ниспадают древесным вавилоном с холмов и гор его окружающих, а в город — ни-ни. Но ведь это не так. Есть места. Есть места в твоем теле. Узкие улочки, вверх-вниз. И затмения. И дома-мальчики и деревья-девочки, но живут раздельно. Стриги-стриги ноготочки, крась — тем же матово красным, как там, в глубине лепестковой, укромной, дуй на них. Дуй маленькими незримыми словами, с улыбкой в сторону окна и его спины — голой, родной, незнакомой, как объятье без рук. Да, есть места и для смешанного проживания домов и деревьев, и уж там они тихо сходят с ума — как цветы по изгороди, до одури, до затмения.

До одури просветленья писать Навсикаю, полную, как говорит он, ладана, культа Девы Марии, жареных устриц, палитр художников, трепотни, околичностей и т.п., жить в съемной квартире с одиннадцатью домочадцами, донашивать башмаки сына, на два размера просторней, преподавать английский в школе Берлица, замирая с недвижным взглядом в окно и, возвращаясь в себя, диктовать слова, слова — без смысла, последовательности и метода, идти домой, но где он, дом, в этом городе, играющем им, как в наперсток, городе «увядающей элегантности», о котором — о, счастье! — забыла история, забыла — и об аргонавтах, и об Аттиле, о об Ангеле, возвестившем день Страшного Суда, жить здесь, и больше всего на свете трепетать от грозы, любить Пуччини, говорить на триестино — будущем языке Поминок, до одури обожать Нору, осыпаясь жаром от звериной нежности к ней, пробираться в комнате от кровати к кровати через гору черновиков, зачинать детей и не знать, куда положить их, называть Триест своей душой и бояться оставаться в нем, в ней, бродить от пивной к пивной по этому «левантийскому Дублину» с будущим Блумом мимо ранних базилик и руин Колизея неподалеку от сербского храма, напевать своим тенором по-русски, поджимать надмирные губы, писать Паунду, что, наверно, умрет этой тварной ночью в «Полярной

звезде» на Большом канале, где в дальнем углу все еще стоит это русое расстроенное пианино…

Да, Марина? Ах море, алое как огонь, и жасмин, и Гибралтар, где ты была девушкой и Горным цветком, и он целовал тебя под Мавританской стеной, и ты подумала: не все ли равно — он или другой, да?

Он оборачивается к ней: да? Может, сходим в Джованни? В то маленькое бистро за театром, где не протолкнуться от гомона, где кружка бочковой мальвазии стоит один евро, где снизываемая тесаком с туши пармская ветчина — три. Пойдем-пойдем, она тянет руки к нему, она оплетает ногами его бедра, она нашептывает ему пыл и печаль, возвращая ему себя как тайну, как жизнь, втягивая его в жаркое темное лоно своего имени… Нора, шепчет он, он Нооора… Спеленывая его мокрым волнующим маревом, она смеется, ей не нужен язык. Ее подмышки пахнут марихуаной. Сосочки ее — паиньки, те еще. И мальчишечьи бедра, и 35-й размер ноги. Она смеется, с этого начинается. А глаза монголки, глядящей в угли, и губы — те, что мучить и пить, и петь. Она смеется, снизу вверх тебя обживая. Маленькие ее кисти, как карты сибирских рек, а в ладонях — тишь, лето. Она крадется ими к тебе. Она вьется веретеном под тобой, как соболь, играя, прощаясь с жизнью. После близости с ней мир теряет свои очертанья, надевая что под руку. Вот окно в ее нижнем белье, а кровать ушла. Она мать. Она — ждать и море. Она случай, внутри нее влажный луч. Это как с будущим, говорит, оно здесь, и смеется. И вот здесь, — раздевая тебя и унося в себе. Как кошка, ее прошлое бродит само по себе и, возвращаясь, о ноги трется. Марина, он шепчет в ее подрагивающие веки, пойдем, пойдем…

Они спускаются в лифте, выходят под моросящий дождь и движутся в его пелене черным сплетенным иероглифом под красным зонтом. По пустынной набережной, по виа Мирамаре, мимо сидящих на парапете у моря двух окаменевших девочек, двух школьниц, двух парок, Норы и Марины, они стригут ноготочки, камень, ножницы, бумага, пена заливает их босые ступни. Теперь налево, где между Беллини и Россини течет рукотворное море, в котором когда-то исчез эсминец, мимо св. Спиридона, через мостик, где стоит на ветру Джакомо — в круглых очечках, в шляпе и сюртуке, да, как обычно носил он — пиджак и брюки от разных костюмов, стоит, руки в карманах, неприметный, 1 м. 70 см., огибаемый торопливыми прохожими, и дальше — по Николо Паганини к св. Антонию и снова налево — по Сан Лазаро к трактиру Джованни, да?

Да, вздрагивает Свево Блум, стоящий под дождем в получасе ходьбы отсюда — бронзовый, 1 м. 70 см., спиной к чернильнице моря, на пьяца Хортис.

Да, вглядывается в окно дуинский затворник: как кроится в молниях небо, как врывается ветер, склоняя его над листом бумаги: «с красоты начинается ужас».

Да, шепчет на мосту Джакомо Джойс, у писателя в чернильнице есть лишь один роман, который он пишет всю свою жизнь.

Да, говорит она, и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да.

И корабль вплывал в окно, заполняя всё его никогда.

Индийский домик

Ослик с худенькими боккаччо
колеблется: христианство или ислам?
Символ веры
тянется от живота.
Не она, — говорит Толстой после первой ночи
с Софьей, — не она…
Иудаизм в глазах
у ослика с перехваченным
горлом, но умеренный.
Женщина-веревка,
вьешь из нее, что хочешь,
а потом покачиваешься
на седьмых небесах.
Худенькими… И еще тоньше.
Давно пора бы переселиться
в край, где ничто не дышит,
кроме ассоциативных связей.
Да, моя маленькая ослица
милого смертного разнообразья?

Вот-вот, давно пора. Только не в той край, а в Индию. Откуда ж еще переходить порог? Не из Мюнхена же Монахова, где живу, как апноэ. Написал письмо Сурии. Сурии Кумар Трипати. Солнцу Сыновьего Воскресенья. Главному егерю Нагпурской области штата Махараштра. Вот такой домик присмотреть, как у него в заповеднике, где мы гостили. Где-то на краю деревни, вблизи джунглей, и чтобы можно было ходить туда, не прячась от лесников. Чтобы речка была или озерцо, куда выходят слоны, тигры, олени… Чтобы смешанный лес и абрис гор где-то вдали. Чтобы примерно так, как в Мудумалаи, стране Нилгири, где у озера стоит брошенная трехъярусная дозорная башня на сваях, с комнатой и смотровой площадкой наверху. Там бы, да, на юге, в краю дравидов, но уже не обустроиться там после недавних происшествий, когда слоны затоптали

англичанина, прогуливавшегося в лесу, а потом француженку… Да, еще Вишану Мали и Арвинду Гадали написать.

Две-три случайных жизни

меня преследуют.

Но чувство, что меж ними нет моей.

Серо, зеро, и лодочка

летает над водой.

И персик держит девочку

за теплую ладонь.

Чем ближе к сердцу жизни, тем безмолвней.

И Господь как Фирс.

Да, значит, вот такой домик на земле. Две-три комнаты, кухня с крюком под потолком, чтоб подвешивать продукты, веранда с небольшим садом, за которым — чуть вдали — джунгли, и, если поднести к глазам бинокль, видно, как слон после купанья посыпает себя пылью — бледно карминовой в лучах заката. И тает линия гор. И надстроить башенку наверху, чтоб телескоп там был и прибор ночного видения, обжиться там: топчан, столик для кофе — настоящего, со здешних плантаций, и варить, конечно, в турочке. И ходить в лес — еще затемно, когда только светает, и потом к закату. А ты будешь ждать, ждать дома, чем-то там заниматься по хозяйству, но и жить у меня в сердце между ударами, пока я там буду в лесу сидеть в засаде. Но и вместе будем ходить, да. В те дни, когда тебе не будет страшно. Будет. Но надо так, чтоб светло. Светло и страшно. В сердце.

Местность лежит, как запавшая клавиша.

Местность ли, женщина…

Кругами ходит жизнь в тумане

людей, как небыль, на постой

просясь.

Здесь что-то быть должно за краем

любовью отнятого «я».

И память,

летит в лицо, как пыль, и огибает.

А еще в доме у нас эта голость должна быть. Чуть приоткрытая. Или даже совсем одетая, но голость. Ты понимаешь, о чем я. Чуть прищуренная, дразнящая, изматывающая стыдом и счастьем. Чтобы вся неприкаянность, вся эта кромешная несовместимость наша как двух людей, как того, что никак не должно было стать единым по законам живой материи, все-таки, пусть порой и украдкой, по-собачьи, но все ж норовила лизнуть ладонь. Видишь, как я целомудрен, как боюсь спугнуть этот отъявленный разгул нашей близости.

Оса с пчелой в траве сцепились.

Оса скользнула в сторону, взлетела. А пчела,

верней, две половинки от нее, лежит: недвижна

нижняя, а верхняя, кренясь крылом,

ползет кругами: приблизилась, взяла себя,

недвижную, к лицу прижала

и выронила. Прочь ползет. И удлиняет путь

меж мертвым и живым... В одном?

Оса вернулась, вьется

над верхней, всё еще ползущей. Села,

перекусила крылья ей и лапки. Они упали,

и ветерок метет их.

Оса привстала, держит на весу

лицо ее, как пиалу, и пьет…

Как же это собрать?

Как же собрать всю эту жизнь?

Все так разбросано в ней, как тело Озириса.

Так оно, видно, и происходит: думаем, что живем, а потом не собрать.

Это, наверно, и станет участью на том свете: собирание жизни, вечное.

И, главное, не задаваться этим вопросом: а зачем? Зачем этот лес вдали, зачем ходить туда, не зная, вернешься ли. Не в тиграх ведь дело, не в адреналине. И не в этой полосе отчуждения между природой и культурой, где ангел стоит с мечом огненным, обращающемся. И еще вопрос: что делать с речью? Надо бы и пора бы потихоньку отдаляться. Надо бы как-то переходить к этому Адаму 2.0, возвращать имена, возвращаясь к неименуемому. Легко сказать. Да и надо ли. Или все же немного записывать? Собирать в этом лесу что-то вроде опавших листьев. Такие вот труды и дни. О бабочке, лакающей кровь. О голубом нильгау, последнем свидетеле рая. О королевской кобре, вьющей гнездо по-птичьи. О застенчивом мышином олене, величиной с собаку, которому 35 миллионов лет. О всём том, живом, которое еще удерживает связь с днями творенья. Изредка возвращаясь туда, где заходит солнце, навещая могилы родных. Если верить, что они там, где лежат. Да, о лесе, о крохотном слезящемся глазе слона в листве. О тебе, привставшей на цыпочки и прижавшейся ко мне, и этой меленькой дрожи в тебе — от живота к горлу. О себе, невернувшемся.

Он лежал на ее бедре и тихонечко дул во тьму,

как на легкую пенку на молоке, на оторочку

ее сорочки, и улыбался, скользя ко дну.

А в соседней комнате, только бог знает где —

крохотный суфий кружился у ног ребенка.

Или чувство такое, что все умерли.

И настолько все, что и некому хоронить.

И живешь, словно книгу читаешь,

думая о разрозненном, теряя нить.

Или кто-то маленький за спиной.

Твой? Ты ли?

Улыбается как живой,

и положить некуда.

Дни зудят, как комарики,

пьют любовь, а потом чешется.

Эти полости по призванию

чуть защемленные, пустующие:

ты позванивай, говорят, позванивай…

Или вот Стравинский говорит: искусство — это единение с миром, с сущим. Хорошенькое дело, это мне нравится. Как Борхес, пишущий о тиграх, спутав их с ягуарами. Или Кант, не заходивший дальше своей улицы, о звездном небе, которого над этим городом отродясь не было. Как и о законе в сердце, без опыта с женщиной. Какое уж тут единение с миром, каким? Сурия пишет, что есть у него на примете такой домик.

Или ключ бренчит, иль река в кармане.

Солнце змеится сквозь эту муть

или ты, родная?

Спазмы преображенья.

Описание тонкой обесцвеченной вязи

в стороне от себя. Фрагменты

амбивалентного, церебральные связи,

разрозненные мгновенья.

Речь у лица танцует, как пчела,

рассказывая путь,

куда не долететь.

В общем, такой вот wildlife ашрам будет у нас, такая себе лесная тантра. Одна ты, один я, одно солнце, один лес, немножко памяти и по щепоти прочего. Не смейся. Чтобы высвободить пространство для тат твам аси — для «ты есть То». Говорю же, сделай лицо серьезным. Начиная с телесного, с нашей близости. Ты не есть ты, а все на свете, переходящее друг в друга, пока не возвращается в себя другим, неузнанным, и так — на миг — становится собой. А я буду омывать тебя узнаванием, как няня — Одиссея, да, моя храбрая девочка? А ты — плести и распускать узоры моих очертаний. Такая вот парампара. А еще у кромки леса, там, у озерца, в кроне дерева соорудим шалаш с настилом, как говорят индусы: мочан. Для наблюдений и любви. И будет долгий-долгий путь у нас, как в детстве, пока не истаем, как та линия гор в глазном хрусталике.

В немецком городке Монахов

живет трехцветный кот-женщина,

который бросил своих хозяев

и бродит по ночным улицам,

а утром стучит лапой в мое окно,

медитативно осматривает комнату,

подолгу разглядывает картины.

Ни покормить его, ни приласкать.

Любое из благих намерений

он еле терпит, отворачивая лицо.

Люди, кажется, навсегда выбыли

из его восприятия. Трудно сказать,

что еще выбыло. Дни, соплеменники,

времена года. Он замирает,

глядя вниз невидящим взглядом,

и вздрагивает,

пытаясь уклониться от своей тени.

Вот он, вошел. Я зову его Пришвин.

Варя Пришвин. И подсаживаю на шкаф,

который почти упирается в потолок:

только там, в этой темной щели,

где пылится рисовальный архив,

он может забыться, пережидая день,

и к ночи уходит, не обернувшись.

У меня для тебя два сообщения.
1. В Австралии обитает птица малюр. Ярко-бирюзовая, величиной со скворца. На нее охотится птица флейта, и убивает, поймав, довольно изощренным способом: накалывает на длинный шип терновника — насквозь — и склевывает. Так вот, охота ее начинается с песни, и эту песнь издалека слышат малюры, и самец начинает вторить этой песне смерти, во весь голос, и настолько чисто и точно, что не отличить, где чей голос. Самка при этом находится поблизости. Ученые полагают, что он делает это для привлечения к себе внимания самочки — мол, таким вот смертельным номером покоряя ее сердце. Полагают, хотя не уверены.
2. Гусеницы бабочки голубянки могут в точности имитировать песнь муравьиной матки. Услышав ее, муравьи переносят гусеницу в свой муравейник с царскими почестями и кормят и лелеют ее — вплоть до того, что в голодные времена скармливают ей пережеванных своих братьев и сестер. При этом настоящую королеву выдворяют из муравейника или убивают. Потом голубянка окукливается и улетает.

В женщину входишь, как в тишь
голос,
который кажется не твоим,
а потом в стороне от себя
они расплетаются и звучат
на чужом языке…

С этим гомером бессонницы
чувств — в их отважной и жалобной наготе.

Из детей улетают сердечки,
как снегири.

Что там — закат горит или искрит обмотка?

Чем изощренней речь, тем от себя мы дальше.
Они все это проходили — те, кому нас уберечь
не удалось — и дерево молчит, и дух овражий
туманом стелется…

И будущее, как умалишенный,
с улыбкой ходит от стены к стене.

Стоял у окна, смотрел сквозь свое лицо на луну заволоченную, знакомое чувство, думал о книге, нам надо ее написать, этим двоим, или не написать, просто доиграть человека, как день, идиотично светлый, как ни в чем не бывало, книгу об Индии и совсем не о ней, если о нечитаемом, или, что называется, «запечатлеть» все то, чему и так нет места для соучастия со стороны, и особенно в русском сознании, без вины виноватом, и о женщине рядом, которая…
О как же это трудно продолжить. И, похоже, тебе ведь не легче.
Но, возвращаясь, в пределе ведь: или-или. Или речь, или лес. И нет компромисса между. Как волна и частица — удерживая одно, упускаем другое. А на деле живем ведь ни там, ни там. И даже не между, одни обольщения. Но где же тогда?

У крота есть небосвод — он внутри.

А у тебя что — плод воображенья?

Впрочем,

тут каждый цветочек, выйдя из земли,

готов искалечить первого встречного.

В тебе, внутри.

Одна божественная красота и останется,

приглашая себя на танец

глухонемыми жестами.

Что же получается? Вот человек хочет жить у леса, у обитаемого леса во всей его полноте. Свободный человек, остаток своих дней. Мечта у него такая, и смысл, и всё на свете — в этом. А нельзя. С людьми, значит, можно жить на этой планете, а с живым лесом нельзя. Но может, еще где-то есть это место с маленьким домиком на краю? Но ведь найдем, ждет оно нас, да? Осталось понять, как быть с речью, с письмом, с любовью, с памятью, и еще — со всем, что между нами. Верней, что они будут делать — с нами.

Где-то во внучатом племяннике времени.

Хорошо плохо слепленный человек

с устойчивой несовместимостью с самим собой.

Близость обустраивала углы со сдержанным фетишизмом.

Дай, говорит, я тебя раздену

(любовь говорит слову),

всё у нас будет иначе.

Они лежат

в стыде, в грязи, в разрухе чувств,

как сад заглохший, голый,

и плоть ее, как плод инжира

в разломе приоткрытом.

Полоснул рассвет, и зарезал ночь.

Что ж происходит с энергией
при распаде цветка, лошади, человека,
какие поёт она песни, чьим горлом —
для предстоящего превращения.

Опустевшие «я», как в гареме жёны
перешептываются...

Вчера происходило странное. Улитка взобралась на стол на веранде (стол на одной ноге, покрыт эфемерной скатертью со свисающими краями). Мало того, что взошла, так еще и оказалась на краю пепельницы, вытянувшись лицом к самому пеплу и исполняя над ним какой-то танец. Когда я приблизил к ней лицо, она обернулась, глядя на меня, продолжая раскачивать голову в воздухе. Я перенес ее на траву, она свернулась там в безжизненную нашлепку... такой климтовский куполок тусклого золота. И всё. Казалось бы, ну улитка, их тьмы тут. А весь вечер и сегодня тоже — как-то муторно на душе, что-то она хотела... а я не понял, сделал что-то не то, не так. А главное — вот это — не услышал, не понял, вошел в жизнь, в событие «через голову» происходящего, с самонадеянной чуткостью. Которая вроде бы нередко не подводила. Чёрта с два. Вся жизнь искалечена этой самонадеянной чуткостью.

любить тебя любить
и жить не сметь и нить
само тобой собой
и стыд как дух святой
в изножье красоты
темнить ее сады
и телом к телу дым…

Что ж так тянется и скользит
эта жизнь, как плащаница,
проступая то домом вблизи,
то землей вдалеке, то рекою,
будто было в ней что-то другое,

другое…

Сурия пишет, что сегодня «оформлял» тигрицу-людоеда в Боре, убитую крестьянами. Я помню снимки обглоданного лесника, которые показывал учитель местной школы, по совместительству змеелов (300 змей ежегодно отлавливает в этой крохотной деревушке и выпускает в ближайший лес). Он присел у родника на тигриной тропе и долго, почти недвижно собирал какую-ту травку… Как ни странно, но в решении комиссии поведение тигрицы было как бы отчасти оправдано: мол, лесник сам ее спровоцировал своей позой, она могла принять его, например, за кабанчика. Пять лаков компенсации семье. Пол миллиона рублей. И тишина. Если эта тигрица была с детенышами, то, наверное, у них всё это запишется в памяти и потом, при случае, «выйдет в люди». Все мы тут эти детеныши ранних записей, сколько ни пиши поверх. Ты во мне, я в тебе, домик в джунглях, вся эта полуприкрытая жизнью голость.
Всё что здесь оставляет след, исподволь потом разворачивает за плечи к себе лицом и ест, подцеловывая. И годы на песке подсыхают, как водоросли.

Между Волгою и Гангой,

между жизнью и несмертью,

что ж ты кружишь, речь-цыганка,

где твой табор?

Жил с тобою как с судьбою,

мой соколик, говорила,

что же вторишь ты вослед мне:

где твой табор?